

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

4

1 9 5 4

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА • 1954

В. М. ЖИРМУНСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

1

Язык есть важнейшее средство человеческого общения. Марксистское языкознание указывает, что «везде на всех этапах развития язык, как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения». «Конечно, были наряду с этим диалекты, местные говоры, но над ними превалировал и их подчинял себе единый и общий язык племени или народности»¹.

Эти основные положения марксистского языкознания, обоснованные в трудах И. В. Сталина, позволяют по-новому поставить основную проблему диалектологии — проблему взаимоотношения общенародного языка, единого для общества и общего для всех классов общества, и его территориально дифференцированных местных диалектов. Единство языка и его дробление на диалекты связаны прежде всего с ролью языка как средства общения. Дифференциация диалектов общенародного языка, границы между диалектами отражают исторически обусловленные границы общения, возникающие внутри единого общественного коллектива в конкретных условиях исторической жизни народов (дробление племен, относительная замкнутость феодальных территорий). Местные диалекты общенародного языка в этом смысле являются его «ответвлениями», т. е. результатом его дифференциации (дробления) в условиях ослабленного общения. При дальнейшем уменьшении или прекращении общения, обычно связанном с распадом общественного коллектива, дифференциация диалектов приводит к распадению общенародного языкового единства, т. е. к превращению диалектов в самостоятельные языки.

С другой стороны, оставаясь в составе общенародного языка, подчиненные ему диалекты не только дифференцируются, но также частично сближаются в процессе речевого общения между представителями соседних диалектов одного языка в меняющихся исторических рамках объединения родственных племен, народности или нации. Общность происхождения ведет к возникновению параллельных или аналогичных изменений на основе общих внутренних законов развития — изменений, постепенно и последовательно охватывающих все диалекты данного языка или более или менее значительную их часть. В то же время речевое общение приводит к взаимодействию между диалектами, к влиянию одного диалекта на другой, к сближению и частичному смешению родственных диалектов.

¹ И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 12 и 13.

Процессы взаимодействия между диалектами одного языка (или между близко родственными языками, в прошлом являвшимися такими же диалектами) и их смешения не следует отождествлять со скрещиванием неродственных языков, как это прежде ошибочно делали представители так называемого «нового учения» о языке, искавшие поддержки для своих глоттогонических фантазий в выводах современной лингвистической географии. К сожалению, эту методологическую ошибку в настоящее время нередко повторяют и их противники, пытающиеся, неправильно толкуя учение И. В. Сталина о скрещивании языков, отрицать вполне бесспорные факты смешения диалектов одного языка. Ярким образцом подобной путаницы может служить статья проф. С. Б. Бернштейна «К проблеме языковых смешений». Проф. С. Б. Бернштейн так и пишет: «Учение о смешении языков (диалектов)»².

Между тем такое механическое и упрощенное перенесение положений И. В. Сталина, относящихся к процессу скрещивания языков, на диалекты одного языка совершенно игнорирует качественную особенность интересующей нас проблемы. Диалекты одного языка, имеющие общие внутренние законы и объединенные частичной общностью грамматического строя и словарного состава, не являются друг для друга непроницаемыми, вступают во взаимодействие и частично сближаются в процессе языкового общения. Такое сближение и смешение между разными диалектами единого общенародного языка является нормальным результатом их использования как средства общения между представителями этих диалектов в рамках исторически сложившегося народного единства. Эти процессы интеграции (сближения, схождения) имеют для истории диалектов не менее существенное значение, чем процессы дифференциации (дробления, расхождения)³.

Именно возможность такого взаимодействия и сближения диалектов (в отличие от языков, далеких друг другу или вовсе неродственных) является особенно характерным признаком их принадлежности к одному общенародному языку и наглядным показателем реального единства этого языка, «ответвлениями» которого они являются. Ведь если бы местные диалекты развивались только спонтанно путем внутренней дифференциации и были полностью обособлены и непроницаемы друг для друга, иными словами — если бы не существовало взаимодействия и смешения между диалектами в рамках общенародного языка, которому они подчинены, то как могли бы реально осуществляться те процессы сближения, концентрации и окончательного поглощения местных диалектов, которые свидетельствуют о непрерывно возрастающем языковом единстве сперва народности, потом нации?

С этих методологических позиций требует критического пересмотра также и круг проблем лингвистической географии (или диалектографии). Я считаю необходимым остановиться на этом вопросе несколько подробнее, поскольку в прошлых своих работах я подходил к выводам зарубежной лингвистической географии не всегда достаточно критически. С другой стороны, столь же некритический характер имели за последние годы высказывания некоторых диалектологов, которые, справедливо выступая

² См. С. Б. Бернштейн, К проблеме языковых смешений (сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. II, М., 1952, стр. 305).

³ В подтверждение своей точки зрения, сложившейся в результате долготелетних занятий немецкой диалектографией, я могу сослаться на аналогичные выводы, основанные на материале русской диалектологии, в интересной статье В. Г. Орловой «Изменения в характере развития русского языка в связи с историей народа» («Вопросы языкознания», 1953, № 1, стр. 52—70).

против влияния марровских идей в своей области, одновременно недооценивали известные достижения этой так называемой «зарубежной лингвистической географии» (во многом достаточно различной по своим направлениям и выводам), устанавливая мнимую идейную «связь между школами Жильерона и Марра»⁴.

2

Лингвистическая география выросла, как известно, на основе опыта составления больших национальных атласов. Систематическое, более или менее сплошное анкетное обследование одновременно всех местных говоров данного языка необычайно расширило поле зрения исследователя; более совершенная и дифференцированная методика картографирования этого материала, исходящая не из совокупности признаков данного наречия в целом, а из изоглосс отдельных явлений, в случае необходимости — отдельных слов, представляющих данное явление, поставила современную диалектологию перед рядом новых фактов, игнорировать которые значило бы следовать примеру тех «троглодитов», которых так метко высмеял И. В. Сталин. Сопоставление изоглосс отдельных явлений и слов дало возможность вместо статического изучения языковой карты раскрыть исторически обусловленную динамику развития и движения языковых явлений. В установлении этих связей между историей народных диалектов и историей самого народа особенно должны быть отмечены работы проф. Теодора Фрингса (Лейпциг) и его школы, представляющие наиболее передовое направление современной зарубежной диалектографии.

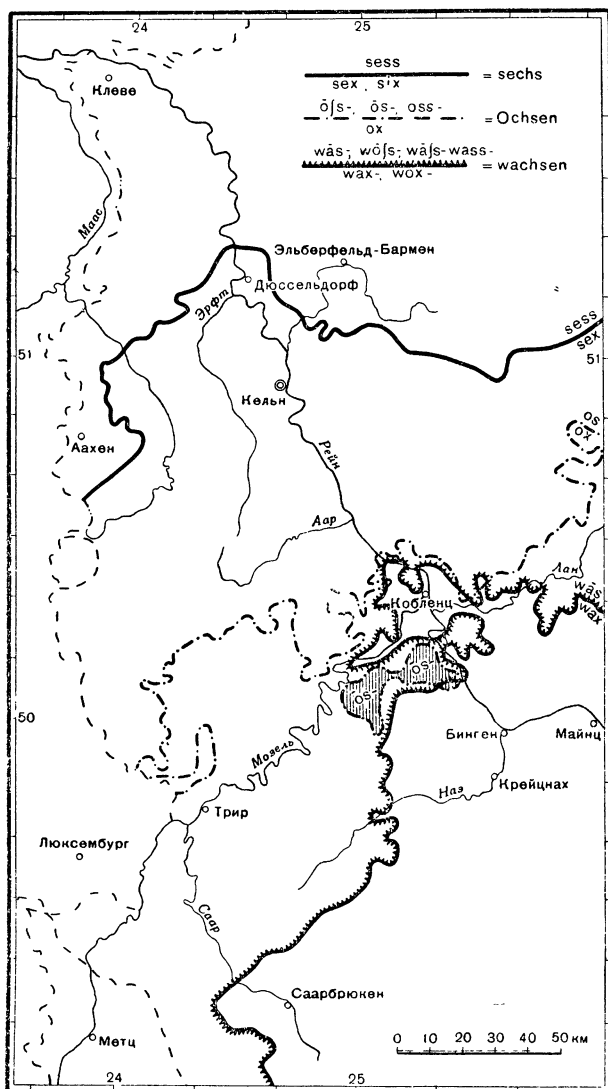
Однако современные зарубежные диалектологические атласы даже в техническом отношении далеки от совершенства. Французский атлас Жильерона, с его преимущественно лексическим материалом и редкой сетью опорных пунктов, тем самым способствует атомизации языкового материала и совершенно снимает вопрос о границах диалектов. Преимуществом немецкого атласа Венкера-Вредэ является действительно сплошное обследование с сетью примерно в 50 раз более густой, чем во французском атласе; однако обследование это производилось кустарно, «косвенным методом», при помощи анкет, заполненных школьными учителями, без фонетической транскрипции, вследствие чего результаты этого обследования в ряде существенных случаев неточны и неполны. Соединение полноты материала с точностью записи на обширной языковой территории возможно только как результат широко поставленной коллективной работы большого числа специально подготовленных сотрудников. Однако в условиях буржуазного общества организация таких больших коллективных работ была невозможна ввиду отсутствия материальной поддержки и организационной помощи государства. Осуществление этой научной задачи в грандиозных географических масштабах нашей родины стало возможным лишь благодаря помощи и поддержке государства и выражается в подготовке Академией наук СССР ряда диалектологических атласов русского языка. Венкер же и его преемник Вредэ, которые с двумя ассистентами в течение 50 лет (1876—1926) собственноручно переносили на карты материал 40 000 анкет, содержавших около 350 слов, и составили таким способом более 1600 карт, представляют печальный, но типичный пример трагедии ученых-новаторов в буржуазном обществе, равнодушном к судьбе большого научного начинания, имеющего общенациональное значение.

⁴ См., например, указ. статью С. Б. Бернштейна, стр. 305—306 и в особенности его статью «Труды И. В. Сталина по языкознанию и задачи кафедры славянских языков» (сб. «Славянская филология», Изд-во Моск. ун-та, 1951, стр. 19—20).

3

Один из характерных недостатков современной зарубежной лингвистической географии отразился также и в интерпретации изоглосс языковых атласов. Изолированное рассмотрение языковых явлений по изоглоссам перерастало здесь из методики в методологию: происходила своеобразная фетишизация методики изоглосс.

В лингвистических атласах западноевропейских языков в ряде случаев было отмечено видимое нарушение так называемых «звуковых законов», т. е. различные границы для слов, принадлежавших к одному звуковому ряду. Классический пример, который всегда приводится в теоретических работах по немецкой диалектографии: ступенчатое расположение границ для слов *seks* — *ses*, *oks* — *ōs*, *waksen* — *wāsen* в Рейнской области. Речь идет о выпадении *h* перед *s* в северных немецких диалектах с замечательным удлинением предшествующего гласного, о его переходе в *k* в южных, совпадающих в этом отношении с литературным языком. При поддержке слагающейся верхненемецкой нормы эти слова продвинулись по Рейну из южных диалектов в северные: *seks* (счетное слово) занимает авангардную позицию и в такой форме спустилось почти до голландской границы, граница южн.



! Слова «sechs, Ochsen, wachsen» в Рейнской области

oks — сев. *ōs* «*Ochse*» (слово торговое) проходит между Кёльном и Кобленцем с сохранением реликтового островка со старым *ōs* и к югу от этой границы; *wāsen* как слово нейтральное остается во всей области среднефранкского диалекта: граница южн. *waksen* — сев. *wāsen* проходит к северу от Майнца. Продвижение южных форм на север происходит по Рейну — главному пути торговых и иных сношений в средневековой

Германии; сопоставление карт раскрывает динамику этого языкового процесса. Слова продвигались в зависимости от своего значения, т. е. от своей роли в языковом общении, независимо от условий фонетической закономерности. Какой-нибудь пункт, лежащий внутри этих границ (например, Бонн), будет иметь *ōs*, *wāsen*, но *seks*, т. е. не последовательность в проведении звукового закона.

Тем самым, по утверждению Вредэ, немецкий атлас будто бы показал на фактах неправильность учения младограмматиков о «нерушимости» звуковых законов. «Постулируемая нерушимость звуковых законов требовала, чтобы язык или диалекты, в которых некогда существовавшее *water* перешло в верхненемецкое *wasser*, обнаруживали тот же перебой в словах *besser*, *beissen*, *füsse* и т. д., иначе говоря, чтобы передвинутые спранты наличествовали во всех подлинно диалектных примерах; или, чтобы диалект, в котором вместо *hūs* имеется более позднее *haus*, имел бы этот дифтонг вместо прежнего долгого *i* в таких словах, как *aus*, *braun*, *laut*, *bauer* и т. д., без всяких исключений... На самом же деле существуют диалекты с дифтонгизацией, в которых тем не менее не всякое *ū* перешло в *au*, и диалекты с верхненемецким передвижением, в которых не всякое *t* перешло в *ss*, где, напротив, наличествует *haus* рядом с *us*, *besser* рядом с *water* и т. д. Венкер ввел реальный момент диалектографической наглядности в спор об идеальной закономерности звуковых переходов»⁵.

Эти положения учителя получили в немецкой лингвистической географии широкое распространение. Так, автор современного учебника по немецкой диалектологии проф. Адольф Бах, подводя методологические итоги достижениям диалектографии, утверждает вслед за Вредэ, что атлас Венкера «не подтвердил постулата младограмматиков», согласно которому звуковые законы не имеют исключений. Напротив, атлас показал, что «в сущности каждое отдельное слово и каждая форма слова имеют в языковом пространстве свою собственную область распространения, свои собственные границы»⁶. «Изменяются слова, а не звуки». Одинаковое развитие сходных по своему звучанию слов является, по мнению Баха, результатом вторичного, позднейшего обобщения, которому не подчиняются нередко многочисленные реликты старого языкового состояния. Поэтому звуковые законы представляют лишь эмпирические рабочие правила, своего рода «правила погоды крестьянского календаря», согласно крылатому выражению романиста Генриха Морфа — одного из более ранних противников младограмматической догмы⁷.

Подобно немецким диалектологам, и Жильерон, основываясь на результатах работы над французским атласом, говорил о «несостоятельности звуковых законов» (*faillite de l'étymologie phonétique*). Выводы эти, однако, ошибочны, так как они основаны на смешении двух принципиально разных языковых процессов, определяющих и характер взаимодействия между диалектами: звуковых законов, как закономерного и спонтанного изменения артикуляции, и движения слов, которые могут быть заимствованы в измененной форме как готовые продукты этого фонетического процесса (например, *seks*, *oks*, *waksen*).

Закономерность звуковых изменений артикуляционного (фонетического) характера принадлежит к числу общих законов развития, присущих языку как средству общения: если бы звуки языка не развивались закономерно, развитие языка приобрело бы хаотический характер.

⁵ F. W r e d e, Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Mundartenforschung, «Zeitschrift für deutsche Mundarten», Berlin, 1919, Heft 1/2, стр. 8—9.

⁶ A. B a c h, Deutsche Mundartforschung..., 2-е изд., Heidelberg, 1950, стр. 56.

⁷ Там же, стр. 76—78.

Закономерное звуковое изменение предполагает в своей основе первоначально незначительный, чисто механический сдвиг артикуляции, бессознательный и незаметный для говорящих. Так подходили к проблеме звуковых законов и младограмматики. Звуковые изменения, согласно Остгофу, совершаются «бессознательно для говорящего, чисто механически, в результате изменения артикуляции»⁸. Бругман говорит, что такого рода колебания и сдвиги «настолько незначительны, что они не осознаются как различия ни говорящими, ни слушающими». Между крайними точками германского передвижения согласных, между смычным *k* и спирантом *h*[*x*], Бругман постулирует «непрерывный ряд минимальных сдвигов артикуляции», которые он условно обозначает как *k... k₁... k₂... k₃... k₄... h*⁹.

Такого рода незначительные артикуляционные сдвиги по самому своему характеру не могут иметь исключений: они распространяются на все звуки языка, находящиеся в аналогичных условиях произношения, независимо от значения слова. Если мы возьмем, например, такое фонетическое явление, как замену звонких согласных *b, d, g* слабыми глухими *b, d, g* (*lenes*) в большей части средненемецких и южнонемецких диалектов (*braun, grös, dach* «Dach» и т. д.) и смешение их в определенных фонетических позициях с соответствующими ослабленными глухими *p, t, k* (*brais, Preis, grais* «Kreis», *diß* «Tisch» и т. д.), то эта особенность артикуляции обнаружится во всех без исключения соответствующих случаях. Более того, как живая произносительная норма диалекта она скажется и в местном произношении литературного языка, и в заимствованных словах (отсюда срвнем *babes* «Papst», *balme* «Palme», *dön* «Ton», *gollier* из франц. *collier* и т. п.); при разговоре на иностранном языке она определяет ту характерную особенность «немецкого акцента» (*accent allemand*), которую отметил Энгельс в «Франкском диалекте»¹⁰.

Границы этого явления, разумеется, не знают исключений. По мнению Энгельса, это явление наиболее характерно для верхненемецкого в отличие от нижненемецкого, хотя немецкий лингвистический атлас, основанный на письменном материале, его границ как раз не регистрирует, поскольку корреспонденты атласа, не замечавшие за собой этой особенности произношения, не могли отметить ее в своей «наивной» транскрипции.

Такое же явление чисто фонетического порядка представляет, например, ассимиляторное расширение кратких *i, u* перед носовыми в закрытые *e, o* в швабском диалекте. И здесь мы имеем незначительный и незаметный для самих говорящих сдвиг артикуляции от открытого *i* (или *u*) к закрытому *e* (или *o*), артикуляторно обусловленный характерной для швабского диалекта назализацией гласных перед носовыми согласными. В таких случаях фонетический закон также не знает исключений: он обычно сохраняется как живая особенность швабского произношения и в разговорной форме литературного языка, как о том свидетельствуют «швабские» рифмы молодого Шиллера (уроженца Вюртемберга), например: *Finger — Sänger, Gesängen — schwingen* и т. п. Границы этого явления для таких

⁸ Н. О с т г о ф ф, *Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung*, Berlin, 1879, стр. 13.

⁹ К. Б р у г м а н н, *Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft*, Strassburg, 1885, стр. 49—50.

¹⁰ См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 436. [В качестве типического примера Энгельс приводит высказывание известного немецкого критика Берне (Börne), который «...жаловался в своих парижских письмах, что французы якобы не умеют различать *b* и *p*, так как упорно полагали, будто его фамилия, которую он произносил как *Perne*, начинается на *p*» (там же, стр. 438).]

слов, как *rey* «Ring», *sejə* «singen», *fendə* «finden» или соответственно *joy* «jung», *hond* «Hund», *gfondə* «gefunden», будут одинаковы.

Существование такого рода границ было установлено в результате сплошного полевого обследования группы швабских говоров немецким диалектологом Карлом Хаагом, указавшим и на существенное, принципиальное различие между границами изменения звуков и вытеснения слов¹¹. Согласно Хаагу, первые наличествуют там, где мы имеем дело с живым, еще активным изменением звуков в отличие от изменения исторического, уже не активного. Границы такого рода одинаковы для всех слов данного звукового ряда. «Ослабление губной смычки превращает все *b* в *w*; передвижение места смычки вперед превращает все слова типа *ix* в *iç*; расширение (перед *r* или *n*) превращает все *ir* в *er*, все *in* в *en*; поднятие небной занавески уничтожает носовое произношение для всех гласных»¹². В таких случаях изменение произношения младшего поколения по сравнению со старшим происходит незаметным образом; в то же время между географическими пунктами по обе стороны границы существуют постепенные переходы. «Соседние говоры обнаруживают при этом по большей части лишь незначительные количественные различия, как бы медленное увеличение или уменьшение соответствующих явлений; поэтому их географическое распространение лишь в редких случаях может быть установлено в точности. Такое активное звуковое изменение имеет чаще всего текучие границы...»¹³. Число подобных границ, согласно Хаагу, невелико, но по своему весу (т. е. по количеству охватываемых ими слов) они весьма значительны. Добавим, что методами косвенного опроса, практикуемыми немецким атласом, они менее всего могли быть установлены. Но и французский атлас с его редкой сетью изолированных опорных пунктов не мог, в силу этого несовершенства своей техники, обнаружить их существование. Они могли быть открыты только в результате сплошного «полевого» обследования.

На сходное явление натолкнулся другой представитель «полевой диалектологии» Карл Боненбергер. На юго-востоке Вюртемберга он констатировал ряд незаметных переходов от швабского (общеврхненемецкого) аспирированного *kh* в начале слова через аффрикату *kx* к швейцарскому спиранту *x*. «Смычный произносится на границе с такой сильной аспирацией, что нужно прислушиваться очень пристально и много раз, чтобы отличить его от аффрикаты или спиранта»¹⁴. Это наблюдение Боненбергера над современными диалектами подтверждает гипотезу Бругмана о «непрерывном ряде минимальных сдвигов артикуляции» при передвижении *k* в *x*. Школьная формула звукового закона $k > x$ представляет в сущности лишь интеграцию этих непрерывных переходов, обозначающую конечные точки процесса передвижения.

При наличии в разных диалектах одного языка сходных тенденций развития, определяемых общими внутренними законами, такое закономерное звуковое изменение, заложенное в особенностях артикуляции, постепенно распространяется на ряд соседних диалектов. Пример соседнего диалекта при распространении подобного фонетического новшества

¹¹ См.: К. Н а г, Die Mundarten des oberen Neckar- und Donaulandes, Reutlingen, 1898, стр. 88 и сл.; его же, 7 Sätze über Sprachbewegung, «Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten», Bd. I, Heidelberg, 1900, стр. 138—141.

¹² К. Н а г, Sprachwandel im Lichte der Mundartgrenzen, «Teuthonista», Jg. 6, Halle, 1929/30, стр. 8.

¹³ К. Н а г, Die Mundarten des oberen Neckar- und Donaulandes, стр. 88; cp. его же, Über Mundartengeographie («Alemannia», Bd. 29, Bonn, 1901, стр. 238).

¹⁴ К. Б о н е н б е р г е р, Die Grenze von anlautendem *k* gegen anlautendes *ch* («Alemannia», Bd. 28), 1900, стр. 235.

может иметь существенное значение; однако он является в сущности лишь толчком для спонтанного развития потенциальных возможностей, присущих уже артикуляции данного диалекта. Существенно также отметить, что такого рода закономерные сдвиги артикуляции нередко одновременно охватывают целую серию однородных в артикуляционном отношении звуков: ср. в немецком параллельную дифтонгизацию $\bar{i} > ai$, $\bar{u} > au$ как гласных высокого уровня, одновременную делабиализацию огубленных умлаутов $\ddot{u}$, $\ddot{o}$, одновременную потерю звонкости смычными b , d , g и т. п. Однако эти особенности закономерных артикуляционных изменений не имеют универсального характера: так, спирантные $\tilde{b}$, $\tilde{d}$, $\tilde{g}$ имеют в германских языках, в частности и в немецких диалектах, различную судьбу и, следовательно, разные границы, и это расхождение вполне оправдано с фонетической точки зрения существенными особенностями артикуляции, отличающими эти звуки друг от друга.

Распространение закономерного фонетического изменения останавливается у границ языкового общения, определяющихся чаще всего предпосылками хозяйственно-политического характера, а в известной степени и физико-географическими факторами. Это распространение может останавливаться и там, где прекращают свое действие вызвавшие данное изменение фонетические условия (обособленная фонетическая система нижне-немецкого в большинстве случаев оказалась непроницаемой для фонетических изменений верхненемецких диалектов). У таких границ, как у плотин, в результате ряда постепенных, незначительных и незаметных сдвигов артикуляции, накаплиются и интегрируются существенные различия, и с течением времени может установиться довольно значительная разница уровней. Количество накопившихся незначительных артикуляционных изменений переходит в новое фонологическое качество с четким противопоставлением крайних ступеней процесса: по одну сторону границы смычные t , p , k , по другую — спиранты s , f , x (граница верхненемецкого передвижения: *water* — *wasser*, *open* — *offen*, *maken* — *machen*); по одну сторону долгие гласные $\bar{i}$, $\bar{u}$, по другую — дифтонги ai , au (дифтонгизация узких долгих: $\bar{i}s$ — ais «*Eis*», $\bar{h}us$ — $haus$ «*Haus*»). В результате у таких границ указанные выше формы противостоят друг другу уже не как артикуляционные варианты одного слова, а как четко дифференцированные лексические дублеты. Если затем граница полностью или частично снимается и возобновляется более или менее интенсивное языковое общение, — начинается передвижение отдельных слов, при котором каждое слово, независимо от другого, может, по крайней мере в принципе, иметь свою судьбу, обусловленную его значением и употреблением. В этом случае, в отличие от первого, мы имеем дело не с закономерным фонетическим изменением, а с передвижением или вытеснением слов. К таким именно случаям и относятся факты, отмеченные Жильероном, Вредэ и их учениками. Из примеров, приведенных Вредэ, именно такой случай представляет слово *besser* (рядом с *water* «*Wasser*» и др.), которое проникает на территорию нижненемецкого вместе с небольшим числом широко употребительных слов общенародного языка (например, *zwei*, *Salz* и некоторые другие) при поддержке литературной нормы национального языка, тогда как в другом примере *haus* — $\bar{u}s$ имело значение и различие фонетическое (условия ударения).

4

Наглядным примером закономерного и спонтанного звукового развития является уже упомянутая дифтонгизация узких долгих гласных $\bar{i} > ai$, $\bar{u} > au$ ($\bar{i}s > ais$ «*Eis*», $\bar{w}in > wain$ «*Wein*»; $\bar{h}us > haus$, $\bar{b}r\ddot{u}n > braun$ и т. п.). Процесс этот, по показаниям письменных памятников, распространяется на

территории верхненемецких диалектов с XII по XVI вв. с крайнего юго-востока (баварско-австрийское наречие), постепенно охватывая все верхненемецкие диалекты, кроме крайнего юго-запада (Эльзас и Швейцария) и северной полосы средненемецкого (диалекты рипуарский, нижнегессенский, западнонюрингенский), и становится одним из важнейших признаков новонемецкого национального литературного языка. Дифтонгизация оспаривается у границ общения (растущее обособление Эльзаса и Швейцарии от средневековой Германской империи), но также и на пороге диалектов, значительно отличающихся по своей фонетической системе (нижненемецкий). Характерно также, что во всех верхненемецких говорах, не имеющих дифтонгизации, узкие долгие гласные полностью или частично подверглись сокращению, т. е., возникли особые фонетические условия, препятствовавшие дифтонгизации. Ср., например, в рипуарском: *jliç* «gleich», *duf* «Taube»; с расширением сокращенного гласного по общему закону этого диалекта (*i* > *e*, *u* > *o*): *zek* «Seite», *weg* «Wein»; *krok* «Kraut», *bröj* «braun»; в нижнегессенском: *win* «Wein», *pif* «Pfeife»; *mul* (*mül*) «Maul», *hut* (*hüt*) «Haut»; в эльзасском: *tsid* «Zeit», *bisə* «beissen»; *hüs* «Haus», *süfə* «saufen» (палатализация *ū* > *ü* по общему закону этих диалектов) и т. д.

На окраинах дифтонгирующих диалектов, в области более поздней дифтонгизации, остались более узкие варианты дифтонгов: в швабском *äi*, *eu* (или *ei*, *ou*): *äis* (*eis*), *häus* (*hous*); в мозельских говорах *ei* (*ei*), *ou* (*ou*): *eis* (*eis*), *hous* (*hous*). С другой стороны, верхненемецкие диалекты (и некоторые нижненемецкие), не затронутые общим процессом дифтонгизации, обычно имеют дифтонги, также более узкого типа, в особых фонетических условиях — внутри слова перед гласными и на конце слова (так называемая «дифтонгизация в зиянии»). Ср. в рипуарском: *drei*, *šreiə* «schreien»; *sou* «Sau», *bouəp* «bauen»; в эльзасском: *frei*, *šreiə*, «schreien»; *səi* «Sau», *bəiə* «bauen» (также с обычной для этого диалекта палатализацией *au* > *öi*).

Границы дифтонгизации *i* и *ū* не всегда в точности совпадают; не совпадают они в некоторых случаях и для отдельных слов одного звукового ряда. Однако отмеченное Вредэ довольно значительное расхождение между границами *is* — *eis*, *win* — *wein* в Рейнской области (в долине р. Аар и южнее) объясняется фонетическими условиями — веларизацией конечного - *n* > -*ŋ*, свойственной рипуарскому диалекту, с одновременным сокращением узкого долготного гласного: южная граница сохранения монофтонга в словах типа *win* «Wein», *brun* «braun» совпадает с границей веларизации¹⁵. Отпадение конечного *n* и назализация создают и в других районах особые фонетические условия для таких слов, как *wein*, *braun*. Аналогичное расхождение, отмеченное в вышеприведенном примере Вредэ между границами *hūs* — *haus* и *ūs* — *aus*, также объясняется фонетически — условиями ударения. «Зона вибраций», как отметил Фрингс, совпадает с границами мелких феодальных территорий между курфюршеством Кёльнским и Трирским, в границах которых сложились рипуарский и мозельский диалекты.

Для таких «зон вибраций» характерно установление переходных закономерностей дифтонгизации, имеющих, однако, фонетический, а не лексический характер. Например, в люксембургских говорах (юго-западная часть мозельского диалекта) оба дифтонга представлены в двух вариантах, более широком и более узком: *i* > *äi* — *ai*, *ū* > *ou* — *au*. Более узкий вариант характеризует старые односложные слова, а также многосложные при последующем глухом сильном согласном. Ср.: *wäis* «weiss», *bäisən*

¹⁵ См. H. Aubin, Th. Frings, J. Müller, Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte, Sprache, Volkskunde. II — Th. Frings, Sprache, Bonn, 1926, стр. 153, 161 и карты 52. 56.

«beissen», *mous* «*Maus*», *loušdərən* «*lauschen*». Широкий вариант отличает слова, ставшие односложными в результате редукции неударного гласного окончания, и многосложные перед слабыми глухими, звонкими и перед гласными (в зиянии). Ср. там же: *šbais* «*Speise*», *draiwən* «*treiben*», *fraiən* «*freien*»; *šrau* «*Schraube*», *dauzənt* «*tausend*», *mauər* «*Mauer*». Недифтонгизованный гласный сохраняется в случаях сокращения — перед веляризованным конечным -*n* (-*ŋ*), -*d* (-*t*): *peŋ* «*Pein*», *rōdən* «*reiten*»; *broŋ* «*braun*», *krodən* «*krauten*» (с закономерным переходом *i* > *ö*, *u* > *o*, свойственным южномозельским говорам)¹⁶. Точно так же на юго-западной границе швабской дифтонгизации различаются положения перед носовыми, перед *r*, перед *x*; границы дифтонгизации в этих положениях значительно отклоняются от остальных случаев¹⁷.

Это показывает, что общий закон дифтонгизации узких долгих явился результатом обобщения ряда частных процессов, обусловленных более или менее благоприятными фонетическими позициями, значение которых в дальнейшем отпало. Однако все эти частные отклонения имеют фонетические (а не лексические) причины и фонетически закономерный характер, присущий звуковому закону в целом.

Вопрос о распространении новых дифтонгов теснейшим образом связан с проблемой образования немецкого литературного языка, поскольку дифтонгизация долгих является его наиболее характерным фонетическим признаком. Мюлленгоф, в особенности же Конрад Бурдах и его школа сводили эту проблему к унификации письменной нормы и склонны были отождествлять процесс дифтонгизации, зарегистрированный в письменных памятниках, в первую очередь — в канцелярской переписке немецких князей и городов, с последовательными этапами изменения народного языка, будто бы усвоившего новые дифтонги под влиянием письменного литературного образца, в конечном счете — под воздействием наиболее авторитетной в XIV — начале XV в. письменной нормы императорской пражской канцелярии¹⁸.

Эта точка зрения в недавнее время была еще раз выдвинута представителем лингвистической географии Куртом Вагнером с позиции модной в зарубежном языкознании реакционной теории «опустившихся культурных ценностей» (*gesunkenes Kulturgut*). Согласно Вагнеру, новые дифтонги переносятся «из одного культурного центра в другой, происходит излучение из княжеских канцелярий в городские, а оттуда — в сельские местности, в диалект»¹⁹.

Однако эта теория, ошибочная с методологической точки зрения, полностью опровергается и языковыми фактами. В пользу устного распространения новых дифтонгов говорит наличие фонетически закономерной дифтонгизации и в таких случаях, которые противоречат норме письменного литературного языка. Например, в средненемецких диалектах, где группа срвнем. *iū* (*w*) (новонем. *eu*) отражается как *ü* (*w*), это *ü* также подвергается дифтонгизации в *au*: ср. *nai* «*neu*» (срвнем. *niuwe*), *auch*

¹⁶ H. Palgen, Studien zur Lautgeographie Luxemburgs, Luxemburg, 1948, стр. 18—20.

¹⁷ H. Fischer, Geographie der schwäbischen Mundart, Tübingen, 1895, стр. 37—39 и карты 12 и 5.

¹⁸ Ср. полемику по поводу книги ученика Бурдаха А. Берндта (A. Berndt, Die Entstehung unserer Schriftsprache, Berlin, 1936). См. рец.: E. Schwarz, Die Grundlagen der neuhochdeutschen Schriftsprache, «Zeitschrift für Mundartforschung», Jg. 12, Heft 1, 1936, стр. 1—15 и Л. Е. С х м и т т, Zur Entstehung und Erforschung der neuhochdeutschen Schriftsprache, там же, Heft 4, стр. 193—223; см. также рец. В. Ж и р м у н с к о г о на труды Т. Фрингса в журн. «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1940, № 2, стр. 140—142.

¹⁹ K. Wagner, Deutsche Sprachlandschaften, Marburg, 1927, стр. 37.

«euch» (срвнем. *iuwich*), *fauer* «Feuer» (срвнем. *fiur*) и мн. др. О том же свидетельствует зависимость дифтонгизации от определенных фонетических условий (т. е. условий устного произношения), например — от наличия или отсутствия зияния, диалектного сокращения долгого гласного, последующего *n* и т. п., там, где литературная норма этих условий не знает. Поэтому прав был младограмматик Вильгельм Брауне, когда, полемизируя с Мюлленгофом, теория которого господствовала в это время, он писал еще в 1874 г., что объяснить характер распространения новонемецких дифтонгов можно «только исходя из народного языка». Там, где новые дифтонги наличествовали «в языке простого человека», там они отразились и в письме; там, где в народном языке дифтонги отсутствовали, они отсутствовали и в письменном языке, «несмотря на пражскую канцелярию», или во всяком случае не получили общего распространения²⁰.

Однако и защитники устного распространения дифтонгов нередко рассматривают это распространение как механическое заимствование из первоначального баварско-австрийского «очага», как своего рода «моду», импортированную в большинство немецких диалектов со стороны, а не как спонтанное и органическое развитие фонетической системы этих диалектов по присущим этой системе фонетическим законам. Эту точку зрения наиболее отчетливо формулировал Бремер в своей «Немецкой фонетике»: «В конце древневерхненемецкого периода мы знаем на юго-востоке области распространения немецкого языка лишь небольшой клочок земли, где этот „звуковой закон“ возник органически. Во всей остальной Германии дифтонги — не автохтонного (местного) происхождения, а были заимствованы, потому что казались современными» (*weil sie modern waren*)²¹.

Нельзя, конечно, согласиться с тем, что народно-разговорный язык, как думает Бремер, изменяется под влиянием «моды», распространившейся «сверху» или «заимствованной» у соседей. Но против этой точки зрения, помимо принципиальных соображений, говорит и самый характер распространения дифтонгов. Соответствующие языковые карты показывают, как процесс дифтонгизации совершался во времени, как он постепенно слабел вместе с продвижением к периферии, так что старый центр дифтонгизации (баварско-австрийское наречие) имеет в настоящее время наиболее широкие варианты дифтонгов (*ai*, *ae* — *au*, *ao* с тенденцией в среднеавстрийском к дальнейшей монофтонгизации $\bar{a}$), тогда как периферия сохраняет наиболее узкие варианты (на Рейне *ei* — *ou*, в Швабии — *äi* — *äu*) с рядом постепенных переходов между ними. При этом на крайней границе дифтонгизации (в некоторых западнотюрингенских, нижнегессенских, южношвабских говорах) засвидетельствованы и ее начальные, еще недоразвившиеся ступени (*ii*, *iu*).

Таким образом, дифтонги не заимствовались в готовом виде из «очага» дифтонгизации, а развились спонтанно, раньше всего в центре, потом на все более отдаленной периферии; процесс дифтонгизации как в пространстве, так и во времени протекал постепенно как незаметный сдвиг артикуляции в целом (иными словами, как «звуковой закон» указанного выше типа) — от долгих *i*, *u* с двухвершинным ударением, через ряд последовательно расширяющихся дифтонгических вариантов ...*ii*, *iu* ...*ei*, *ou* ...*äi*, *äu* ...*ai*, *au* ... *ae*, *ao* (или *āi*, *āu*) вплоть до новых монофтонгов типа среднеавстрийского $\bar{a}$. Лишь там, где наличествовал разрыв этой непрерывности, у границ общения между соседними

²⁰ См. W. Braune, Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeutschen Lautverschiebung, «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», Bd. I, Halle, 1874, стр. 36—37.

²¹ O. Bremer, Deutsche Phonetik, Leipzig, 1893, стр. XII.

говорами, совпадавших в большинстве случаев в немецких условиях с границами феодальных территорий, в результате интеграции незначительных сдвигов артикуляционного характера возникли резкие фонологические противоположности (недифтонгизированных $\bar{i}$, $\bar{u}$ и соответствующих дифтонгов, например, ei , oi или ai , au и т. п.). Только в таких случаях, при последующем изменении границ общения, могли передвигаться отдельные слова, «заимствованные» из соседнего говора (или в более позднее время — из литературного языка), и тем самым — образоваться расхождения между изоглоссами. Однако, как уже было сказано, для дифтонгизации узких долгих число таких расхождений немногочисленно, они ограничены относительно узкими переходными «зонами вибраций» и в ряде случаев объясняются дополнительными факторами чисто фонетического характера.

Спонтанный и закономерный характер дифтонгизации узких долгих в верхненемецких диалектах подтверждается наличием подобной же дифтонгизации $\bar{i}$, $\bar{u} > ai$, au в новонидерландском литературном языке и ряде его говоров — с одной стороны, в английском языке — с другой. Самостоятельное происхождение имеет, повидимому, и дифтонгизация в вестфальском (нижненемецком) наречии, охватывающая, однако, не только узкие, но большинство других — долгих и удлинённых гласных. Широкий характер этого явления подсказывает необходимость общего объяснения, основанного на внутренних законах фонетического развития германских языков. Такого объяснения справедливо искали в особенностях присущего этим языкам сильного динамического ударения, результатом которого является тенденция к усилению, а в некоторых случаях (прежде всего в открытых слогах) и к удлинению ударного гласного²².

Правда, многие германские языки и значительная часть немецких диалектов, несмотря на наличие динамического ударения, не имеют дифтонгизации: обстоятельство, требующее дальнейшего объяснения. Согласно теории, выдвинутой Вредэ, решающим фактором в этом процессе явилась вызванная германским силовым ударением редукция неударных гласных, имевшая результатом в южнонемецких и в значительной части средненемецких диалектов отпадение конечного неударного $-e$. Отпадение $-e$ вызвало, по Вредэ, замещающее удлинение коренного слога, сверхдолготу и облученное (двухвершинное) ударение, которое явилось в дальнейшем источником дифтонгизации²³. Вместе с редукцией распространяется с юго-востока на север, как спонтанный фонетический процесс, и дифтонгизация узких долгих гласных. Сходным образом может быть объяснена дифтонгизация в английском и в нидерландском языках, где конечное $-e$ также отпадает, тогда как в большинстве нижненемецких диалектов, не имеющих дифтонгизации, конечное $-e$ сохраняется, либо отпадение представляет сравнительно позднее явление.

Хотя теория Вредэ и не дает полного объяснения всех вопросов, связанных с дифтонгизацией, она, однако, имеет то несомненное преимущество, что связывает это явление с общими внутренними закономерностями развития фонетической системы немецкого языка и его диалектов в целом²⁴.

Вместе с тем нельзя признать правильной и точку зрения Брауне, когда он рассматривает дифтонгизацию в духе биологического натурализма младограмматиков как «некое природное явление (ein Naturereignis)

²² Ср.: G. Baesecke, Einführung in das Althochdeutsche, München, 1918; A. Schmitt, Akzent und Diphthongierung, Heidelberg, 1931 и др.

²³ F. Wrede, Die Entstehung der neuhochdeutschen Diphthonge, «Zeitschrift für deutsches Altertum», Bd. 39, Berlin, 1895, стр. 257—300.

²⁴ См. В. М. Жирмунский, К вопросу о внутренних законах развития немецкого языка, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания]», т. V, М., 1953, стр. 81.

в области немецкого языка», настолько мощное, что канцелярский (шире говоря, письменный) язык бессилён был оказать ему поддержку или воспрепятствовать его развитию. Социальная норма имела существенное значение в процессе живого языкового общения с соседями, которое, со своей стороны, подталкивало и ускоряло спонтанное развитие местного диалекта. Не менее существенное значение имела норма в развитии письменного литературного языка: проникновение дифтонгов в канцелярский язык отнюдь не являлось только пассивным отражением живого произношения; не меньшее значение имели воспроизведение орфографии авторитетных образцов, слагающаяся традиция письма. Об этом свидетельствует, например, практика аугсбургской (восточношвабской) канцелярии, в которой после краткого периода дифтонгических написаний (конец XIII в.), вероятно, под влиянием баварского письменного образца, следует длительный (до середины XV в.) период отступления дифтонгов²⁵. Вряд ли кто-нибудь решится предположить, что и в народно-разговорном языке Аугсбурга в конце XIII в. утвердились дифтонги, чтобы потом исчезнуть на полтора века и снова возникнуть во второй половине XV в.

Вместе с письменной нормой литературного языка новые дифтонги проникают в письменные памятники Эльзаса (начало XVI в.), Швейцарии и северной Германии (конец XVI — первая половина XVII в.), несмотря на то, что соответствующие диалекты до сих пор сохранили здесь старые долгие гласные. Под влиянием книг, школы, устного общения норма национального языка постепенно получает всеобщее распространение на территории Германии, сосуществуя с характерными особенностями местных диалектов как подчиненной формы общенародного языка. В результате дифтонги распространяются повсеместно, на этот раз не путем спонтанной дифтонгизации, а как ее готовый продукт. В устной обиходной речи эти дифтонги литературного языка всегда получают местную окраску в соответствии с фонетической системой диалекта, в связи с чем в произношении появляются в известных пределах более открытые или закрытые варианты нормальных типов (*ei* — *äi* — *ai* — *ae*, *ou* — *äu* — *au* — *ao* и т. п.).

5

Примером продвижения нового фонетического явления в результате вытеснения слов может служить распространение верхненемецкого передвижения («перебоя») согласных вниз по Рейну, в области франкского наречия.

Вопрос этот стоит в центре гениальной работы Энгельса «Франкский диалект». Согласно формуле Энгельса, «...передвижение проникло в рейнско-франкское наречие, уже самостоятельно развившееся, и разорвало его на несколько частей»²⁶. Энгельс первый указал, что оверхненемечение франкского диалекта происходило путем продвижения отдельных слов с передвинутым консонантизмом. В бергском процессуальном кодексе XIV в. он находит: перебой $t > z$ в словах *zween* «*zwei*», *bezahlen* и рядом сохранение непредвинутого t в словах *setzen* «*setzen*», *dat nuttete* «*das nützlichste*»; *Dache* с передвижением $k > x$ и *reicket* «*reicht*» с сохранением непредвинутого k ; *upheven* «*aufheben*», *hulper* «*Helfer*» с непредвинутым p и *verkouffen* с передвижением $p > f$; и даже в одном и том же слове *zo* «*zu*» с перебоем и *tho(tō)* без перебоя²⁷. Энгельс отметил также, что рипу-

²⁵ См. F. K a u f f m a n n, Geschichte der schwäbischen Mundart, Strassburg, 1890, стр. 66.

²⁶ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 424—425.

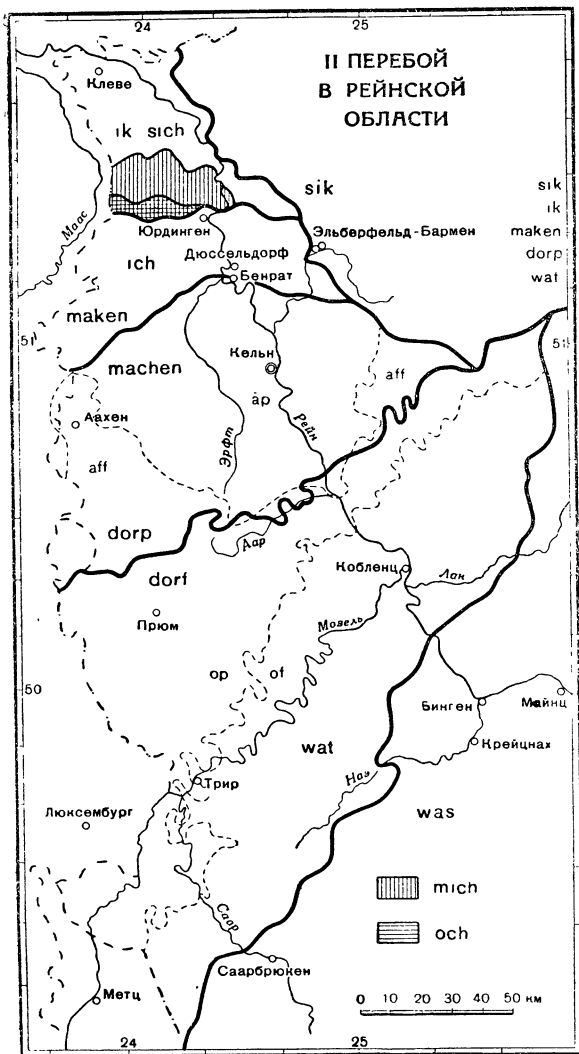
²⁷ См. там же, стр. 426—427.

арский диалект Кёльнской области, представляющий северную часть верхненемецкого (так называемого среднефранкского) наречия, на самом деле подвергся лишь позднему и поверхностному верхненемецению и по большинству своих признаков, кроме перебоя, имеет «по существу» нижненемецкий характер²⁸, оставаясь и сейчас тесно связанным с соседним

нижнефранкским. «Как всегда, эта последняя волна, занесшая верхне-немецкое передвижение согласных на франкскую территорию, — самая слабая и мелкая», — устанавливает Энгельс²⁹.

Эти положения Энгельса были впоследствии полностью подтверждены рейнскими диалектографами XX в., в особенности проф. Фрингсом, в их многочисленных специальных исследованиях. Познакомившись впервые в 1946 г. с работой Энгельса по изданию Института Маркса — Энгельса — Ленина (1935), проф. Фрингс должен был признать: «То, что мы обнаружили на Рейне в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет раньше уже стояло перед взором Энгельса»³⁰.

Фрингс относит распространение перебоя в Рейнской области до его самой северной границы (так называемой линии Ürdingen) к периоду от 800 до 1500 г. «Процесс этот, — говорит Фрингс, — имел характер постепенного верхненемецения; при этом сохранилось множество исключений». В сущности «следует говорить не о передвижении звуков (Lautverschiebung), а о словах с передвинутыми звуками (lautverschobene Wörter)»³¹. Смешение между франками и алеманна-



Передвижение согласных в Рейнской области
(по Фрингсу)

ми после победы Хлодвиг в 496 г. и продвижение франков в алеманнские земли в южной части рейнской области создало первые предпосылки для распространения передвижения на север из южнонемецкой

²⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 424.

²⁹ Там же, стр. 427.

³⁰ Th. Frings, Friedrich Engels als Philologe, «Tägliche Rundschau» (Berlin), 18 VIII 46, стр. 3.

³¹ Th. Frings, Germania romana, Halle, 1932, стр. 210.

(баварско-алеманнско-лангобардской) области, где оно зародилось; в 1000 г. формы с перебоем в основной своей массе «стоят перед воротами Кёльна»; около 1200 г. они достигли так называемой линии Бенрата (примерно на 10 км южнее Дюссельдорфа), где проходит в настоящее время граница основных явлений передвижения; около 1500 г. отдельные авангардные формы достигли линии Урдингена (примерно 25 км к северу от Дюссельдорфа). Это последнее, самое позднее продвижение связано, как доказал Фрингс, с территориальной экспансией курфюршества Кёльнского в северном направлении, с включением в его состав ряда мелких феодальных территорий, лежащих между Кёльном и расположенным от него к северу герцогством Клеве, «с распространением Кёльнской культурной зоны вниз по Рейну в сторону Мааса». Таким образом, процесс распространения перебора в область франкского диалекта продолжался в целом без малого 1000 лет³².

Мы имеем основание предполагать, что в области своего первоначального зарождения, в южнонемецких диалектах, второе передвижение согласных также имело характер спонтанного и закономерного фонетического процесса (по схеме Бругмана), связанного с ослаблением смычки, повидимому, — под влиянием сильного динамического ударения (переход смычных *t*, *p*, *k* в спиранты и аффрикаты)³³. Только в древнеюжнонемецких диалектах перебой имеет вполне систематический характер, охватывая все три названных звука и, повидимому, все, без исключения, слова. В франкский диалект проникают уже готовые результаты этого перебора, как серия заимствованных слов, постепенно ослабевая, как указывает Энгельс, по мере своего продвижения на север.

Постепенный характер проникновения перебора в рейнскую область определил ступенчатое расположение в этой области границ отдельных явлений перебора, послужившее основанием и для обычного подразделения франкского наречия на ряд диалектов по признакам перебора (верхнефранкский — рейнскофранкский — среднефранкский — нижнефранкский). Представители современной лингвистической географии, в особенности Фрингс, справедливо указывают (как и Энгельс) на поверхностный и схематический характер этой классификации; однако она наглядно показывает характер ступенчатого продвижения перебора в направлении с юга на север.

Франкское наречие в целом не имеет перебора *k* в аффрикату *kx* (в древнебаварском и древнеалеманнском *chint* [*kxint*] «Kind»). Большая часть франкских диалектов (кроме верхнефранкского) не имеет также перебора *p* в аффрикату *pf*. К югу от Шпейера, около Гермерстейма на Рейне, проходит линия передвижения *p > pf* (*appel* — *apfel*). Южнонемецкие диалекты, включая и верхнефранкский, имеют *apfel*, средненемецкие — *appel*. Значительно ниже по Рейну, несколько севернее Бахараха, по склону Гунсрюка, проходит граница, отделяющая рейнско-франкские диалекты (на юге) от среднефранкских (на севере). В среднефранкском сохранились не подвергшиеся передвижению формы местоимений *dat* «das», *wat* «was», *et* «es» и некоторые другие (тогда как в целом, как и всюду в верхненемецком, наличествует передвижение *-t* после гласного в *-s(-ss)*: ср. ннем. *water* — внем. *wasser*, ннем. *gröt* — внем. *gröss*). В среднефранкском различают две области: на юге — мозельскую, на севере — рипуарскую, в основном соответствующие феодальным территориям кур-

³² Th. Frings, *Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache*, Halle, 1948, стр. 5—7.

³³ См. В. Жирмунский, К вопросу о внутренних законах развития немецкого языка, стр. 81.

фюршеств Трирского и Кёльнского и связанных с ними более мелких феодальных владений. Граница между ними проходит по долине р. Аар и горному хребту Эйфель: к северу, в рипуарском, отсутствует передвижение *-rp, -lp > -rf, -lf* (*dorp* «*Dorf*», *helpen* «*helfen*»). Наконец, линия Бенрата (северная граница рипуарского) отделяет основные явления верхненемецкого передвижения от нижненемецкого (нижнефранкского), где эти явления отсутствуют (*-t, -p, -k* после гласных переходят в спиранты *s(ss), f(ff), ch*: ср. ннем. *water* — внем. *wasser*, ннем. *open* — внем. *offen*, ннем. *taken* — внем. *tachen*; *t* — в начале слова и в удвоении переходит в аффрикату *ts-*: ннем. *tunge* — внем. *zunge*, ннем. *setzen* — внем. *setzen* и т. п.). Еще дальше распространяются отдельные слова с передвижением, обогнавшие общую границу перебоя: *ich, och* «*auch*» вместо ннем. *ik, ok* (в области, где сохраняются *taken* «*tachen*», *rik* «*reich*» и др.).

От линии Бенрата до линии Урдингена проходит полоса говоров, переходных между рипуарским и нижнефранкским. В эту переходную зону, прежде всего в городские говоры, проник ряд слов с передвижением, в особенности с аффрикатой *ts* вместо ннем. *t* (например, в словах *Salz, Herz, Holz, Schwanz, zwei, Zeit* и некоторых других), реже с перебойными спирантами (например, в словах *Küche, besser, gross, weiss* и некоторых других). Все это по преимуществу широко употребительные слова основного словарного фонда. Эту зону пересекает также граница передвижения для прилагательных с суффиксом *-lich* (ннем. *-lik*), точнее — ряд линий, различных для разных слов³⁴. Значительно севернее линии Урдингена проникли перебойные формы личных местоимений *mich, dich, euch* и дальше всего возвратное *sich*. Личные местоимения на *-ch*, как и возвратное *sich*, целиком как грамматические формы заимствованы из верхненемецкого; нижненемецкий имеет общую форму дательного-винительного единственного числа без дифференцирующего окончания (ннем. *mī, dī* и т. д.) и вместо возвратного употребляет косвенный падеж местоимения 3-го лица (*hem, et* «*ihm*»). Форма *sik*, встречающаяся в настоящее время в нижненемецких диалектах, является результатом «онижненемечения», т. е. приспособления заимствованных верхненемецких форм к нормам нижненемецкой фонетики³⁵.

Свидетельством постепенного, сравнительно позднего проникновения верхненемецкого перебоя в область среднефранкского, в особенности, как указывал Энгельс, рипуарского, в меньшей степени мозельского, являются многочисленные реликты слов без передвижения, которые по своему характеру могут быть разбиты на несколько групп.

1. Кроме местоимений *dat, wat, et, det* «*dieses*», сохранивших неподвижное *-t* в границах всего так называемого среднефранкского наречия, к той же категории служебных или полуслужебных слов относится также бесперебойное *op* «*auf*», южная граница которого доходит до долины Мозеля. Все эти слова односложные, не имеющие параллельных двусложных форм, ослабленные в акцентном отношении и благодаря этому, повидимому, выпадающие из фонетического «поля внимания». В рипуарском не имеют передвижения также полуслужебные глаголы *mōt* «*muss*», *let* «*liess*», близкие по своему значению и акцентуации к другим словам этого типа. Без перебоя сохраняется также во всем среднефранкском окончание *-et* (вместо внем. *-es*) сильных прилагательных среднего рода, но только при синтаксически самостоятельном (или субстантивированном) употребле-

³⁴ См.: Th. Frings, Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf und Aachen, Marburg, 1913, стр. 68—74.

³⁵ См.: Th. Frings, Rheinische Sprachgeschichte, Essen, 1924, стр. 18—19; Kulturstörungen..., карты 61, 65.

нии. Ср., например, в южномозельском говоре Обергама: *dat ionət* «das Junge», *igrūzət* «das Grosse», но с перебоем: *ə grūzas dorəf* «ein grosses Dorf». И здесь, повидимому, имели значение неударность и неизменяемость окончания, а также обособление формы в специальном синтаксическом значении.

2. Грамматический характер имеет и сохранение бесперебойного *-t* в слабых глаголах при последующей ассимиляции с суффиксальными *-t* прошедшего времени и причастия II, в особенности в случаях, где так называемый «обратный умлаут» (*Rückumlaut*) способствовал изоляции этих форм. Тип *setzen* — прошедшее время *satte*, причастие II *gesatt* распространен в рейнских говорах далеко за пределами рипуарского (в мозельском, лотарингском, люксембургском). Ср. *gəsāt* «gesetzt», *gənāt* «genetzt» (от *netzen*), *gəsmolt* «geschmolzen» (от *schmelzen* с переходом в слабые). Без перебора встречаются и степени сравнения: от *gross* — *gretar*, *gretst* (вероятно, из удвоения — **gretter*, **grettest*).

3. Основную группу лексических реликтов образуют слова местного, областного распространения, бытовые и узко профессиональные — провинциализмы, не имеющие верхненемецких соответствий в словарном составе национального литературного языка. Например, *wēk* «Docht» (= фитиль), *brōk* «Hose» (= брюки), *fuken* «Fischreusen» (= мерёжа), *štut* «Semmel» (= белая булочка), *plūten* «Lumpen» (= тряпка), *tōt* «Giesskanne» (= лейка), *kīp* «Tragkorb» (= корзина для ношения за спиной), *knīp* «Messer» (= складной ножик) и ряд других. Сюда же относятся слова интимного или вульгарного просторечия, мало употребительные в высоких стилях языкового общения. Например, *tef* «Hündin» (= сука), *šnūt* «Schnauze» (= морда), *knīpen* «kneifen» (= щипать, в идиоматическом значении «ein Auge zukneifen» = закрывать глаза на что-нибудь), *āp* «Affe» (= обезьяна) — только как бранное слово («du Affe!»), тогда как для названия животного употребляется литературное *af*, и ряд других. Границы распространения этих слов различны и не всегда установлены: известно, однако, по материалам атласа, что *āp* «Affe» сохранилось без перебора лишь в центральной части рипуарского, тогда как *tef* «Hündin» захватило и северную половину мозельского диалекта, поднимаясь по Рейну почти до Кобленца, где оно сталкивается с верхненемецкими диалектными синонимами *zaub*, *zill*, *zatz*³⁶.

4. Сохраняются без передвижения некоторые слова, в которых наличие стовало весьма значительное расхождение с соответствующей верхненемецкой формой: например, очень широко *tūšə* «zwischen» (= между), *bāten* «nützen» (= годиться, приносить пользу, от нем. наречия *bat* «besser» — срвнем. *baz*) и некоторые другие. Энгельс отметил широкое распространение общей «всем франкам, даже нидерландцам», бесперебойной формы *baten* на всем протяжении рейнско-франкского, в частности, и в южной его части, в пфальцском диалекте, в выражении: *'s badd alles nix* «es hilft alles nichts»³⁷.

5. В ряде случаев сохранение бесперебойных форм позволило избежать омонимии, что содействовало улучшению языка как средства общения. Это относится в особенности к таким употребительным словам общенародного словарного фонда, как, например, *dēp* «tief» (= глубокий), которое при наличии перебора дало бы *dēf*, совпадающее в рипуарском со словом *dēf* «Dieb» (= вор), или *šīpər* «Schäfer» (= пастух), которое совпало бы при передвижении с *šīfər* «Schiffer» (= корабельщик), или к упомянутому *op* «auf», сохранившему эту форму в отличие от *of* «ob (oder)»³⁸.

³⁶ См. «Kulturströmungen...», карты 65 и 55.

³⁷ См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 439.

³⁸ Th. Frings, Germania romana, стр. 210.

6. Свидетельством борьбы, происходившей в прошлом между новыми формами с передвижением и старыми без передвижения, являются, как обычно в таких случаях, контаминации, характерные в особенности для южной части среднефранкского (мозельских говоров). Таким признаком фонетического компромисса является наличествующий в некоторых словах переход *-t* (после гласного) не в спирант *-s* (*ss*) в соответствии с общим законом передвижения, а в аффикату *-ts* (из ннем. *-t* + внем. *-s*). Ср. рипуарское и мозельское *šuts* «*Schuss*» (из *šut* + *šus*); мозельское *flōts* «*Floss*», *gats* «*Gasse*» и др.

Сходный характер имело вытеснение нижненемецкого и в некоторых других районах, пограничных с верхненемецким, например, в северной полосе тюрингенского и верхнесаксонского с городскими центрами Мансфельд, Галле, Виттенберг и др. (XIV—XVI вв.) или в таких нижненемецких городах, как Берлин, Магдебург и некоторые другие. Городской диалект Берлина, первоначально нижненемецкий, является уже с XVII в. верхненемецким по основным признакам как своего вокализма, так и консонантизма³⁹. Этот тип городского диалекта господствует в границах большого Берлина и окружающего района и в других городских центрах Бранденбурга. Остатками вытесненных нижненемецких элементов в городском диалекте Берлина являются, в частности, бесперебойные реликты: уже известные нам слабоударные местоимения *ik* (*ikə*) «*ich*», *wat* «*was*», *det* «*das*», *et* «*es*»; средний род прилагательных с неударным окончанием *-et* (*armət* «*armes*», *jrōsət* «*grosses*» и т. п.), слабоударный суффикс уменьшительных *-ken* «*-chen*» (*biskən* «*bischen*», *fritskən* «*Fritzchen*»), лексически изолированные слова бытового просторечия, частично также уже отмеченные в других диалектах: *šnūte* «*Schnauze*», *šitən* «*scheissen*», *telə* «*Hündin*» (внем. *zīl*), *pōte* «*Pfote*», идиоматическое выражение *det is mir pīpə* «*das ist mir einerlei*» (от ннем. *pīpə* «*Pfeife*») и немногие другие.

Как видно из сопоставления примеров, относящихся к разным языковым районам, в процессе лексического вытеснения также наличествует закономерность, но это закономерность особого порядка, которую можно было бы назвать фонетической аналогией: *wasser* вытесняет *water*, как *essen* вытесняет *eten*; *hoffen* вытесняет *hopen*, как *offen* вытесняет *open* и т. п. Верхненемецкие формы на *s* (вместо ннем. *t*) или на *f* (вместо ннем. *p*) становятся нормой, подкрепленной перевесом одного диалекта над другими, его социальным авторитетом (в ряде случаев еще задолго до образования литературной нормы национального языка). В результате для большинства слов, входящих в определенный фонетический ряд, устанавливается единство вторичного происхождения, которое отличается по своему генезису от постепенных артикуляционных изменений фонетического порядка (звуковых законов), но может совпадать с ними по своим результатам. Из этого единства выпадает (по определенным, выше перечисленным основаниям) лишь сравнительно незначительная группа реликтов. Сопоставление различных случаев оверхненемецения нижненемецкого диалекта (например, на Рейне и в Бранденбурге) показывает, что типы подобных реликтов, в основном, одинаковы, а иногда это даже одни и те же слова, что опять-таки подтверждает закономерный характер этого процесса.

Лишь там, где в результате очень значительного фонетического расхождения произошел разрыв фонетических ассоциаций между словами, первоначально входившими в один звуковой ряд, могли образоваться зна-

³⁹ См. A. L a s c h, *Berlinisch*, Berlin, 1929. Ср. В. М. Ж и р м у н с к и й, Восточно-средненемецкие говоры и проблема смешения диалектов, сб. «Язык и мышление», VI—VII, М.—Л., 1936, стр. 143—151.

чительные несовпадения границ и между словами общенародного языка в зависимости от их лексического значения, частоты употребления, а следовательно, и относительной быстроты продвижения. К этим случаям относится, в частности, и классический пример ступенчатого продвижения по Рейну таких форм, как *seks* против *sēs*, *oks* против *ōs*, *waksen* против *wasen* (конкурирующие формы являются здесь результатом полярного развития: в нижненемецком герм. *hs* > *s* с заменительным удлинением предшествующего гласного, в южнонемецком герм. *hs* > *ks*). Лишь в отношении этих крайних случаев справедливо неправильное в общей форме положение диалектографов, будто каждое слово, входящее в фонетический ряд, имеет свою границу и свою судьбу: иными словами, только здесь принцип лексический господствует над фонетическим.

Таким образом, реликты, контаминации, адаптированные формы, столкновения омонимов и прочие явления, установленные лингвистической географией, представляют, в сущности, такие же поправки к принципу закономерности звуковых изменений, как открытая в свое время младограмматиками грамматическая аналогия. Существования звуковых законов они не опровергают.

6

С вопросом о звуковых законах тесно связан вопрос о диалектах и их границах. Фетишизация методики изоглосс с неизбежностью приводила представителей лингвистической географии к изолированному рассмотрению отдельных языковых явлений, часто даже отдельных слов, вне связи с общей фонетической и грамматической системой диалекта. Такая атомизация изолированных диалектных признаков по изоглоссам породила в зарубежной лингвистической географии, главным образом французской, ошибочную теорию, отрицающую реальность диалектов. Этому способствовала в особенности, как уже было сказано, редкость сети, которой пользовался Жильерон, в связи с чем регистрировались лишь пространственно изолированные языковые свидетельства. Играла определенную роль и установка Жильерона преимущественно на «словарную географию», т. е. на лексическую синонимику говоров. «Мы должны отбросить понятие диалекта в качестве основы научного исследования, — писал Жильерон. — Изучению диалекта мы противопоставляем изучение слова».

Методологическую основу этого нигилистического отрицания диалектов обычно ищут в теориях Шухардта⁴⁰, но в 1870—1880-х годах оно господствовало и в учении противников Шухардта — классических представителей младограмматической школы. Во Франции эту точку зрения пропагандировали в своем журнале «Romania» учителя Жильерона Поль Мейер и Гастон Парис. Поль Мейер называет диалекты «весьма произвольной концепцией нашего ума», основанной на определении «словесном, а не реальном» («*definitio nominis*», не «*definitio rei*»). Границы отдельных диалектов на территории Франции переплетаются и пересекаются и почти нигде не совпадают между собой: от субъективного произвола исследователя зависит признание тех или иных признаков решающими при проведении границ между диалектами. Задача исследователя должна ограни-

⁴⁰ Ср.: Н. Schuchardt, *Der Vokalismus des Vulgärlateins*, Bd. III, Leipzig, 1868, стр. 32; е го ж е, *Über die Klassifikation der romanischen Mundarten* (Leipziger Probevorlesung, 1870), Graz, 1900; ср. Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1950, стр. 122—140.

чиваться установлением района географического распространения каждого отдельного признака⁴¹. Эту задачу и выполнил позднее в своем атласе ученик Поля Мейера — Жильерон.

Согласно утверждению Гастона Париса (другого учителя Жильерона), совпадающему и с теорией Шухардта, романские диалекты образуют языковую непрерывность с постепенно и незаметно расходящимися признаками. «В действительности диалектов не существует», — заявляет Гастон Парис. «Народные говоры, — говорит он, — незаметными оттенками переходят друг в друга. Крестьянин, который знал бы только говор своей деревни, несомненно мог бы понять соседний, с большими трудностями — говор селения, лежащего еще дальше в том же направлении, и так далее, вплоть до такого места, диалект которого он мог бы понять лишь с крайним трудом»⁴².

Сходные положения развивал и Герман Пауль, ведущий теоретик младограмматиков, в своих «Основах истории языка»: «Каждое языковое изменение, а тем самым и происхождение каждой особенности диалекта, имеет свою особую историю. Граница ее распространения не имеет значения для всех наличествующих диалектных особенностей, то мы получим чрезвычайно сложную систему многообразно перекрещивающихся линий. Точное деление на группы и подгруппы невозможно». «Поскольку уравнивающее воздействие сношений не допускает существования слишком резких различий между соседними районами, связанными между собой такими сношениями, то почти каждая маленькая группа представляет переходную ступень между двумя соседними ... При таком характере сношений между диалектами взаимное понимание между соседними районами нигде не встречает препятствий, т. к. отклонения слишком незначительны и к тому же привычны для соседей, тогда как между далеко отстоящими друг от друга районами могут наличествовать различия, делающие взаимное понимание невозможным»⁴³.

Мы находимся здесь у методологических истоков так называемой теории «лингвистической непрерывности», которую недавно так неудачно пытался возродить С. П. Толстов, с той только существенной разницей, что младограмматики говорили о диалектах одного языка, тогда как С. П. Толстов, следуя за Н. Я. Марром, некритически смешивает диалекты с «самостоятельными языками» вопреки очевидному смыслу тех наблюдений Н. Н. Миклухо-Маклая над папуасами Новой Гвинеи, на которые он ссылается как на подтверждение своей теории. Миклухо-Маклай говорит отнюдь не о различных языках, а о «наречиях», т. е. о диалектах. («Почти в каждой деревне берега Маклая — с в о е н а р е ч и е»⁴⁴).

Из этих теоретических установок младограмматики обычно делали вывод, что объектом изучения диалектолога должно быть не наречие (понятие условное, произвольно сконструированное и противоречивое), но говор

⁴¹ P. Meyer, [пец. на кн.:] «Archivio glottologico italiano diretto da G. I. Ascoli, t. III („Schizzi franco-provenzali“)», «Romania», Paris, 1875, № 14, стр. 293—296.

⁴² G. Paris, Les Parlers de la France (Lecture faite à la réunion des Sociétés savantes 26 мая 1888), в кн. «Mélanges linguistiques», t. II, Paris, 1907, стр. 432—448; см. там же, стр. 434.

⁴³ H. Paul, Principien der Sprachgeschichte, Halle, 1880, стр. 237—240.

⁴⁴ См. С. П. Толстов, Значение трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания для развития советской этнографии, «Советская этнография», М.—Л., 1950, № 4, стр. 18—19. Ср. Н. Н. Миклухо-Маклай, Путешествия, т. I, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 243 (разрядка моя.— В. Ж.).

отдельного населенного пункта, а при дальнейшей возможной дифференциации внутри этого говора (по признакам возраста, пола, социального происхождения и т. п.) — индивидуальный говор данного субъекта (в немецких условиях обычно самого исследователя) — своеобразного лингвистического Робинзона, согласно теории младограмматиков — единственного творца и носителя языка. Напротив, лингвистическая география в лице Жильерона пошла по другому пути, объявив единственной лингвистической реальностью слово и границу его распространения (изоглоссу). И в том, и в другом случае сказалось характерное для буржуазного языкознания пренебрежение к языку как социальному явлению и к народу как его творцу и носителю.

Между тем более углубленные диалектографические исследования полевого характера (в Германии в особенности уже названные работы Хаага) вскоре с очевидностью показали, что представление о равноценности изоглосс как лингвистических границ не соответствует действительности. Диалектные признаки, одинаково отражающиеся на картах лингвистического атласа как изоглоссы, на самом деле отличаются друг от друга и по своей древности и устойчивости, и по количеству и употребительности охватываемых ими слов, и по своему значению для фонетической или грамматической системы языка. Соответственно этому следует различать границы разных степеней и разного характера. При этом изоглоссы различных явлений далеко не всегда изолированы, нередко полностью или частично совпадают друг с другом, образуют «пучки», обычно совпадающие с границами общения, с хозяйственно-политическими территориями эпохи феодализма. Несмотря на наличие на периферии диалекта переходных говоров (так называемой «зоны вибраций»), отчетливо выступает единство его основного «ядра».

Эти несомненные факты, обнаруженные более углубленным изучением данных лингвистической географии, возвращают нас к понятию диалекта, но требуют новой, критической интерпретации этого понятия. При сопоставлении карт диалектологического атласа, опирающихся на сплошное обследование и пользующихся методикой изоглосс, диалект теряет свой статический характер неподвижной, структурно замкнутой системы признаков, прямолинейно восходящей по принципу родословного древа к общей основе с другими, также структурно замкнутыми системами родственных диалектов. Диалект представляет единство не исконно данное, а сложившееся исторически, в процессе общественно обусловленного взаимодействия с другими диалектами общенародного языка, как результат не только дифференциации, но и интеграции: единство развивающееся, динамическое, как о том свидетельствует характер изоглосс языковой карты, наглядно отражающей связь истории языка с историей народа.

Попыткой критического пересмотра понятия «диалект» является и учение немецкой диалектографии о так называемых «языковых ландшафтах» (Sprachlandschaften) — термин, заимствованный из геологии и уже потому не очень удачный. В работах проф. Фрингса и его школы особенно ярко выступает тенденция к социально-историческому обоснованию понимания языкового ландшафта (связь языковых границ с границами средневековых политических территорий, с путями хозяйственных и культурных сношений, с движением колонизационных потоков и т. п.). Коллективы ученых, работавшие под руководством проф. Фрингса сперва над изучением рейнских, потом восточно-среднемецких диалектов, выдвинули новую задачу комплексного картографического изучения местной

истории, диалектологии и этнографии⁴⁵. Однако и немецкая лингвистическая география не преодолела методологической односторонности, тесно связанной с особенностями её методики.

Атомизация языковых явлений на картах зарубежных диалектологических атласов обычно определяет и дальнейшую методику основанных на материале этих атласов исследований по исторической диалектологии: диалектограф изолирует отдельные, единичные явления фонетики, грамматики или лексики, пользуясь ими как дифференциальными признаками, вне их связи с фонетической или грамматической системой диалекта в целом. Так, противопоставления сев. *söster* — южн. *schwester*, сев. *indi* — южн. *undi* «und», сев. *fläsch* — южн. *flasch* «*Flasche*» и т. п. одинаково могут служить иллюстрацией продвижения южных форм на север по течению Рейна, соответствующего общему направлению культурных воздействий немецкого юга на север; ступенчатое продвижение южн. *seks* против сев. *sēs*, *oks* против *ōs*, *waksen* против *wāsen* намечает границы основных феодальных территорий, задерживавших распространение этих форм; присутствие среднефранкского *drūge* «*trocken*» в восточно-средне-немецких диалектах служит неопровержимым доказательством наличия в Верхней Саксонии колонистов из области Кёльна-Трира; географическое распределение различных форм местоименного наречия *wie* «как» — англо-фризское и нидерландское («ингвеонское») *hu* (*how*, *hoe*), нижненемецкое *wo*, верхненемецкое *wie* (гот. *hwaiwa*) — позволяет восстановить в современных германских языках и диалектах старое, засвидетельствованное у Тацита деление древнегерманских племен на игвеонов, иствеонов и герминонов и их древнейшие исторические связи⁴⁶. Эти изолированные диалектные признаки играют роль своего рода «примет» для блестяще разработанной методики, цель которой — интерпретировать историческую динамику языковой карты. Однако развитие и характер таких, например, диалектов, как рипуарский, мозельский или верхнесаксонский, определяется не этими изолированными «приметами», а всей совокупностью их фонетических и грамматических особенностей и прежде всего такими общими закономерностями фонетической системы диалекта, как, например, сохранение или потеря звонкости смычными, спيرانтное произношение *b* и *g* между гласными, в начальном или конечном положении, наличие или отсутствие дифтонгизации или стяжения дифтонгов. Поэтому для изучения диалекта в целом и внутренней истории его развития приходится и сейчас обращаться к монографическим описаниям отдельных говоров, с тем чтобы путем сопоставления подобных описаний восстановить более широкую картину географического соотношения этих говоров и историю их внутреннего развития.

Это относится в особенности к грамматическим (морфологическим) признакам диалектов, которым лингвистическая география уделяла сравнительно мало внимания, поскольку Жильерон и его школа выдвигали преимущественно проблемы словарной географии, тогда как в анкете немецкого атласа на первом плане стояли вопросы фонетики. Действительно, для проблематики языковых движений, отраженных в динамике диалектологической карты, явления фонетические и лексические обычно более показательны, чем морфологические, в особенности — в языках с бо-

⁴⁵ См. сборники: H. Aubin, Th. Frings, J. Müller, *Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte, Sprache, Volkskunde*, Bonn, 1926; W. Ebert, Th. Frings, K. Gleissner, R. Kötschke, G. Streiberg, *Kulturräume und Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten*, Halle, 1936.

⁴⁶ Th. Frings, *Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache*, Halle, 1948, стр. 38, 42 и карта 50.

лее или менее редуцированными морфологическими признаками, как французский или немецкий. Грамматические формы в процессе междиалектного общения заимствуются сравнительно редко, главным образом когда они имеют лексически изолированный характер (как, например, личные местоимения). Их изменения, в основном, определяются внутренними законами развития языка, которые в разных его диалектах нередко идут параллельными, хотя во многом и расходящимися путями. Подобные расхождения определяются взаимодействием всех элементов системы данного диалекта — как грамматических, так и фонетических. Установить эти внутренние законы с учетом их сходства и различия может лишь сравнительная грамматика диалектов.

Но этот круг вопросов лежит уже за пределами диалектографических исследований и требует специального рассмотрения.

Н. Т. ВОЙТОВИЧ

О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Вопрос о диалектной основе белорусского национального языка и современного белорусского литературного языка как его письменной литературно обработанной формы является одним из актуальнейших в белорусском языкознании.

В трудах И. В. Сталина по вопросам языкознания дано четкое решение проблемы о взаимоотношениях языка и диалектов, о территориальных и «классовых» диалектах, о путях формирования национальных языков на основе территориальных диалектов. На всех этапах развития язык как средство общения между людьми, средство обмена мыслями был общенародным, равно обслуживал членов общества независимо от их социального положения. Рядом с общенародным языком племени, народности, нации существуют местные диалекты, которые подчиняются общему языку как низшая форма языка высшей. Местные диалекты обслуживают народные массы на определенной территории, они имеют свой грамматический строй и основной словарный фонд, которые, в основном, совпадают с грамматическим строем и основным словарным фондом общенародного языка, как это мы видим на примере белорусского языка, в диалектах которого очень много общенародных черт.

И. В. Сталин указывает также, что «некоторые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу национальных языков и развиваться в самостоятельные национальные языки». Остальные диалекты таких языков «...теряют свою самобытность, вливаются в эти языки и исчезают в них»¹.

Встает вопрос, какой диалект стал ведущим в образовании белорусского национального, а затем и литературного языка как его письменной формы, какова диалектная основа современного белорусского литературного языка? Обычно письменность и литература создаются на основе диалекта наиболее передовой в экономическом, политическом и культурном отношении территории. В период становления наций и формирования национальных языков ярко проявляются тенденции к сближению литературного языка с народно-разговорной речью. Это наблюдается и в истории современного литературного белорусского языка, который создавался на основе народных белорусских диалектов.

*

Успехи белорусской диалектологии, большое количество материалов, собранных научными работниками Института языкознания АН БССР и коллективами преподавателей и студентов вузов республики для диалектологического атласа белорусского языка, создают условия для поста-

¹ И. С т а л и н, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 43 и 44.

новки вопроса о диалектной основе современного белорусского литературного языка.

Но до того, как рассматривать вопрос о диалектной основе белорусского литературного языка, необходимо дать представление о том, какие диалекты, вернее, основные диалектные группы имеются в настоящее время на территории Белоруссии. В диалектологической литературе принято делить белорусские говоры на две основные группы: северо-восточные и юго-западные. Принципы такого деления в ряде работ неодинаковы, поэтому границы говоров на разных картах и у разных лингвистов не совпадают. Акад. Е. Ф. Карский делит белорусские говоры в первую очередь в зависимости от характера произношения звука *р* (принимаются во внимание и другие языковые особенности) на твердоэрые и мягкоэрые. В мягкоэрых говорах, охватывающих Витебщину и большую часть Могилевщины, в произношении различаются *р* твердое и *р* мягкое: *рыба* — *три*, *рад* — *ряд* и др. Все остальные белорусские говоры являются твердоэрыми и относятся к юго-западной группе. Этого деления Е. Ф. Карский придерживался во всех своих работах по белорусскому языку, а также в очерке русской диалектологии².

В «Опыте диалектологической карты русского языка в Европе» предложен иной принцип деления белорусских говоров — по типу аканья: говоры с диссимилятивным и недиссимилятивным аканьем³. Подобное деление выдерживается и в «Очерках русской диалектологии» проф. Р. И. Аванесова⁴.

Граница между твердоэрыми и мягкоэрыми говорами, предложенная Е. Ф. Карским, не совпадает с границей между говорами с диссимилятивным и недиссимилятивным типом аканья: диссимилятивное аканье и особенно яканье наблюдается в северо-западной части территории твердоэрых говоров. Однако деление белорусских говоров на северо-восточные и юго-западные сохраняется в обоих случаях и до сих пор является общепринятым. Накопленный для диалектологического атласа материал о белорусских говорах, особенно о говорах центральной и южной части Белоруссии, позволяет уже и в настоящее время внести некоторые уточнения в принятое деление.

В пределах большого массива юго-западных говоров белорусского языка довольно отчетливо выделяется группа южных говоров, имеющих свои характерные фонетические и грамматические особенности, например: дифтонги, неполное аканье, еканье и др. Эти говоры имеют особенности, общие с североукраинскими говорами и не свойственные остальным говорам Белоруссии. На север от этих южных говоров лежит широкая полоса центральных говоров с присущей им системой фонетических и лексико-грамматических черт. Говоры южной части Белоруссии выделяются некоторыми лингвистами в отдельную группу *п о л е с с к и х* говоров⁵, или говоров, переходных от украинского к белорусскому языку⁶. Южные говоры выделял и Е. Ф. Карский, называя их белорусско-полесскими⁷.

В нашей белорусской лингвистической литературе подобное подразде-

² См.: Е. Ф. Карский, *Белорусы*, Вильна, 1904, стр. 193; е г о ж е, *Русская диалектология*, Л., 1924, стр. 92, 118.

³ См. Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов и Д. Н. Ушаков, *Опыт диалектологической карты русского языка в Европе*, М., 1915, карта.

⁴ См. Р. И. Аванесов, *Очерки русской диалектологии*, ч. 1, М., Учпедгиз, 1949.

⁵ См. Р. И. Аванесов, *указ. соч.*

⁶ См. П. С. Кузнецов, *Русская диалектология*, М., Учпедгиз, 1951.

⁷ Е. Ф. Карский, *Белорусы*, стр. 195—196.

ление массива юго-западных говоров до сих пор не нашло еще полного признания и принимается деление на северо-восточные и юго-западные говоры. Между тем говоры центральной части Белоруссии значительно отличаются от южных диалектов, и выделение их в особую группу представляется нам правомерным и обоснованным.

*

Рассмотрим кратко, в той мере, насколько это позволяют сделать размеры статьи, особенности каждой группы говоров белорусского языка в их отношении к белорусскому общенародному и литературному языку (ограничиваемся рассмотрением фонетико-морфологических черт).

Северо-восточные говоры характеризуются, кроме общеполорусских черт, рядом диалектных особенностей. В отличие от остальных белорусских говоров в них наблюдается аканье и яканье диссимилятивного типа как наиболее характерная особенность вокализма первого предударного слога. В этих говорах на месте этимологических звуков *а, о, е* в первом предударном слоге произносится звук *а*, если под ударением имеется любой гласный, кроме *а*: *вады, ваду, вадой, вадз'е, сталь, нас'йу, траву, травойу, забота, цаны, цану, пшан'йца, часнобк, жал'еза, пчалы, з'амл'й, з'амл'у, з'амл'бойу, с'алб, в'арсты, з'м'айбойу, н'асу, б'ару, б'ары, н'ас'й, в'аду, б'ады, с'ц'аны, йадро, йазык, йачм'ен*. Если же под ударением — *а*, то в первом предударном слоге вместо *а, о, е* произносится звук *ы* после твердых согласных и *и* после мягких согласных: *выда, мыйа, быгаты, трыва, быран, скызац', в'исна, з'имл'а, с'истра, б'ида, с'ц'ина, н'ита, в'изац', ц'ижар* (дер. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевск. обл.); *выда, трыва, цына, н'има, б'ида, ц'ижар* (дер. Потино Освейского р-на Витебск. обл.). Во многих говорах Витебской области, например, в говорах Сенненского, Меховского, Ульского районов, в первом предударном слоге произносится не звук *ы*, а редуцированный, не совсем отчетливо произносимый звук *э*: *вэда, нэга, двэй, скэзац', кэвал, бэран, мэлайя* (дер. Варки Городокского р-на Витебск. обл.). В говоре дер. Шеперёво Чаусского района Могилевской области в первом предударном слоге параллельно употребляются *ы* и *э*: *вэда, нэга, кэн'а, скэзац', трэва, мэлайя* и *выда, нэга, кын'а, быгаты, двэй, трыва, мылайя, пчыла*.

Во втором предударном слоге обычно произносятся ослабленные, редуцированные звуки: *бэрав'йк, зэраб'йц', пэл'уб'йу, кэжухб'у, тэпэра, мэлакб, мэладз'йк, крэп'ива, гэлавой, сэдав'йна, пэсэдз'йц', нэдайём*; после мягких согласных преобладает *и*: *с'ир'ида, ц'иц'ар'уц', дз'ир'иза, в'икавац', н'ир'ин'олка* (дер. Шеперёво Чаусского р-на Могилевск. обл.). В других говорах произносятся *ы, и*: *ныд ныгам, с'ирада, в'икавац', б'иражбк, н'ирап'олка, в'ирац'анб, з'ил'инувац'* (дер. Потино Освейского р-на Витебск. обл.); *тыпыра, сыб'ирац', бырыда, бырав'йк, нысэдз'йц', зыраб'йц', дз'ир'иза, с'ир'ида, н'имагу, н'ир'ан'олка, в'ир'иц'анб, з'ил'инкывац'ой, н'ир'имывац'* (дер. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевск. обл.).

В заударных слогах также произносятся *ы, и*: *у'брыдз'и, брыт, колыс, мбыт, выкрыс'л'йу; вбз'ира, в'ец'ир, хлбн'иц, дз'ев'ир, вчв'ил'и, вбс'ин', пал'иц, вбс'им, заиц, м'ес'иц, выцину, п'йшым, зал'ез'им* (дер. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевск. обл.), или *э* после твердых согласных: *гольса, го́рэда, до́рэга, б'елэга, у'го́рэдз'и, ко́лэс, мо́лэзт, го́лэс* (дер. Шеперёво Чаусского р-на Могилевск. обл.); *гётэга, на высо́кэй* (дер. Варки Городокского р-на Витебск. обл.).

В северо-восточных говорах распространен переход неударенного *о* в положении перед или после губных и заднеязычных в *у*: в предударных слогах (в первом реже): *кува́л*, *сумува́р*, *чу́дува́ц*, *лупа́тк'и*, *хува́йс'а*, *пуп'а́л'иса*, *путкува́ц* (например, дер. Новь Лиозненского р-на Витебской обл.).

Именно в северо-восточных говорах наблюдается как в предударных, так и в заударных слогах переход *ы* в *а*: *даў-ба*, *ниха́й-ба/бы* (дер. Воронцевичи Толочинского р-на Витебск. обл.); *пата́цца*, *прамака́ц*, *та-варашо́ў* (Могилевск. обл.).

В отношении такого характерного признака белорусского языка, как произношение *р*, в северо-восточных говорах нередко сохраняется различие между этимологическими *р* твердым и *р* мягким: *ры́ба*, *дварá*, *дббры́й* и *кур'у́*, *бр'у́ха*, *гэр'аз'*, *ра́днó*, *бу́р'а*, *грі'ва*, *грі'бы*, *вар'у́*, *бр'и́адз'а́р* (дер. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевск. обл.). В некоторых из этих говоров наблюдается смешение этимологических *р* твердого и *р* мягкого: *дыр'а*, *ра́ма*, *гэр'бзы*, но: *дрыжэ́ў*, *трашчэ́ла*, *крыча́ц* (дер. Шеперóво Чаусского р-на Могилевск. обл.); здесь мы, очевидно, имеем дело с говорами, переходными от северо-восточных к центральным. Сохранение в произношении различия между *р* твердым и *р* мягким наблюдается в Витебской и Могилевской областях (в западной части Могилевской области произносится только твердое *р* или в произношении смешиваются *р* мягкое и твердое); в западной части Витебской области (б. Полоцк. обл.) наблюдается диссимилятивное аканье, но при твердом произношении *р* (см., например, говор дер. Потино Освейского р-на).

В некоторых говорах могут встречаться остатки смешения *ц* и *ч*: (*цур*, *цугунок*, *малацко*, *цыста* (например, в Суражском р-не Витебской обл.).

Для северо-восточных говоров характерно употребление окончания *-ц'* в формах 3-го лица единственного числа глаголов I и II спряжения: *йон рабóтацц'*, *к'и́н'ец'*, *пр'и́дз'ец'*, *ка́жац'*, *идз'е́ц'*, *б'ерэ́ц'*, *н'ас'е́ц'*, *в'аз'е́ц'* (I спр.); *ко́с'иц'*, *хóдз'иц'*, *са́дз'иц'*, *б'ажы́ц'* (II спр.). Глаголы 3-го лица множественного числа I спряжения употребляются с окончанием *-уц'* (*н'ишу́ц'*). Глаголы II спряжения имеют окончание *-ац'* под ударением (*г'л'адз'а́ц'*, *маўча́ц'*) и окончание *-уц'* не под ударением: *ро́б'уц'*, *г'авро́уц'*, *хóдз'уц'* (например, Оршанский, Ветринский, Полоцкий р-ны Витебск. обл.). Этим северо-восточные говоры отличаются от белорусского литературного языка.

В северо-восточных говорах прилагательные мужского рода в именительном падеже единственного числа употребляются с окончанием *-ый*, *-ий*: *ста́рый*, *ббл'шый*, *це́лый*, *злы́й*, *ра́нeный*, *сух'и́й*, *но́ўный*, *ла́дный*, *скóшанный*, *хво́рый* (Витебск. и Могилевск. обл.). В восточной части территории этих говоров в указанных формах произносится *-эй*, *-ей*: *аржа́нэй*, *глух'эй*, *злэй*, *с'л'анэй*, *с'ух'ей*, *дыра́'ей*, *мылад'ей* *хлбн'иц* (дер. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевск. обл., дер. Глоданки Лиозненского р-на Витебск. обл.). В некоторых говорах могут употребляться параллельные формы с *-ый*, *-ий* и *-ы*, *-и* (дер. Шеперóво Чаусского р-на Могилевск. обл.). Прилагательные множественного числа в именительном падеже имеют окончание *-ыи*, *-ии*: *тра́вы харбо́шыи*, *но́выи ха́ты*, *гу́стыи*, *сух'и́и*, *халбóдныи*, *высо́к'ии* (Лиозненский р-н Витебск. обл.).

В ряде говоров этой группы форма творительного падежа множественного числа имен существительных совпадает с формой дательного падежа: *л'ажба́ў да́гары на́'ам*, *йёздз'уц' лаша́дз'ам*, *пашо́ў за грыба́м* (Освейский р-н Витебск. обл.).

Говоры с такими особенностями находятся на территории Витебской и Могилевской областей Белоруссии.

*

Для юго-западных говоров Белоруссии характерно аканье недиссимилятивного типа, наличие только твердого *р*, отсутствие окончания *-ц'* в формах глаголов 3-го лица единственного числа I спряжения и т. д. Но кроме этих черт, общих всем юго-западным говорам, имеются особенности, свойственные только южным или только центральным говорам.

В настоящее время еще трудно дать полную характеристику особенностей южных и центральных говоров, невозможно провести четкую границу между ними — это можно будет сделать только после создания атласа белорусского языка, — но уже сейчас можно выделить ряд черт, характерных для каждого из этих говоров.

На юге Белоруссии, в бассейне реки Припять, на территории Брестской, части Гомельской, южной части Гродненской областей (б. Брестск., Пинск. и Полесск. обл.) находится группа говоров, которые условно можно назвать южными, или полесскими. В этой группе наблюдаются диалектные особенности, не свойственные ни центральным, ни северо-восточным говорам: тут проявляются особенности, характеризующие переходное состояние по отношению к украинским говорам, или отмечаются черты, общие с северо-украинскими говорами.

Так, в этих говорах на месте *о*, *е* под ударением в закрытых слогах произносятся дифтонги: *кубон'*, *вубон*, *дубон*, *рубодны*, *вубоз*, *двубор*, *нубоч*, *губод*, *с'иём*, *н'иёч*, *ш'иёс'ц'* (Житковичский р-н Гомельск. обл., Давид-Городокский р-н Брестск. обл. и др.). Произносятся дифтонги и на месте прежнего *ѣ*: *лиёс*, *с'иёна*, *л'иёта*, *хл'иёба*, *в'иёк*, *дз'иёд*. Такие же дифтонги имеются и в североукраинских говорах. Чем далее на север, чем ближе к центральным говорам, тем дифтонгическое произношение становится слабее и встречается реже, вместо дифтонгов начинают произноситься закрытые *о* и *е* (*о́*, *е́*). Наличие закрытых *о*, *е* наблюдается в говорах южной части Минской области, например, в говорах Краснослободского района: *до́м*, *сто́л*, *ко́н'*, *брато́ў*, *жэ́нка*, *садо́м*; *с'ём*, *н'ёч*, *л'ёс*, *с'ёна*; в говорах Клецкого района: *в'ёк*, *с'ёна*, *в'ёдаў*, *до́м*, *жэ́нка*, *ко́н'*, *с'ём*. Недиссимилятивное аканье южных говоров отличается от аканья в центральных говорах: в южных говорах аканье не является сильным, т. е. проявляется не во всех неударенных слогах, в определенных положениях сохраняется этимологическое *о*. Степень распространения аканья после твердых согласных в различных говорах бывает неодинаковой. В некоторых говорах аканье довольно последовательно: *ва́ль*, *ма́рбз*, *да́рбѣа*, *па́н'бс*, *ва́дѣа*, *ка́лѣас*, *ка́н'у*, *дваро́ў*, *ка́с'иў*, *жа́л'ёза*, *пша́н'ица*, *шас'ц'и*, *ца́на*, *ча́сно́к*, *тапа́ра*, *ма́лажб*, *са́дав'и́на*, *губа́рад*, *дббра́ѣа*; этимологическое *о* сохраняется только в конце слова: *ма́ладз'и́цо*, *по́ўно*, *ма́мо*, *та́то* (дер. Борщевка Комаринского р-на Гомельск. обл., около границы с Украинской ССР). В говорах Краснослободского района имеется аканье во всех положениях, но в конечных открытых слогах сохраняются этимологические гласные: *про́со*, *ма́сло*, *ма́ло*, *к'и́н'мо*, *бра́тко*; *са́л'це*, *и́ржэ́шчы*⁸.

Чем далее на юг, чем ближе к территории украинских говоров, тем аканье становится слабее. В некоторых говорах его может не быть совсем, например, в южной части Старобинского района Минской области и Жит-

⁸ См. Н. В. Б и р и л л о, Говоры Краснослободского района Бобруйской области. Автореферат канд. дисс., Минск, 1953, стр. 9.

ковичского района Гомельской области⁹; нет аканья во многих говорах Брестской области, например, в говоре дер. Нижняя Жара Комаровского района и в дер. Блудзень Березовского района Брестской области: *дворы́, кон'у́, водб'йу, ценá, жоп'цы, столы́, волы́, годы́, водá, топора́, попола́м, чему́*. В северной части Лунинецкого района Брестской области имеется аканье, а в южной части — уже оканье¹⁰.

Еще более ограничено в ряде отношений распространено в этих говорах яканье. Произношение неударенных гласных верхнего подъема после мягких согласных в говорах этой группы имеет неодинаковый характер. В некоторых говорах яканье представлено только в первом предупредном слоге: *в'асна́, з'амл'а́, м'ан'е́, в'адр'о́, б'адá, с'ц'ан'ы́, н'асу́, с'астра́, йанá*, в остальных же неударенных слогах сохраняется этимологическое *е*: *в'с'ен', пáл'ец* (дер. Чемеринцы Брагинского р-на Гомельск. обл.).

Во многих говорах южной группы совсем нет яканья, всюду сохраняется произношение этимологического *е*, причем этимологическое *'а* так же произносится, как *'е*, иначе говоря, тут распространено еканье. В других южных говорах имеются разные варианты неполного аканья; яканье представлено реже; весьма распространено еканье. Южные границы аканья и яканья, как и северные, не совпадают: граница аканья проходит значительно южнее, чем граница яканья. Во многих населенных пунктах имеется неполное аканье, а после мягких согласных — еканье. Например, в говоре дер. Борщевка Комаринского района Гомельской области имеется аканье: *вадá, кан'а́, валы́, нацá, трава́, дароцá, мар'о́з; тапарá, малак'о́, садав'йна́; ц'ора́д, мн'о́га, с'ена́*; этимологическое *о* при этом сохраняется в ряде случаев в конце слова: *ба́ц'ко, ма́сло*. После мягких согласных наблюдается еканье: *в'есна́, с'естра́, з'емл'а́, н'ема́, в'еду́, с'ел'о, б'едá, с'ц'енá; в'о́з'ера, в'е́ц'ер*; на месте этимологического *а* также произносится *е*: *п'ета́, йезы́к, ц'е́цáц; па́л'еджу́, йедр'о́, йечм'ен'.*

В некоторых говорах, территориально близких к Украине, совсем отсутствуют аканье и яканье, при этом нередко представлено твердое, как и в украинском языке (хотя и не всегда последовательно проводимое), произношение согласных перед гласными переднего ряда *е, и* (Комаровский, Лунинецкий, Пинский р-ны Брестск. обл.): *весна́, бедá, сестра́, земл'а́, верста́, стена́, река́*. Такие говоры являются переходными, так как в них, наряду с чертами белорусского языка, имеются особенности и украинского языка.

Звонкие согласные в говорах южной группы сохраняют звонкость в конце слова и в положении перед глухими: *боб, дз'эд, хл'эб, лоб, аб'о́з, адр'э́ж, х'ло́д, мар'о́з, ст'бро́ж*. Губные согласные произносятся твердо в конце слова и перед «йотом», в том числе и перед «йотом», развившимся в сочетании мягкого губного с последующим гласным: *п'я́ц', м'я́со, п'я́тн'ица, в'я́ска, реб'я́та, м'я́д* (Житковичский р-н Гомельск. обл., Старобинский р-н Минск. обл. и др.). Это явление охватывает юг Белоруссии, его территория продвинута в форме «языка» и по направлению к Минску.

Гласный *о* в положении перед губными или после них (это условие не всегда является обязательным) может произноситься лабиально, переходя в *у*: *пудро́сла, пуб'у́тых, пуд л'о́д; кама́ндувай, бу́гато, кул'а́с*. На месте *о* (соответствующего современному белорусскому литературному *и*)

⁹ См. Ю. Ф. М а ц к е в и ч, Диалектные особенности южно-белорусских говоров, «Материалы первой диалектологической конференции БССР», Минск, 1950, стр. 61 (на белорус. языке).

¹⁰ См. Д. С. Ц е л е н ц ю к, Лунинецкие говоры, там же, стр. 83.

произносится *у* в окончаниях предложного падежа единственного числа прилагательных, местоимений и порядковых числительных: *на ў́етум, на жбў́тум, на вел'і́кум, у на́шум, у сбра́ж п'а́тум ўб́дз'е*. Такое лабиальное произношение имеется и в других говорах Белоруссии, но в южных говорах оно весьма распространено. Вряде южных говоров *у* произносится вместо *ы*: *у́ўнаў, у́рас'л'и, уурабл'а́ц', бук (ы), кабу́лка, ба́бу (ы), удб́ву (ы), ўрыбу́ (ы), му, ву (мы, вы)* (дер. Борщевка Кюмаринского р-на Гомельск. обл. и др.). Вместо *ы* находим *у* и в формах глагола *быть*: *була́, бувал'и, йон бу́ў*.

Распространены в этих говорах стяженные формы прилагательных, местоимений, порядковых числительных женского и среднего рода в именительном и винительном падежах единственного числа: *дб́бра* (из *дбб-райа — дббраа — дббра*) *ха́та нб́ва, дб́ўга, шыро́ка даро́ўга, малада́, с'ін'а л'э́нта; харо́шу дзе́ўку, маладу́, халб́дну, дара́ў; маладб́ жараб'а́, нб́ва в'адрб́, нб́в'е с'алб́, кал'а́сно пб́л'е* (Брестск., Гомельск. обл., южная часть Минск., Гродненск. обл.). В именительном падеже множественного числа прилагательные имеют окончание *-ые, -ие* (в говорах с еканьем): *нб́вы́е ха́ты, ўусты́́е л'асы́, с'ін'и́е л'ны* (дер. Велемичи Давид-Городокского р-на Брестск. обл.).

Весьма распространено в говорах южной группы саканье, т. е. твердое произношение возвратной частицы *-ся*: *м'у́са, б'і́ўса, аста́ўса, бай́ўса, куп'а́ўса, садз'і́л'иса, сп'і́бкса, ар'ан'изава́ўса, ажан'і́ўшыса*.

Характерными для этой группы говоров являются формы будущего времени глаголов незавершенного вида с вспомогательным глаголом *иму*: *раб'і́ц'му, раб'і́ц'м'ем, скла́д'ц'м'ем, п'иса́ц'муц', п'иса́ц'м'ам*, которые употребляются параллельно с формами будущего сложного с глаголом *буду*: *буду́ чита́ц'.*

Даже этот неполный перечень показывает наличие определенной системы языковых особенностей южных белорусских говоров, которыми они отличаются от центральных и северо-восточных говоров.

*

Между северо-восточными и южными говорами расположены центральные говоры белорусского языка, занимающие центральную часть Белоруссии и широкой полосой тянущиеся на запад, где они несколько распространяются на север: это территория Минской, Гродненской и южная (большая) часть Молодечненской области (в северной части Молодечненской области расположены северо-восточные говоры), а также западная часть Могилевской области¹¹. Столица республики г. Минск находится на территории центральных говоров. В южной части Минской и Гродненской областей уже проявляются такие черты южных говоров, как саканье, еканье, слабодифтонгическое или закрытое произношение звуков *о, е* в закрытых слогах и др. С севера довольно близко к Минску находятся говоры с диссимилятивным яканьем.

В центральных говорах представлены такие языковые черты, которые свойственны всем белорусским говорам или большей их части: дзеканье, переход *е* и *л* в определенных положениях в *у* неслоговое (*воў́к, пра́ўда*), аканье, твердое произношение шипящих, твердость губных на конце слова и перед *йотом* и др.; им свойственна определенная система широко распространенных морфологических и синтаксических особенностей, в них представлен и основной словарный фонд белорусского языка. Но вместе с тем эти говоры имеют и свои специфические диалектные особенности, которыми они отличаются от остальных говоров Белоруссии.

¹¹ По новейшему административному делению.

В отличие от северо-восточных говоров в них, как и в литературном языке, находим аканье и яканье недиссимилятивного типа, причем в отличие от южных говоров аканье тут полное, так как проявляется во всех положениях перед и после ударения. В первом слоге перед ударением перед всякими ударенными гласными: *дачка́, капáй, каза́у, сама́, вады́, расы́, расу́, дамбѹ́, карѹва́, марѹс, кас'ѹ́, на вадз'ѹ́*. Ср. наличие аканья и в остальных предударных слогах: *маладѹ́йа, пав'ала́, барадѹ́, малакѹ́, барав'ѹк, баранѹ́, каласѹ́, ѹадаваѹ́, ѹалубѹ́, тапарѹ́, ѹалава́, папала́м, саладѹ́ха, малады́*, а также и в слогах после ударения: *ѹ́брат, хѹ́лат, скѹ́ра, м'а́са, ѹ́бласа, дѹ́браѹа, кѹ́лас, дѹ́браѹа, в'арѹвак, мѹ́жна, ма́ла, скѹ́ра* (примеры взяты из материалов диалектологических экспедиций по пунктам: дер. Богушевичи, дер. Осово Березинского р-на, дер. Берляж Пуховичского р-на, Руденский р-н, дер. Гайна Логойского р-на, дер. Лапичи Осиповичского р-на, дер. Козорезы Ивенецкого р-на Минск. обл., дер. Радуты, дер. Савичи Поставского р-на Молодечненск. обл. и др.).

В южной части центральных говоров аканье может и не быть полным, в определенных положениях тут может сохраняться этимологическое *о*: *с'ѹно́, мѹ́ло, мнѹ́го, балѹ́то, слѹ́во, ста́роѹо́* (дер. Пасека Стародорожного р-на, дер. Цепра Клецкого р-на Минск. обл.); такие говоры уже имеют некоторые черты южных белорусских говоров.

Яканье в центральных говорах также имеет недиссимилятивный характер. В первом слоге перед ударением яканье последовательно распространено на всей территории говоров (за исключением отдельных лексем в ряде населенных пунктов, например *н'имѹ́, н'ихѹ́й, ѹ'ип'ѹ́р* и др., в произношении которых отражаются элементы диссимилятивного яканья): *з'амл'а́, в'аснѹ́, в'арѹ́а, н'амѹ́, с'астрѹ́, б'адѹ́, в'аслѹ́, с'алѹ́, с'алѹ́м, н'асу́, бару́, дз'адѹ́к, ѹ'амн'ѹ́ц', ѹадѹ́, ѹаздѹ́, с'ау́бѹ́, н'ару́н*. В некоторых районах этой зоны наблюдается полное яканье, которое проявляется в разных положениях независимо от характера гласного под ударением. Полное яканье мы находим, например, в говорах Пуховичского, Руденского, Березинского районов Минской области, в которых на месте неударных *'а, 'е* и *е* из *ѹ* произносится *'а* не только в первом слоге перед ударением: *дз'ажѹ́, с'астрѹ́, б'адѹ́, н'асу́, дз'ас'а́ты, в'аснѹ́, н'ас'ѹ́, в'адз'ѹ́*, но и в остальных слогах перед ударением: *с'арадѹ́, л'аб'адѹ́, н'а былѹ́, в'араб'ѹ́ей, з'ал'ану́ха, н'араскѹ́чыѹ́, в'ал'ичын'а́, б'ас рад'нѹ́, н'ахватаѹ́йа, б'алава́ты, з'ал'анава́ты, в'арау́'анѹ́, а также и в слогах после ударения: вѹ́з'ара, вѹ́е'аду, вѹ́н'асу, в'ѹ́ц'ар, кѹ́б'ал, хлѹ́п'ау́, пѹ́п'ал, пѹ́л'ау́, вѹ́с'ан', пѹ́л'а, пѹ́л'ам, да́йѹ́'а, пѹ́йѹ́'а, ста́н'ам, пады́м'а, ѹул'а́йам, на рабѹ́ц'а, у пѹ́л'а, за́йау́, пѹ́йас, на́ѹ'а, ку́пл'а́йа* (например, дер. Берляж, дер. Уголец Пуховичского р-на, дер. Осово, дер. Богушевичи Березинского р-на, Руденский р-н Минск. обл.).

Граница полного аканья не совпадает с границей полного яканья, так как полное яканье занимает меньшую территорию. Так, например, в говоре дер. Лапичи Осиповичского района Минской области имеется полное аканье, но полное яканье уже не проведено последовательно, так как не в первых слогах перед ударением может произноситься неударенное *е*: *б'еражѹ́к, в'ерау́'анѹ́, з'ел'енава́ты*, отрицание *не* обычно произносится как *ни*: *н'ихарѹ́шы, н'ив'ал'ѹ́к'и*, в слогах же после ударения — яканье: *л'ѹ́з'а, кап'ѹ́йак, у пѹ́л'а, у калхѹ́з'а, ѹадѹ́йа*. В дер. Новая Гайна Логойского района Минской области (северная часть центральных говоров) также имеется полное аканье, но яканье последовательно передается только в первом слоге перед ударением: *в'аснѹ́, с'астрѹ́, с'алѹ́* и др.; в остальных предударных слогах произносится звук *е* вместо этимологического *е* и *е* из *ѹ*: *с'ерадѹ́, б'еражѹ́к, в'ерау́'анѹ́, в'екаваѹ́́, з'е-*

л'енкава́ты; в слогах после ударения произносятся звуки *е, и, а*: *е'ёц'ар, хлбн'ац, вбс'ам, у кал'ас'а, у хлц'а, памыйа*; но: *вбз'ера, вбс'ен', с'бл'ета, выл'езу* и: *бүдз'им, пайёдз'им, п'йшым*.

Звонкие согласные в конце слова и в положении перед глухими согласными в центральных говорах оглушаются: *нош, плух, парох, стох, сат, рас (з), лоп, хблат, даро́шка, ры́пка, лбо́шка, салбо́тка, дз'ац'ка, марбс*. Губные в конце слова и перед «йотом» произносятся твердо: *бйў, пйў, абйа́ва, с'амйа́, сын, с'ём, вбс'ем, цеп*. С юга, клином, довольно близко к Минску подходят говоры с произношением: *мйа́со, пйа́ц'* (с дополнительной йотовой артикуляцией). Свойственно центральным говорам и удлинение согласных: *кбл'а, карён'н'е, вбс'ан'н'у, мйшшш, п'ёччу*, но в значительной, юго-западной, части этих говоров удвоенное произношение согласных отсутствует.

В части центральных говоров наблюдается лабиализованное произношение ударенного *а* в положении перед *ў* (произношение *о* вместо *а*): *збўтра, дбў, сказбў, прбўда, забрбў, адарббў, уз'бў, трбўка, настбўн'ик, праббў, брбўс'а* (например, в говорах Пуховичского, Червеньского, Дзержинского, Минского, Руденского р-нов Минск. обл.).

Грамматические нормы центральных говоров, в основном, совпадают с нормами современного белорусского литературного языка, но имеются некоторые диалектные особенности.

Так, наряду с общими для большей части белорусских говоров формами именительного падежа множественного числа существительных мужского рода на *-ы, -и* (*бары́, л'асы́, кавал'ы́, лу́й, сын'ы́, валасы́, сваты́*), в ряде говоров распространены формы на *-э, -е*: *касц'э, вал'э (вал'ы́), бак'э, наж'э, снап'э (снап'ы́), кавал'э, сын'э (сын'ы́), брат'э (брат'ы́)*. Эти формы отмечены, например, в Стародорожском, Пуховичском районах Минской области, в некоторых районах Гродненской области (на юго-запад от Минска). В родительном падеже множественного числа существительных мужского рода употребляются, как и вообще в белорусском литературном языке, окончания *-аў, -яў, -оў, -ёў*: *валасбў, каласбў, радбў, кавал'бў, м'ес'ацаў, завбдаў, аґн'бў, пал'цаў*; подобные окончания встречаются в центральных говорах у существительных женского и среднего рода: *р'эчаў, л'ы́наў, балатбў, вбкнаў, в'ёрбаў, ґрўшаў, п'ес'н'аў, тбрбаў* (например, в говорах Стародорожского, Пуховичского р-нов Минск. обл.). В дательном и предложном падежах множественного числа существительных мужского рода широко распространены общеполбелорусские формы на *-ам, -'ам, -аи, -'ах*: *дуба́м, кавала́м, брата́м, сына́м, ґасц'а́м, у ґасц'а́х, па сідая́х*. Но употребляются, как и в других говорах Белоруссии, архаические формы на *-бх, -'бх, -бм, -'бм*: на *маста́бх, на валб́х, на л'удз'бх, дубб́м, брата́м, ґасц'б́м*.

В отношении прилагательных мужского рода единственного числа можно отметить лишь окончания *-ы, -и*, как и в литературном языке: *удалы́ хлбнец, сйны́ л'он, скбры, стары́, сух'ы́, ра́н'н'и*; ср. также и формы именительного падежа множественного числа прилагательных всех трех родов с окончаниями *-ыя, -ия*: *новы́я хаты́, стары́я, малады́я, дббры́я, сйн'ийа, ра́н'н'ийа*.

Глаголы настоящего времени I спряжения в 3-м лице единственного числа употребляются без окончания *-ц'* (с ударением на окончании и без ударения): *пас'е́, н'ас'е́, б'ар'е́, жыве́, дай'е́, йёдз'а, ста́н'а, п'йша, дўма́я, зна́йа*. В некоторых (переходных к северо-восточным) говорах могут употребляться двоякие формы: *н'ас'е́ — н'ас'е́ц', б'ар'е́ — б'ар'е́ц'*. Глаголы II спряжения употребляются с окончанием *-ц'*: *ноб'иц', кбс'иц', барб́н'иц', б'ажы́ц', стайы́ц', л'ажы́и*. Такие формы глаголов в 3-м лице единственного числа приняты в белорусском литературном языке, однако

в говорах центральных областей и областей к западу от Минска могут употребляться без окончания и глаголы II спряжения: *йон рбб'а, нбс'а, хббдз'а, прбс'а, кбс'а* (дер. Высокая Гора Березинского р-на, дер. Гайна, Логойского р-на, дер. Селедчики Радоминского р-на Минск. обл. и др.). В 3-м лице множественного числа глаголов I спряжения употребляется окончание *-уц'*: *н'асуц', п'акуц', мб'уц', кладуц', кáжуц'*; глаголы II спряжения имеют окончание *-ац'*: *с'адз'ац', г'ладз'ац', сп'ац', прбс'ац', вбз'ан'*. Эти формы являются нормой литературного языка.

Возвратная частица *-ся* произносится мягко: *умыйс'а, купайс'а, байс'с'а, сп'бкс'а, баймс'а*.

Формы будущего времени одинаковы с литературным языком: *буду майчац', будз'ем раб'йц', будуц' хвал'йц'*.

Таким образом, видим, что центральным говорам не свойственно ни дифтонгическое произношение звуков *о, е*, ни твердое произношение возвратной частицы *-ся*, ни еканье; не сохраняется в них звонкость согласных в конце слова, отсутствуют и другие диалектные черты южных белорусских говоров. Не характерно для этих говоров и диссимилятивное аканье, мягкое произношение *р*, употребление окончания *-ц'* в форме 3-го лица единственного числа глаголов I спряжения, формы именительного падежа прилагательных мужского рода на *-ый, -ий, -эй, -ей* и другие черты северо-восточных говоров. Центральные говоры обладают всеми основными чертами общеполорусского языка, но вместе с тем имеют и свои специфические диалектные особенности, которыми отличаются от остальных говоров Белоруссии.

Трудно в небольшой статье дать полный обзор особенностей диалектов Белоруссии, усложняет дело и отсутствие достаточного количества монографических исследований о говорах, незаконченность собирания материалов для диалектологического атласа. Однако даже имеющиеся неполные данные о диалектах белорусского языка позволяют поставить вопрос о выделении центральных говоров и об общем членении белорусских диалектов на три основные группы: северо-восточные, центральные и южные. Характерные черты трех крупнейших диалектов Белоруссии ярче всего выявляются на фоне общеполорусского языка. Возможно, в дальнейшем появится необходимость провести деление белорусских говоров на более мелкие группы, однако в настоящее время деление на три названные группы представляется обоснованным.

В качестве иллюстрации приведем образцы связных текстов, записанных в разных местностях Белоруссии.

Северо-восточные говоры

Падуй / падуй в'иц'ар'бчык з'з'ал'опыга гаюу /
 Пр'идз'й / пр'идз'й мой м'ил'ен'к'ий з дал'окыга краюу /
 Ой рад бы йа в'иц'ар'бчык пав'ейиц' /
 Лы н'ил'з'а зы лазойу /
 Ой рад бы йа к м'ил'ыйа пр'ийэхыц' /
 Ды п'ел'га зы вадойу.

(Дер. Колодепкая
 Костюковичского р-на Могилевск. обл.)

Рэнш , прыгуб служыл'п / пап там жыв'ец' / у йагб'а усадз'ба / хл'еп тады
 малац'ыл'п цып'ам'п / йак вб'ла вышла / пап'имал'ис' / пайомныйн б'ис ус'ак'их
 упр'ажак / зудз'й и зудз'й / на свайм йак хбчыш / култ'ура ц'ип'ер / а тады работал'п
 ц'ижалб / ц'п'ам'п павудз'йц' дз'ен' /.

(Дер. Шеркино Лиозненского р-на Витебск. обл.)

Южные говоры

Жыл'й му з свайім чалав'екам удвайх тóл'к'и // хата на́ша стайа́ла у са́мым канцы́ с'ела́ // а му у ўёты час йе́краз ц'йфам хварéл'и // йак пача́л'и н'ёмцы ўс'іх л'удз'ей з'уан'ац' / прышл'и и да па́шай хаты́ // ал'е йак убáчыл'и / што му хвóрыіе / то н'е пашл'и ў хату́ / а праз акно́ ўра́нату ў хату́ // хата заўарéласа // йа ўсхап'іласа и хац'ела ўц'ека́ц' праз акно́ / ал'е чалав'ек мой н'е можа падн'а́цца / в'ёл'м'и парáн'ила йеу́б // тады́ йа схап'іла йеу́б на пл'і́ечы и в'ун'есла // ... пóтым на дарóз'е чалав'ек мой памйóр // в'ёл'м'и ц'ажк'ііе бу́л'и ра́ны / йа заста-ла́са анна́ и тра́н'ила да партызáн // у м'ен'е тóжа р'ук'и бу́л'и аб'арéл'и / там м'ен'е в'ул'ечыл'и //

[Дер. Хвойня Копаткевичского р-на
Гомельск. (б. Полесск.) обл.]

Центральные говоры

А йаны́ йак йéхал'и дык пайéхал'и нап'арóту хва́брыку // дык мы пааб'ёдал'и // пада́й-л'и карóу // и пау́нал'и мушчы́ны скот у л'ес // а мы э́дз'ём'и пал'ёз'л'и ў йёты́а йáмк'и у пату́рйа // у п'ачóры л'а с'анако́су // мы с'адз'имó й их н'а чу́йам // их н'амá // йаны́ застал'іс'а начава́ц' у хва́брыца // мы ўжо́ ноч начу́йам // их н'амá // ноч с'адз'имó / а пóтым йак вы́л'аз'л'и // а йаны́ нашу дз'арéўн'у акружа́йуц' // стра́л'айуц' // аш п'асóк кв'ёрху патк'іну́ла п'арат са́мым нбсам стау́бóm //

(Дер. Уголеп Пуховичского р-на Минск. обл.)

*

Сравнение языковых особенностей белорусских диалектных групп с литературным языком позволяет сделать вывод, что основой белорусского литературного языка являются центральные диалекты Белоруссии, в связи с чем литературный язык наиболее близок именно к центральным диалектам.

Литературный язык является общим на всей территории, которую занимает народ; он отличается от разговорного своей обработанностью, поскольку создается мастерами слова, наличием установленных норм; это язык, для которого отбираются наиболее удачные, типические особенности народного языка. А. М. Горький так характеризовал отличия литературного языка от народного:

«Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, „сырой“ язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его»¹², «...литераторы из стихийного потока речевого бытового языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких и наиболее осмысленных слов»¹³.

Нашими лучшими белорусскими писателями во главе с Я. Купалой и Я. Коласом были обработаны языковые богатства центральных говоров Белоруссии, выработаны нормы, отмечены резкие диалектные черты. Значение этой обработки велико потому, что мастера белорусского слова смогли уловить ведущие тенденции в развитии белорусского языка, выделить черты общенародного языка.

«...Купала не только белорусским языком, он собирал его и творил, развивал и совершенствовал, придавал ему литературные формы и устанавливал определенные каноны и нормы. Он отработывал его и готовил для той славной миссии, которую ему надлежало выполнять в бу-

¹² М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., «Советский писатель», 1953, стр. 328.

¹³ Там же, стр. 667.

душем, как языку великого и независимого народа, равного среди остальных народов мира», — писал белорусский поэт П. Глебка¹⁴.

Центральные диалекты легли в основу белорусского литературного языка не случайно. Современный белорусский литературный язык начал формироваться в XIX в. на основе живого разговорного общенародного языка и его говоров. Старый белорусский литературный язык к этому времени давно уже вышел из употребления. Средством общения, средством обмена мыслями литературный язык, сложившийся в XVI—XVII вв., уже не мог быть; на этом языке не могли писать свои воззвания к народу Кастусь Калиновский, свои стихи Ф. Богусевич, Я. Купала и Я. Колас. Новая белорусская литература стала создаваться на основе живого разговорного языка формирующейся белорусской нации; борьба за становление белорусского языка в литературе была связана с национально-освободительным движением в Белоруссии. Белорусский писатель Ф. Богусевич (1840—1900), призывая к использованию белорусского народного языка в литературе, писал в предисловии к сборнику «Дудка белорусская»: «...я сам когда-то думал, что язык наш — „мужицкий“ язык, только и всего. Но... как научили меня читать, писать, с той поры я много где был, много чего видел и читал, и убедился, что речь наша такая же народно-разговорная и господская, как и французская или немецкая, или какая-либо другая»¹⁵.

Нормы литературного языка в то время еще не были выработаны, не было создано грамматики, не разработано правописание. Первоначально писатели вводили в литературу элементы своего местного диалекта, пытаясь обработать его литературно. Поэтому в произведениях ранней белорусской литературы довольно отчетливо проявляются диалектные особенности белорусских говоров. Ср., например, в языке анонимной поэмы «Энеида наыворот»¹⁶ такие черты смоленско-витебских говоров, как формы глаголов 3-го лица единственного числа I спряжения с окончанием -ць: *плывець, праць, н'ець* и др.

Территория центральных говоров сыграла значительную роль в формировании белорусской нации: именно эта территория постепенно становилась ее политическим и экономическим центром. В период формирования литературного языка немалую роль сыграл и город Минск, в котором сосредоточивалась культурно-политическая жизнь белорусского народа. Особенное значение приобрела эта территория после Великой Октябрьской социалистической революции, когда было создано белорусское социалистическое государство с столицей — г. Минском. После воссоединения в 1939 г. белорусского народа в одном государстве центральные говоры пополнились в своем составе близкими к ним говорами, простирающимися на запад до границы БССР. Уроженцами территории центральных говоров был ряд белорусских писателей во главе с основоположниками литературного языка Я. Купалой и Я. Коласом.

Таким образом, «...центральный говор со своими особенностями занял в литературе господствующее положение и стал нормой белорусского литературного языка, правда, пожертвовав некоторыми узко диалектными особенностями»¹⁷. О том, что в основу белорусского литературного языка легли центральные говоры, писал еще и акад. Е. Ф. Карский: «Употреб-

¹⁴ П. Г л е б к а, О языке Янки Купалы, газ. «Літаратура і мастацтва» (Минск) 10 VIII 46 (на белорус. языке).

¹⁵ Ф. Б о г у ш е в и ч, Избр. произвед., Минск, Гос. изд-во БССР, 1952, стр. 25.

¹⁶ «Энеида наыворот», в кн. «Белорусская литература XIX столетия», Минск, 1950 (на белорус. языке).

¹⁷ К. К. К р а п и в а, Труды И. В. Сталина в области языкознания и задачи белорусской советской литературы, Минск, 1951, стр. 15 (на белорус. языке).

ляемая большинством современных белорусских писателей речь имеет в своей основе сильно акающий отдел юго-западных говоров. Поэтому в ней обычны *а* вм. *о* безударного, *р* твердое, 3-е лицо без *-ць*¹⁸. Е. Ф. Карский не выделял центральных говоров среди юго-западных, но всегда оговаривал наличие особых говоров с так называемым умеренным аканьем и дифтонгами на юге Белоруссии и сильно акающих говоров — в центре.

Современный белорусский литературный язык имеет такие общеполбелорусские черты, как дзеканье и цеканье, твердое произношение шипящих и *ц*, переход *е* и *л* в определенных положениях в *у* неслоговое (*ў*), вторичные неударенные гласные *а*, *и* в начале слова перед сочетанием *л*, *р* + согласный (*иржа́, арижа́ны, ильну́*), твердое произношение губных в конце слова и перед «йотом», фрикативное *г*, аканье в разных его вариантах, чередование слогов *ро-ры, ло-лы, ле-ли* и другие фонетические черты. Литературный язык воспринял основные черты морфологии и синтаксиса, свойственные всем или большинству говоров белорусского языка, например, формы именительного падежа множ. числа существительных мужского рода на *-ы, -и* (*бары́, л'асы́, гарады́*), формы родительного падежа существительных мужского рода на *-а, -я* и *-у, -ю*, родительного падежа множественного числа на *-аў, -яў, -оў, -ёў*; формы дательного, творительного и предложного падежей множественного числа существительных всех трех родов на *-ам, -ям, -ами, -ямы, -ах, -ях* и т. д. Установлена определенная система форм склонения и спряжения, синтаксических категорий. Литературный язык использовал общеполбелорусский фонд лексики, сложившийся на протяжении ряда столетий.

Многие черты современного литературного языка являются характерными чертами центральных белорусских говоров, легших в основу белорусского национального языка. Такими чертами являются в первую очередь полное аканье (с недиссимилятивным аканьем в первом предударном слоге) и твердое *р* (свойственное и южным говорам). Поскольку аканье даже в центральных говорах не всюду является полным, в литературном языке принято как норма неполное аканье (только в первом предударном слоге: *вяснá, зямлá, бяда́*). Нормой литературного языка являются и формы 3-го лица единственного числа глаголов I спряжения без *-ць* (*нясé, спяваé*) и глаголов II спряжения с окончаниями (*кóсиць, прóсиць*). Окончаниями прилагательных мужского рода являются в именительном падеже единственного числа стянутые формы на *-ы, -и* (*но́вы, сýнны*), а в именительном падеже множественного числа для всех родов — *-ыя, -ія* (*но́выя, сýнныя*). Принято и произношение местоимения *яна́*, тогда как в северо-восточных говорах говорят *ина́*, а в южных — *вона́*; принята и распространенная в большей части Белоруссии форма местоимений в именительном падеже: *ён, той* и др. Хотя нестяженные формы прилагательных женского рода в именительном падеже единственного числа и удлинение согласных (*голле, каменне*) распространены не на всей территории центральных говоров, они являются нормой литературного языка, так как распространены в большей части Белоруссии.

Однако в литературный язык вошли не все диалектные особенности центральных говоров: не принято как литературная норма сильное аканье (*з'ал'анавáты, в'арац'анó, да́йц'а, пóйц'а, вóз'ара*); не употребляются формы 3-го лица единственного числа глаголов II спряжения без окончания *-ць* (*кóся, прóся*) и формы именительного падежа множественного числа на *-э, -е* (*валé, барé, кавалé*); отсутствует произношение звука *о* вместо *а* перед *ў* (*прóўда, трóўка*). Не стали нормой и иные

¹⁸ Е. Ф. Карский, Русская диалектология, стр. 118.

диалектные черты, распространенные не только в центральных говорах, но и в остальных диалектах Белоруссии, например, окончания дательного и предложного падежей множественного числа существительных на *-ом*, *-ём*, *-ох*, *-ёх* (*братом*, *гас'ц'ом*, *гас'ц'ох*, *панёх*), формы винительного падежа множественного числа существительных (обозначающих одушевленные предметы, но не лица), совпадающие с именительным падежом (*пасу каровы*), и др., так как эти черты являются в языке архаичными, не отражающими тенденций развития белорусского языка.

Отметим, что некоторые диалектные черты центральных говоров, которые позднее не были восприняты литературным языком и стали считаться диалектизмами, были представлены в ранних произведениях Я. Купалы и Я. Коласа, так как нормы литературного языка в то время еще не были выработаны. Так, например, Купала часто употреблял формы 3-го лица единственного числа глаголов II спряжения без окончания *-ць*; эта черта распространена в языке поэта настолько сильно, что редакторы не отваживались исправлять эти формы даже в послеоктябрьский период: *ходзе*, *гутарку заводзе*, *заходзе* (стихотворение «Вясна»), *зачэпе*, *ад'енча*, *працярэбе* («Над ракой Арэсай»). В ранних произведениях Я. Купалы встречались и формы существительных именительного падежа множественного числа на *-э*, *-е*: «Канé-арлы вихром ямчали с края ў край» (стихотворение «У харомах», 1918. Фотоснимок с рукописи музея Я. Купалы).

Уже при беглом ознакомлении с ранними произведениями Я. Купалы создается впечатление, что для его языка характерно полное аканье, но яканье неполное, даже с элементами диссимилятивного яканья: *ни дружы с панами*, *вясёлы*, *яды*, *сидзяць*, *сытыя*, *прытухлыя* и др. (стихотворение «Ни дружы», Янук К. Фотоснимок с рукописи).

В сборнике Я. Купалы «Шляхам жыцця» (Пб., 1913) довольно последовательно выдерживается написание буквы *я* в первом предударном слоге перед всеми ударными гласными, кроме *а*: *цябе*, *ацяпלי*, *аквяци*, *зямлі*, *ня гром*, *вясёлы*, *вясну*, *прыбяры*, *яны* и др., но перед ударным *а* уже пишется *е*: *лецяць*, *элетае*, *не арэ*, *нема*, *меняеця*, *угледаючыся* и т. д. Такие написания могли быть продиктованы произношением поэта. Действительно, диалектные данные показывают, что диссимилятивное аканье заходит в северную часть центральных говоров; элементы диссимилятивного аканья имеются в говорах, представителем которых является Я. Купала. Сильное яканье в произведениях Я. Купалы не отражено, не было оно воспринято и белорусским литературным языком.

Все остальные черты литературного белорусского языка находят свое отражение в ранних произведениях Я. Купалы:

Не шасьцяць каласы,
Звон не валіцца с касы
Не кладуцца ў стог пласты,
Толькі сыплюцца лісты
На яловыя кусты,
На сухіе верасы

(Стихотворение «Адвiтанне»,
сб. «Шляхам жыцця»).

В этом отрывке мы находим отражение полного аканья, дзеканья, неполного яканья, оглушения звонких согласных, твердости *р* и шипящих, формы существительных, прилагательных, глаголов, лексику, присущие белорусскому литературному языку, даже орфография довольно близка к современной.

Детские годы поэта прошли в различных местностях б. Минской губ., преимущественно в ее северной части (Вилейский, Борисовский уезды и др.). Это — территория центральных говоров с аканьем, твердостью *р* и другими чертами, с элементами диссимилятивного яканья. Таким образом, северная часть центральных говоров явилась основой языка одного из выдающихся белорусских писателей, основоположника белорусского литературного языка Янки Купалы.

Все основные черты современного литературного языка находим и в ранних произведениях Я. Коласа. Даже в таком сборнике, как «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (Пб., 1909), в котором Колас стремился нормализовать язык, установить правила орфографии, широко отразились фонетические особенности центральных говоров белорусского языка: аканье, дзеканье, твердость *р*, шипящих и *ц*, удвоенное произношение согласных, оглушение согласных в конце слова и перед глухими и др.

В приведенном ниже отрывке из стихотворения «Вясковыя дзеці» (помещенном в указанном сборнике) фонетические, грамматические и лексические черты языка Я. Коласа чрезвычайно близки к современному литературному языку, близка к современной и орфография:

Пусты ў летку нашы сёлы:
 Усе на полі за сярпом,
 Толькі дзетак крык вясёлы
 Льецца ў вуліцах ручком.
 Вецер кудры іх цалуе,
 Мые дождж іх бледны твар;
 З імі сонейка жартуе
 І цяпло ім шле, як дар.

Как и в произведениях Я. Купалы, здесь отражено неполное яканье (т. е. яканье отсутствует в безударных слогах, кроме первого предупредительного). В первом предупредительном слоге перед ударенным *а* часто пишется *е* (*спеваць, дзеўчат*), в то время как перед остальными ударенными гласными пишется *я* (*яны сядели, яшчэ, яму, пясок, вяселы, вячэрняя* и др.).

В говоре дер. Николаевщина Столбцовского района Минской области — местности, где родился и провел детские годы Я. Колас, — проявляются все характерные черты центральных говоров: недиссимилятивное аканье, неполное яканье, твердое произношение *р*, шипящих, *ц*, оглушение согласных, встречаются окончания существительных мужского рода в именительном падеже множественного числа на *-э, -е*: *баравик'э, пацан'э, бурак'э* (такая особенность была и в языке дореволюционных произведений Я. Коласа), окончания прилагательных на *-ы, -и* (*стары, сiни*), а во множественном числе — *-ыя, -ія* (*старыя*), глаголы I и II спряжения в 3-ем лице употребляются без окончаний *-ць* (*пасэ, жнэ, чытае, коля, поля*) и т. д.

Таким образом, в ранних произведениях белорусских писателей Я. Купалы и Я. Коласа уже отчетливо выступают основные черты белорусского литературного языка, хотя и наряду со специфическими диалектными чертами центральных говоров. Позднее, когда установились фонетические и грамматические нормы литературного языка и выработалась орфография, некоторые из диалектных черт в языке писателей остались вне литературного языка, но все важнейшие черты центральных говоров легли в основу современного белорусского литературного языка.

Было бы неправильно считать, что между литературным языком и центральными говорами нет различий. Белорусский литературный язык создан на основе центральных диалектов, но воспринял из них такие наи-

более характерные для белорусского языка черты, как полное аканье, твердость *р*, удлинение согласных и т. д., — черты, распространенные полностью или частично и в остальных говорах Белоруссии на значительной территории.

При всем этом литературный язык отказался от ряда узко диалектных черт центральных говоров, восприняв и некоторые черты, широко распространенные в северо-восточных говорах, как, например, удлинение согласных (*каменне, збожжжа*), отсутствие стянутых форм прилагательных женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа (употребление полных форм: *новая, синяя*), употребление глагольной формы *ёсць*, произношение *п'ац'*, *м'аса* вместо распространенного в южных и части центральных говоров *пйац'*, *мйасо* и др. Таким образом, литературный язык не совпадает полностью ни с одним диалектом белорусского языка, он является общим на всей территории нации и является средством связи между всеми представителями нации, средством обмена мыслями, а тем самым средством развития общества, средством развития национальной культуры.

Между литературным языком и народными говорами существуют сложные взаимоотношения: литературный язык оказывает значительное влияние на диалекты через школу, радио, кино, печать, сглаживая диалектные особенности; с другой стороны, языковые особенности диалектов могут проникать в литературный язык, в первую очередь в язык писателей.

Особенно подвижной и изменяемой является в языке лексика. Несомненно, что лексика белорусского литературного языка, складываясь на основе центральных говоров, впитала в себя ряд особенностей остальных диалектных групп. Лексика современного белорусского литературного языка значительно отошла от лексики диалекта-основы, так как это уже лексика культурного, передового народа, лексика, которая не ограничена сельскохозяйственной, производственной и бытовой терминологией, а имеет свою разработанную научную, научно-техническую, общественно-политическую терминологию. Лексика белорусского литературного языка развивается под благотворным влиянием русского языка; для осуществления этого влияния Великая Октябрьская революция открыла широкие возможности.

Проблема формирования белорусского литературного языка и его взаимоотношения с диалектами требует еще дальнейшего глубокого и всестороннего изучения. Большую помощь в этом отношении могут оказать исследования о языке ведущих белорусских писателей, глубокое изучение диалектов, а также создание диалектологического атласа белорусского языка.

Только общими усилиями всех работников лингвистического фронта может быть полностью разрешена проблема диалектной основы белорусского литературного языка.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. ГЕОРГИЕВ

ВОПРОСЫ РОДСТВА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ ЯЗЫКОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько десятков лет накопилось огромное количество новых материалов о древних языках Средиземноморья и Передней Азии¹. Оно продолжает расти все больше и больше. Вопросы лингвистического исследования этих языков тесно переплетаются с проблемами археологии, этнографии и истории. Материалы и многочисленные статьи, посвященные указанным проблемам, опубликованы в самых различных журналах и отдельных книгах, нередко трудно доступных и мало известных вне круга определенной узкой специальности.

Поэтому исследователю, работающему в какой-либо одной отрасли науки, не всегда удается составить себе достаточно ясное представление о добытых результатах в соседних областях. Отсюда и возникает необходимость широкой взаимной информации разными специалистами — каждым в пределах своей области — о возникших сложных проблемах и о ряде новейших достижений. Организованная редакцией журнала «Вопросы языкознания» дискуссия, несомненно, поможет выяснению многих вопросов и даст толчок для их дальнейшей разработки.

•

В наши дни в области Средиземноморья компактные массы местного населения говорят на различных языках, принадлежащих к нескольким языковым семьям: баскской, индоевропейской, тюркской, семитической, берберской. К ним следует причислить также и кавказские языки, на которых говорят в близко расположенной области. Несмотря на этнические изменения, происходившие в разное время, нет никаких серьезных оснований предполагать, что несколько тысячелетий тому назад разнообразие языков в этой области было меньшим, чем теперь.

Однако некоторые ученые утверждают, что на всей огромной территории от Атлантического океана до Персидского залива пять-шесть тысячелетий тому назад были в употреблении языки, принадлежащие к одной единственной языковой семье, в которую включается и современный грузинский язык. К этим языкам причисляют баскский, этрусский, пелазг-

¹ Насколько далеко продвинулось исследование этих языков, мы можем судить по новому изданию книги «Языки мира» [под ред.] А. Мейе и М. Коэна («Les langues du monde», sous la direction de A. Meillet et M. Cohen, Paris, 1952). В этом издании освещение вопроса об указанных языках совершенно иное, чем в первом издании книги (Paris, 1924).

ский (догреческий), ликийский, лидийский, карийский, хеттский, шумерский, эламский и др. Такова была концепция Н. Я. Марра на раннем («яфетическом») этапе развития его теории. Ее разделяют в наши дни Н. Бердзенишвили, И. Джавахишвили, С. Джанашиа в их «Истории Грузии» (ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 16 и сл.), А. С. Чикобава во «Введении в языкознание» (ч. I, 2-е изд., М., 1953, стр. 224 и сл.). Эта теория имеет приверженцев и в других странах, главным образом среди кавказоведов и баскологов, а также и среди некоторых итальянских романистов.

Указанная концепция возникла в связи с вопросом о языковой принадлежности древних эгейско-малоазийских племен и народов: фригийцев, мизийцев, лидийцев, ликийцев, карийцев и т. д. В середине XIX в. ученые еще не имели ясного представления об этих языках: они считали одну часть из них семитическими, а другую — индоевропейскими, т. е. причисляли всех их к той или другой из двух наиболее известных больших языковых семей. Постепенно, во второй половине XIX в., было установлено, что значительная часть греческих географических названий, которую невозможно было объяснить на основании греческого языка, имеет соответствия в Малой Азии. Кроме того, для большого количества греческих слов также не находилось удовлетворительной этимологии в плане связей греческого языка с другими индоевропейскими языками. С другой стороны, различные свидетельства античных авторов указывали на то, что греки не были автохтонным населением Эгейской области. На основании этих соображений, а также в силу априорного убеждения, что греки были первыми индоевропейцами в Эгейской области, к концу XIX в. оформилась следующая теория: языки древнего догреческого и малоазийского населения (ликийцев, лидийцев, карийцев и пр.) не были ни индоевропейского, ни семитического происхождения, а составляли языковую семью «своего рода». К ней был причислен и этрусский язык, так как античная традиция свидетельствовала о том, что этруски ведут свое происхождение из западной части Малой Азии. Так родилась теория о существовании особой эгейско-малоазийской, или «азианической» (термин французских лингвистов), группы языков древнего автохтонного населения Греции и Малой Азии. Один лишь фригийский язык был выделен издавна из этой группы и признан индоевропейским языком, так как фригийские надписи содержат довольно много слов, очень сходных с греческими.

В близком соседстве с малоазийским населением, которое стали считать несемитическим и неиндоевропейским, находились, как известно, кавказские племена и народы. Поэтому еще во второй половине XIX в. некоторые исследователи, как, например, К. Паули, Ф. Гоммель, С. Рейнак и др., выдвинули гипотезу, что эгейско-малоазийские языки являются родственными кавказским. К этим языкам некоторые ученые стали причислять и баскский, а также неиндоевропейские и несемитические языки Передней Азии. Однако эти утверждения были чаще априорными, а не обоснованными серьезной научной аргументацией².

Особенно благоприятствовало распространению подобных взглядов следующее обстоятельство. Большая часть немецких языковедов и археологов, исходя из шовинистических и расистских соображений, пыталась доказать, что Северная Германия и некоторые соседние с ней области будто бы были прародиной всех индоевропейских племен. Они считали индоевропейцами носителей так называемой «шнуровой керамики» и в связи с ее распространением устанавливали, что расселение индоевропейцев якобы началось из Северной Германии лишь в самом конце III ты-

² Подробно об этом см.: V. Georgiev, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, Sofia, 1941, стр. 13 и сл.

сячелетия до н. э. Они априори утверждали, что древнее земледельческо-скотоводческое население Дунайского бассейна было неиндоевропейским по языку. С другой стороны, немецкие расисты считали, что соответственный тип языка возникает именно на основании биологических качеств данной расы. Таким образом, они связывали возникновение отдельных групп языков с определенными расами и приписывали создание индоевропейских языков с их особым строем так называемой «нордической расе» (высокорослой, голубоглазой, светловолосой и длинноголовой), а создание древних языков Средиземноморья — особой «средиземноморской расе». Так как некогда немецкое сравнительное языкознание было авторитетным, эти концепции некритически воспринимались многими лингвистами, археологами, этнографами и историками других стран³. Подобные взгляды нельзя назвать научными: родство языков не имеет ничего общего с биологическим родством, с делением человечества на расы, которые к тому же были смешанными уже в древнейшие времена.

*

Родство языков можно установить лишь на основе сравнительно-исторического метода. Чтобы доказать, например, родство между баскским, этрусским и кавказскими языками, существует один единственный методически правильный путь.

Нужно прежде всего найти достаточное количество точных соответствий в звуковом составе слов и морфем, которые, кроме того, были бы сходными между собой и по своему значению. Отдельные слова или морфемы приблизительно одинакового значения в двух различных языках могут случайно совпасть по своему звуковому составу, не будучи родственными между собой, однако если совпадают целые категории слов или морфем, случайность исключена и родство сравниваемых языков несомненно. Поэтому-то и оказывается чрезвычайно важным установить целые категории сходных слов и морфем (например, названий частей тела, родственных отношений, местоимений, числительных и т. п.), как и некоторых самых обыкновенных слов основного словарного фонда, относящихся к глаголкой древности (например: *вода, солнце, день, ночь, жить, умирать, есть, пить, спать, сидеть, стоять* и пр.).

На основе явных соответствий устанавливаются затем звуковые законы родства рассматриваемых языков. Базируясь на установленных таким образом звуковых соответствиях, нужно сопоставить также и другие слова и морфемы с незаметными на первый взгляд признаками родства, фонетическое различие которых может быть объяснено при помощи звуковых законов, а возможное несоответствие по значению также может найти оправдание.

Родство языков может быть более близким, например, подобным родству между отдельными семитическими языками, или более далеким, как между семитическими и хамитическими языками. В первом случае мы находим гораздо большее число явно сродных слов и морфем, во втором — их значительно меньше. Однако как в том, так и в другом случае доказательство родства должно отвечать вышеуказанным условиям. И при более далеком родстве ясно выделяются родственные слова⁴; ср., например:

³ Необходимо отметить, что и среди немецких лингвистов второй половины XIX и начала XX в. были решительные противники тезиса о «нордической прародине» индоевропейцев и среди них такие крупные ученые, как О. Шпрингер и Э. Файст. — *Ред.*

⁴ О родстве семитическо-хамитических языков см. М. С о h e n, *Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique*, Paris, 1947.

Семитический язык	Египетский язык	Значение
<i>ʕyn</i>	<i>ʕn</i>	«глаз»
<i>ʕoʕn</i>	<i>ydn</i>	«ухо»
<i>ʕnf (aʕənčā)</i>	<i>fnḡ</i>	«нос»
<i>lšn</i>	<i>ns</i>	«язык»
<i>lbb</i>	<i>yḅ</i>	«сердце»
<i>yḏ</i>	<i>d</i>	«рука»

Итак, тот, кто утверждает, что существует родство, например, между баскским, этрусским и кавказскими языками, должен привести убедительные доказательства этого родства, которые хотя бы отчасти могли удовлетворить приведенным выше требованиям. Ниже мы подвергнем переоценке прежние опыты в этой области.

II. БАСКСКИЙ ЯЗЫК

Те ученые, которые считают, что существует родство между баскским и кавказскими языками, часто приводят в доказательство близость названий *иберицы*, *Иберия* на Пиренейском полуострове и на Кавказе. Имена *Ἰβεραι*, *Ἰβηροι*, *Ἰβήρα*, лат. *Hiberi*, *Hiberes*, реже *Iberi*, *Iberes*, *Hiberia*, *Iberia* засвидетельствованы античными авторами с конца VI в. до н. э. на Пиренейском полуострове (Гекате́й, Эсхил, Геродот и др.) и начиная с IV в. до н. э. на Кавказе.

Сходство обеих групп географических и этнонимических названий нельзя считать убедительным доказательством родства соответственных языков, потому что это может быть простая омонимия. Можно привести многочисленные примеры такого случайного схождения⁵. Скентически относятся к возможным выводам из этой омонимии такие баскологи, как Ж. Лаконб и Р. Лафон (и. Lacombe и R. Lafon⁶), хотя последний и является сторонником гипотезы о баскско-кавказском родстве. В данном случае мы имеем такое же совпадение, как при названиях *албанцы* и *Албания* на Кавказе (старинное название современного советского Азербайджана) и в западной части Балканского полуострова. На основании этой омонимии Н. Я. Марр и П. С. Державин⁷ делали попытку доказать, что албанский язык — «ифетический», т. е. родственный кавказским языкам. Эта попытка, однако, абсолютно несостоятельна. Албанский язык, несомненно, принадлежит к индоевропейским языкам.

На таких омонимиях нельзя строить теории родства племен и языков. Подобные сравнения можно использовать лишь в качестве побочного, второстепенного аргумента при наличии иных доказательств — и то прежде всего при наличии доказанного родства соответственных языков. До сих пор делалось немало попыток доказать родство баскского с кавказскими языками, но их нельзя считать убедительными. Сам Н. Я. Марр —

⁵ Например: *Анди* — село на Кавказе и горы в Южной Америке; *Athinaí* (Ἀθήναι) — город в Греции и *Aitna* — племя в Северной Америке; *Ἰδῆ*, дор. *Ἰδᾱ* — гора в Троаде и на острове Крит и *Ida* — город в Японии; *Καρυεῖς* — племя в Малой Азии и *kare* — племя в Центральной Африке; *Κύβη* — город на Кавказе и остров Средней Америки; *Λαος* — город и река в Южной Италии и область в Индо-Китае; *лаки* — племя в Дагестане и *Lakia* — племя на острове Ханиан; *Λεῖπτοι* — «латыни» и индонезийское племя; *Μυσοί* — древнее племя на Балканском полуострове и *musa* — племя в Новой Гвинее; *Ναζαίοι* — обитатели острова Наксос в Эгейском море и *насиой* — панаусское племя; *Παριζ* (обычно *Παρία*) — остров в Эгейском море и *Paria* — полуостров в Южной Америке; *Πο* — река в Италии и город в Китае и т. д.

⁶ См. «Hitt-Festschrift», II, Heidelberg, 1936, стр. 121 и сл.

⁷ См.: Н. Я. Марр, «Ифетический сборник», I, Пб., 1922, стр. 57 и сл.; Н. Державин, сб. «Язык и литература», т. I, выпуски 1—2, М., 1926, стр. 171 и сл.

страстный приверженец этой концепции — признает, что первые попытки этого рода, например, Г. Винклера, А. Тромбетти, К. Уленбека и пр. не привели к удовлетворительным результатам. Но, по мнению Н. Я. Марра, причиной этого было недостаточное знание кавказских языков⁸.

Н. Я. Марром написано три специальные работы, имевшие целью доказать родство баскского с кавказскими языками⁹. Кроме того, в других своих работах он рассматривает отдельные баскские слова и морфемы в плане их предполагаемого родства с кавказскими¹⁰. В некоторых из этих работ сравнения основываются на так называемом «четырёхэлементном анализе». Они не заслуживают внимания. Но и в ранних работах Н. Я. Марра — как и в работах позднейшего времени, его сближения ничем не лучше неудовлетворительных попыток других авторов.

Вот некоторые примеры:

баск. *itur* «источник, родник»: груз. *ikaro* «источник, родник»;
баск. *bero* «теплый»: груз. *šbil* «теплый»;
баск. *hogey* «двадцать»: груз. *oθ* «двадцать»;
баск. *sagar* «яблоко»: груз. *saal* «груша»;
баск. *ibiti* «ходить»: груз. *bitik* «естеи».

Случайные сравнения, сделанные на основе некоторого звукового сходства, несмотря на различия в значениях, не могут доказать родства баскского с кавказскими языками. Кроме того, Н. Я. Марр часто допускал методологическую ошибку, сопоставляя для доказательства баскско-кавказского родства баскские слова с армянскими, даже и в тех случаях, когда армянские слова имеют явно индоевропейское происхождение. Например, баскское слово *harits* «дуб» сравнивается с армянским *kalin* «жолудь» (*kalni* «дуб»), несмотря на то, что армянское слово, несомненно, индоевропейского происхождения: оно сродно с греч. *βύλαρος*, лат. *glans*, ст.-слав. *жаждь* и пр. Эта попытка доказать родство баскского с кавказскими языками несостоятельна. Ниже мы излагаем опыт К. Боуда, причем все критические замечания по поводу этого опыта в еще большей мере можно отнести к концепциям Н. Я. Марра.

*

К. Боуда сделал недавно новую попытку доказать родство баскского с кавказскими языками. В своих статьях «Баскско-кавказский», «Баскский и кавказские языки» и в книге «Баскско-кавказские этимологии» он постарался собрать и систематизировать все попытки доказательства родства этих языков, пытаясь установить также их звуковые соответствия¹¹. Критический разбор этой попытки дает нам возможность составить себе мнение о нынешнем состоянии данной проблемы¹².

⁸ См.: Н. Я. Марр, Избр. работы, т. I, Л., Изд-во ГИИМ, 1933, стр. 108 (прим.) и стр. 164; е го ж е, сб. «Язык и литература», т. I, стр. 211.

⁹ См.: «Известия Росс. Акад. наук», т. XIV, Пг., 1920, стр. 131 и сл.; сб. «Язык и литература», т. I, выпуски 1—2, стр. 193 и сл.; «Избр. работы», т. IV, стр. 3 и сл.

¹⁰ См.: «Известия Росс. Акад. наук», т. XV, Пг., 1921, стр. 725 и сл.; «Ифетический сборник», I, стр. 1 и сл.; «Доклады Росс. Акад. наук», Л., 1924, октябрь — декабрь, стр. 159 и сл.; «Доклады Росс. Акад. наук», Л., 1925, январь — март, стр. 5 и сл.; там же, стр. 15 и сл.; «Ифетический сборник», III, М.—Л., 1925, стр. 1 и сл.; «Язык и литература», т. I, выпуски 1—2, стр. 261 и сл.; см. библиографию: сб. «Язык и литература», т. I, выпуски 1—2, стр. 214 и сл.

¹¹ См.: «Homenaje a don Julio de Urquijo», III, San Sebastian, 1950, стр. 167 и сл.; «Zeitschrift für Phonetik», II, стр. 182 и сл. и 336 и сл.; «Baskisch-kaukasische Etymologien», Heidelberg, 1949.

¹² В последних работах Р. Лафона (R. Lafon: «Conférences de l'Institut de Linguistique de l'Université de Paris», 1951; «Words: — VII, 1951, стр. 167 и сл.; — VIII, 1952 стр. 49 и сл.; «Études basques et caucasiqnes, Salamanca, 1952) не содержится ничего нового.

Среди 266 сравнений, которые Боуда приводит как самые вероятные, только некоторые могут быть приняты за возможные:

баск. (*h*)*ola* «балка»: лак. *ula* «балка»;
баск. *eder* «красивый»: сван. *ezer* «красивый»;
баск. (*h*)*a-i* «питать»: абх. *adz(a)*, *az(a)* «питать»;
баск. *zara* «корзинка»: груз. *dzar-i* «корзинка».

К этим соответствиям можно было бы прибавить еще десяток менее вероятных. Все остальные сравнения неубедительны, так как:

а) хотя значения действительно совпадают, но звуковая близость недостаточна для сопоставления, потому что она базируется на одной единственной фонеме, например:

баск. *jo* «стучать»: черк. *o* «стучать»;
баск. *jaio* «рождаться»: абх. *i* «рождаться»;
баск. *ikoe* «борозда»: груз. *k'vali* «борозда, след»;

б) в других словах звуковой состав близок, но значения различны, например:

баск. *huto* «мягкий, зрелый»: лак *xjuti* «жидкий»;
баск. *habe* «балка»: лак. *xjabi* «деревце (растение)».

Наконец, часть сравнений явно ошибочна, так как предметом сравнения являются баскские заимствования из других, обычно индоевропейских языков, как, например:

баск. *altz*, *altza*, *alza* «ольха»: исп. (из гот.) *aliso* «ольха» из и.-е. **al (i)so-s*;
ср. лат. *alnus* «ольха» из **als-no-s*;
баск. *uzti* «жатва» от ром. *augustus*;
баск. *zanko* «нога» («jambe») из испанского и т. д.¹³

Даже баскологи, приверженцы гипотезы родства баскского с кавказскими языками, признают, что баскские названия частей тела, родственных отношений и числительные совершенно отличаются от соответствующих слов в кавказских языках¹⁴. При этом следует подчеркнуть, что как Боуда, так и другие сторонники этого взгляда сравнивают баскские слова со словами из любых кавказских языков, тогда как фактически родство всех кавказских языков (например, некоторых северных и южных) еще не вполне установлено.

Некоторые пользуются для доказательства родства этих языков отдельными морфемами; например, баскский суффикс родительного падежа *-en* сравнивают с окончанием родительного падежа *-n* в некоторых северокавказских языках и т. д.¹⁵ Однако сравнения, базирующиеся на одной единственной фонеме, ничего не доказывают, так как число фонем ограничено и среди различных кавказских языков, морфологическая структура которых выявляет большое разнообразие, легко можно найти какую-нибудь морфему с подобной функцией. Так, например, баскский язык обладает противопозитивным членом *-a*, так же как и болгарский язык (ср. баск. *gizon* «человек» и *gizon-a*, болг. *човек* «человек» и *човек-a*), но это совпадение не может быть ничем иным, как случайной омонимией, так как славянское происхождение болгарской членной формы не подлежит сомнению.

¹³ См. J. H u b s c h m i d, «Vox Romanica», X, 1948/49, стр. 313.

¹⁴ См., например, R. L a f o n, Gernica = Eusko-Jakintza, («Revue des études basques»), 1, 1947, стр. 44.

¹⁵ См., например, там же, стр. 43 и сл.

Итак, доводы, приводимые в пользу рассматриваемой теории, не отвечают научным требованиям для установления родства языков, хотя бы и далекого. Никто до сих пор не открыл достаточного числа точных соответствий слов, на основе которых могли бы быть выведены убедительные звуковые соответствия. Отсутствует также какая-либо возможность указать родство целых категорий слов. Следовательно, нельзя считать, что родство баскского с кавказскими языками доказано.

Попытка К. Боуда, представляющая собой лучший и подробнейший анализ из всех, сделанных до сих пор, не может убедить даже такого сторонника родства, каким является И. Губшмид. Он пишет: «При рассмотрении сопоставлений Боуда мы нередко встречаем скорее этимологические возможности, чем правдоподобные сравнения»¹⁶. [Весьма скептическое отношение ко всяческим подобным попыткам доказательства родства баскского с другими языками высказывает, например, видный басколог Ж. Лакомб¹⁷.

Ниже (на стр. 57 и 71) нами приводятся баскские числительные и личные местоимения. Здесь же будут даны более важные категории слов, из которых видно, что баскский не является родственным другим сравнивавшимся с ним языкам:

1. Термины, выражающие родственные отношения: *aita* «отец», *ama*¹⁸ «мать», *anae*, *anaï*, *anaie*, *anaia* «брат» (биск. *anae*, *anaï* «брат брата»), *neba* «брат сестры», *arrebà* «сестра брата», *aizpa*, *ahizpa* (биск. *aizta*) «сестра сестры», *seme* «сын», *alaba*, *alhaba* «дочь», *senar*, *senhar* «муж, супруг», *emazte* «жена, супруга», *illoba*, *lloba* «внук, внучка (или племянник, племянница)», *erren*, *errein*, *erran* «невестка, сноха», *sui(u)*, *sui* «зять».

II. Названия частей тела: *begi* «глаз», *bea*, *bea*, *bea*, *bea* «ухо», *sudur* «нос», *ortz*, *hortz* «зуб», *biotz*, *bihotz* «сердце» (*gogo*, часто сравниваемое с груз. *guli* «сердце», означает в сущности «мысль, дух, душа», «pensée, esprit»), *esku* «рука (кисть)», *beso* «рука» («bras»), *oin* «нога (ступня)», *zanko*, *zankho* «нога» («jambe»), *min*, *miin*, *mihi*, *mii* «язык», *belaun*, *belhaun* «колени».

*

При попытках показать родство баскского с кавказскими языками обычно исходят из концепции, что язык басков идентичен с языком древних пиренейских иберийцев, которых считают а priori единственным автохтонным или древнейшим населением Пиренейского полуострова. Однако факты показывают иное. Древние надписи на иберийском языке, т. е. на языке народа, занимавшего Средиземноморское побережье от Каталонии до Альмерии, а также и бассейн реки Эбро, не поддаются истолкованию при помощи баскского языка. При этом оказывается, что не существует явного сходства между окончаниями иберийских слов и окончаниями баскского склонения и спряжения. Отсюда ученые заключают, что баскский не происходит из древнего пиренейского иберийского языка, что эти языки вообще не имеют общего происхождения¹⁸. Многие склонны считать древний пиренейский иберийский язык хамитическим (ливийско-берберским). Кроме того, несомненно, что хамитический язык оказал влияние на баскский¹⁹. Хамиты (берберы, ливийцы, египтяне) — одни из древнейших племен североафриканского побережья. Они очень рано проникли на Пиренейский полуостров, в Сицилию и, вероятно, и в другие области. Так как берберский, ливийский и египетский языки имеют от-

¹⁶ «Vox Romanica», X, 1948/49, стр. 311.

¹⁷ См. G. Lacombe, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», V, 1937, стр. 18.

¹⁸ См.: J. C. Baroja, «Jahrbuch für kleinasiatische Forschung», I, 1951, стр. 261; R. Lafon, «Bulletin Hispanique», LIV, 1952, стр. 165 и сл.

¹⁹ См. об этом, например, C. C. Uhlenbeck, «Lingua», I, 1947, стр. 60 и сл.

даленное родство с семитическими языками и так как эти последние оказали влияние на кавказские и на малоазийские языки, а финикийско-пунический, со своей стороны, оказал влияние на языки западной части североафриканского побережья, древней Испании, а отчасти и Сицилии, то некоторые общие элементы во всех этих языках могут иметь хамито-семитическое происхождение. Наконец, на Пиренейском полуострове в древности не исключено наличие нехамитических африканских племен.

В настоящее время считают, что на Пиренейском полуострове следует разграничивать три различных языковых зоны: а) васконскую; васконы — предки современных басков: вымерший в начале новой эры аквитанский язык на территории современной Южной Франции был близко родственным васконскому; б) иберийскую; в) тартессийскую в области древнего Тартесса²⁰. Кроме того, Пиренейский полуостров был отчасти колонизован финико-пунийцами, а также — в меньшей мере — греками и, вероятно, этрусками. Их языки также оказали более или менее сильное влияние на древнепиренейские языки.

III. ЭТРУССКИЙ ЯЗЫК

Памятниками этрусского языка являются текст на пеленах мумии, сохраняемой в Народном музее в Загребе в Югославии (так называемый *liber linteus*), а также около десяти тысяч надписей, в основном надгробных, реже посвятельных — на бронзовых зеркалах, геммах, стенной живописи, на статуэтках, на вазах и т. д. Имеется также несколько этрусских глосс, сохранных у античных писателей. Девять десятых надписей совсем краткие: они состоят почти исключительно из собственных имен. Несколько кратких надписей восходит к VII в. до н. э.; это — древнейшие этрусские письменные памятники. Основная масса надписей — позднее IV в. до н. э., а самые поздние относятся к началу новой эры.

За последние два века сделано множество попыток истолковать этрусские письменные памятники. Существует два метода их толкования — этимологический и комбинаторный. Сущность этимологического метода заключается в интерпретации этрусских слов путем сравнения со словами других языков. До сих пор пытались истолковать этрусские надписи при помощи самых разнообразных языков: еврейского, египетского, турецко-татарских, кавказских, баскского, финского, венгерского, древнеиндийского, армянского, греческого, итальянских, албанского, славянских, африканских, американских, японского... Эти попытки часто имели совершенно дилетантский характер и не приводили к удовлетворительным результатам. Основная ошибка их авторов состояла в том, что они пытались установить значения этрусских слов на базе внешнего созвучия. Это нельзя назвать научным приложением сравнительно-исторического метода.

Комбинаторный метод, установленный В. Деекке, состоит в определении значения этрусских слов и морфем на основе комбинаторных соображений, базирующихся только на изучении материала этрусских текстов, без учета этимологических сравнений с другими языками (К. Паули, Г. Гербиг, А. Торп, С. П. Кортсен). Работа при помощи этого метода дала положительные результаты: были установлены значения ряда слов и морфем. Однако применение этого метода довольно ограничено, и его возможности уже в значительной степени исчерпаны.

²⁰ См. R. Lafon, «Bulletin Hispanique», LIV, стр. 169. Предположение А. Шультена (A. Schulten, «Klio», XXXIII, 1940, стр. 72 и сл.) о том, что так называемые тартессийские (турдетанские, лузитанские) надписи написаны на тиррено-этрuscoм языке, необосновательно.

Никому до сих пор не удалось привести какие-либо серьезные доказательства в пользу родства этрусского языка с баскским. Наоборот, чем более углубляются исследования этих двух языков, тем яснее становится, что между ними существует коренное различие. Таково в наши дни авторитетное мнение этрускологов, причем не только тех, которые в большей или меньшей степени разделяют мнение о индоевропейском характере этрусского языка, но и таких, которые считают его неиндоевропейским, как К. Баттисти, К. Ольша, М. Паллоттино и т. д.²¹

*

Лет двадцать назад преобладало мнение о неиндоевропейском характере этрусского языка, хотя и было ясно, что этрусские надписи содержат индоевропейские элементы. Указанное мнение опиралось главным образом на авторитетную и господствовавшую долгое время теорию о неиндоевропейском характере древнего догреческо-малоазийского населения. Согласно с этой концепцией, индоевропейские элементы в этруском определялись как заимствования из соседних индоевропейских языков в Италии. Однако большинство из этих элементов проявляется в этруском в особой странной форме, не могущей найти удовлетворительного объяснения в качестве заимствования или же вообще отсутствующей в соседних языках (например, *tin* «день»). Из-за этого некоторые видные этрускологи придерживались мнения, что этрусский сроден с итальянскими языками (Э. Латте), с армянским (С. Бугге) или же, что он имеет отдаленное родство как с индоевропейскими, так и с кавказскими языками (А. Тромбетти).

Открытие хеттского языка, а также и других древних индоевропейских языков в Малой Азии, определение индоевропейского характера ликийского и лидийского, как и догреческого языка вызвали переворот в концепции о языковой принадлежности этрусков²². Новые данные заставили многих этрускологов отступить от своих прежних позиций. Так, например, П. Кречмер, считавший раньше этрусский неиндоевропейским языком, был вынужден в 1925 г. определить его как «индогерманоидный»²³, а в 1940 г. сделать еще один шаг вперед, признав, что «основа этрусского — индоевропейская»²⁴. Этрусколог Э. Феттер также изменил свою прежнюю концепцию, попытавшись доказать в 1937 г., что этрусский язык — индоевропейский²⁵. Изменили свое мнение и этрускологи В. Бранденштейн, Дж. Девото, М. Паллоттино и другие, принявшие положение, что этрусский язык представляет собой смешение какого-то индоевропейского языка с неиндоевропейским²⁶.

Наш взгляд на происхождение этрусков и их язык изложен в ряде статей, а также в работе «Языковая принадлежность этрусков»²⁷. Здесь будут даны только основные положения. Этруски — переселенцы из северо-за-

²¹ См. C. Battisti, «Scientia», LVII, 1935, стр. 377; K. Olzsha, «Neue Jahrbücher», 1936, стр. 97; M. Pallottino, L'origine degli Etruschi, стр. 74; см. также V. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 38.

²² См. V. Georgiev, Die sprachliche Zugehörigkeit der Etrusker, Sofia, 1943, стр. 5 и сл.

²³ См. P. Kretschmer, «Glotta», XIV, 1925, стр. 317.

²⁴ См. P. Kretschmer, «Glotta», XXVIII, 1939/40, стр. 231 и сл., особенно стр. 267.

²⁵ См. E. Vetter, Etruskische Wortdeutungen, I, Wien, 1937; его же, «Glotta», XXVIII, 1939/40, стр. 117 и сл., XXIX, 1942, стр. 209 и сл.

²⁶ См. W. Brandenstein, «Revue internationale des études indoeuropéennes», I, 1938, стр. 301 и сл.; G. Devoto, «Studi Etruschi», XVIII, 1944, стр. 187 и сл.; M. Pallottino, L'origine degli Etruschi, 1947, стр. 60 и сл., 82.

²⁷ См. V. Georgiev, Die sprachliche Zugehörigkeit der Etrusker, Sofia, 1943..

падной Малой Азии: они потомки древних троянцев, колонизовавших Этрурию в несколько этапов, начиная с конца второго тысячелетия до н. э.²⁸ Этрусский язык близок родствен древним индоевропейским эгейско-малоазиатским языкам: хеттскому, лувийскому, лидийскому и т. д. Как во всех этих языках, так и в этруском (а также и в армянском) содержится известное количество неиндоевропейских элементов, главным образом в области лексики. Эти неиндоевропейские элементы принадлежат, вероятно, хаттскому («протохеттскому») или же какому-нибудь другому языку, находящемуся в родстве с ним. Поскольку хаттский язык имеет родственные связи с современными кавказскими языками, эти элементы этрусского языка должны были бы иметь соответствия в кавказских языках. Кроме того, этрусский язык, вероятно, воспринял некоторые чуждые ему элементы на новой родине. Однако по существу этрусский язык является индоевропейским. Это видно на примерах этрусских слов и морфем, вполне надежно установленных комбинаторным способом.

Наш метод интерпретации этрусского языка комбинаторно-этимологический. Сущность этого метода состоит в следующем. Значения этрусских слов и морфем определяются на основании комбинаторных соображений из самих текстов, без учета их этимологии. Затем, на базе слов и морфем с вполне достоверным значением и этимологией, устанавливаются основные черты сравнительно-исторической фонетики этрусского языка. Далее, с точки зрения этой фонетики, даются этимологии остальных этрусских слов и, таким образом, определяется принадлежность этого языка.

Самые важные черты этрусской сравнительно-исторической фонетики следующие:

и.-е. $\bar{o} >$ этр. a ; и.-е. $\bar{o} >$ этр. u ;
и.-е. $ai >$ этр. ai (архаизм), ei , e ; и.-е. $eu >$ этр. ai , но и.-е. $\bar{eu} >$ этр. eu ; и.-е. $au >$ этр. u ; и.-е. r , l , n , m (br , yl , yn , ym) $>$ этр. ur , ul , un , um ;

и.-е. начальное $i >$ этр. h - (или поль), как в греческом.

Передвижение согласных приблизительно таково, как и в армянском:
и.-е. p , t , $k >$ этр. φ (на письме φ , f , p), θ (на письме θ , t), χ (на письме χ , c , k);
и.-е. b , d , $g >$ этр. p , t , k .

Делабиализация индоевропейских лабиовелярных согласных: и.-е. k^u , g^u , $gh^u >$ этр. χ (на письме χ , c , k), k (на письме c , k), γ (или h);

и.-е. $bh >$ праэтр. $b >$ этр. v ;

и.-е. $dh >$ праэтр. $d >$ этр. r ; ср. $d >$ умбр. $\tilde{r}$, rs ; однако если в соседнем слове имеется звук r или l , ротацизма не происходит, приблизительно как в латинском;

и.-е. gh , $gh^u >$ праэтр. $g >$ этр. γ (h) или поль;

и.-е. $r\bar{e} >$ $r\bar{a}$, как в аттическом диалекте греческого языка;

и.-е. g , $g^u >$ праэтр. k перед i , e , $i >$ этр. z , s , как в умбрском и в народном латинском языках;

и.-е. l после гласной в конце слога $>$ $\bar{n}$ (i), приблизительно как в умбрском языке;
ср. и.-е. $l >$ арм. γ ;

и.-е. интервокальное $-s- >$ $-r-$, как в латинском и умбрском языках;

и.-е. $kt >$ этр. θ ;

и.-е. $ks >$ этр. z ($=ts$), как в армянском языке;

и.-е. начальное $sk- >$ этр. $h-$, как в албанском языке; но внутри слова $-sk- >$

z , s ;

и.-е. начальное dn через $tn >$ этр. s , как в греческом языке.

Внутри слова и.-е. $-dn-$ и $-tn-$ $>$ lv (вторичное изменение), как в мильи-ском²⁹.

²⁸ См. В. Георгиев, «Вестник древней истории», М., 1952, № 4, стр. 133

¹ сл.

²⁹ Ср. Н. Pedersen, *Lykisch und Hittitisch*, Kopenhagen, 1945, стр. 44.

Приводим ниже доказательства индоевропейского характера этрусского языка. Даем только слова и морфемы, значение которых надежно установлено комбинаторным путем.

1. Термины, выражающие родственные отношения: *ati* «мать»: др.-инд. *attā* «мать», *attih* «старшая сестра»;

clan «natus, filius, сын» из и.-е. **gnā-no-s* «рожденный» — причастие прош. страд. на *-no-* с диссимилиацией *n — n > l — n*³⁰: др.-лат. *gnātus*, классич. лат. *natus* «рожденный, сын» из и.-е. **gnā-to-s* — причастие прош. страд. на *-to-*;

nefts «внук»: лат. *nepōs* (род. падеж *nepōtis*) «внук»;

papaxs (или *papals-*)³¹ «внук» (по материнской линии?), производное от *pap-* «дед»: греч. *πάππος*, арм. *pap* «дед»; ср. др.-франц. *avelet* «внук», производное (уменьшительное) от *ave* «дед», нем. *Enkel* «внук», производное (уменьшительное) от др.-в.-нем. *ano* «прадед» (ново-нем. *Ahn*);

prumts, *prumaθs* «правнук»: лат. *pronepōs* «правнук»;

puia «жена, супруга» из и.-е. **pu(u)-(i)ā*: греч. *ο-ποιω* «жениться», лат. *puella* «девушка, молодая женщина»;

tu-sur-θi (двойств. число) «супруги»: лат. *cōn-sors*, род. падеж *~rtis* «причастный; родственник; супруга», итал. *con-sorte* «спутник, -ца, супруг, -га»;

putzs, *puts* «мальчик, ругет»: лат. *putus* «мальчик», *pūsus* «мальчик»;

-θur «потомок»: арм. *t'oŋ* «внук»;

lautn-, *latvn-* «семья, род» из и.-е. **leudh(i)-no-*, *lautni* «вольнотрушеник» (ср. лат. *libertus*): ст.-слав. *людѣ* «люди», латыш. *laudis*, мн. число «люди, челядь, прислуга» из и.-е. **leudh-*; ст.-слав. *людиъ* «liber, свободный человек» из и.-е. **leudhi-no-s*.

Вообще все этрусские названия родственных отношений, значения которых известны, могут быть хорошо объяснены с точки зрения этимологических связей индоевропейских языков. Единственное исключение составляет *seχ* «дочь». В нашей работе «Языковая принадлежность этрусов» (стр. 28 и сл.) указано, что *seχ* правильно восходит к **seχr* (конечное *r* исчезает в этрусском, так же как в умбском) < **seθr* (переход *θr > χr*, как *tr > kr* в ликийском, пелигийском и частично в народном латинском; ср. *macri=matrī*) < **tuāth(e)r* (исчезновение интервокального спиранта; ср. лик. *kbatra* из **ibatra=ivatra* из и.-е. **dhughatā*; *tu > s*; умлаут) < **tu(γ)āthēr* (передвижение согласных; *gh > этр. γ*) < **dughatēr* (диссимилиация аспирированных) < и.-е. **dhughatēr*.

Наше объяснение некоторым кажется неправдоподобным, так как мы принимаем очень много фонетических изменений. Однако в этрусском языке действительно произошли значительные фонетические изменения, приблизительно как в ликийском, лидийском и армянском. С другой стороны, как раз это слово претерпело большие изменения и в других, довольно консервативных индоевропейских языках; ср. сербо-хорв. *ći*, ново-греч. диал. (цафонский) *sati*, оскск. *futir* «дочь», происходящие из и.-е. **dhughatēr*.

II. Различные слова: *tin* «день», *Tinia* «Juppiter» (буквально: «блеск, свет»; ср. греч. *Ζεός* из **dīēus* и лат. *dies* «день») из и.-е. **din-*: ст.-слав. *днь* «день» из и.-е. **din*;

usil «солнце» (*au > u*): сабинск. *ausel* «солнце» из и.-е. **ausōs* «заря» + **sāuel* «солнце»; ср. лат. *sōl* «солнце» из и.-е. **sāuel*;

tiv- «луна» (буквально: «светящий, светлый»; ср. греч. *σελήνη* «луна», производное от *σελάс* «блеск, свет», лат. *lūna* «луна» из и.-е. **louks-nā* «светящая, светлая», авест. *raōšna-* «блестящий», арм. *lusin* «луна» наряду с *lois* «свет», ср.-ирл. *luan*, *lon* «свет, луна», др.-инд. *rocās-*, авест. *raōcāh-* «свет, день» из и.-е. корня **leuk-*) из и.-е. **diu-*, этр. *tivr-* «месяц» из и.-е. **diues(o)-*: арм. *tiv* «день», др.-инд. *diva-sa-h* «день», *divya-*, *divia-* «небесный», греч. *Παν-δία* «Селена» из **παν-δία* «всеосвещающая»;

θesan «аурога, заря» из и.-е. **tēg-i-ān* (буквально: «горящий, светящий»): англосакс. *Þessan* «гореть», *Þwæle* «факел», греч. *τῆγ-αυογ* «печурка для жарения»; ср. *auroga* «заря» из и.-е. корня **au(e)s-* «светить», болг. *зора*, русск. *заря* из и.-е. корня **gʰer-* «блестеть, сиять». Относительно образования ср. (до)греч. *Τιτ-άγ*; *ais*, *eis* «бог» из **ais*, *aisuna-*, *aisna*, *eisna*, *aiser-*, *eiser-*, *eser-* «святой» из **aise-ro-*: марруцинск. *aisos* (дат. падеж мн. числа) «богам», умбр. *esono* «божественный, святой», греч. *ἱερός* «святой» из и.-е. **iseros*, др.-сакс., др.-в.-нем. *ēra* «почитание» из **ais-*;

³⁰ Ср. ту же диссимилиацию в сродном готском слове *niuklahs* «новорожденный» от **niu-knahs* = греч. *νεο-γνός* «новорожденный».

³¹ Слова *rafac*s не существует; следует читать *papacs* (ср. E. Vetter, «Glotta», XXVII, 1939, стр. 179 и сл.).

a(i)vil «год»: лат. *aevum* «вечность, время, век», гот. *aiws* «вечность»; ср. русск. *година* «время»=болг. *година* «год»=чеш. *hodina* «час». Относительно образования ср. латинские производные при помощи суффикса *-ile*: *sēd-ile*, *cub-ile*, *ov-ile* и т. п.; *θευγι-*«бык» из и.-е. **(s)leu-*: нем. *Stier* «бык» из и.-е. **stēuro-*, греч. *ταῦρος* «бык» из и.-е. **tūro-*;

suđi, *suti* «могила» из и.-е. **sup-ti-o-m* или **sup-ti-s* (*pt > θ*), производное от и.-е. **sup-* «спать»; ср. греч. *κοιμητήριον* «место для сна, спальня; могила, кладбище», производное от *κοιμάω* «укладывать в постель, усыплять»; *κοιδομαί* «ложиться спать, спать»;

hīndi- «тень» из и.-е. **skin-ti-* (*sk > этр. h-*): алб. *hije* «тень» из **skajā*, греч. *σκά* «тень», др.-инд. *chāyā* «блеск, свет, тень», гот. *skeinan* «светить, блестеть»;

verse «огонь»: ст.-слав. *варъ* «жара», *варити* «варить» из и.-е. **uor-*, ст.-слав. *варѣти* «кипеть» из и.-е. **uor-*, лит. *vėrdū* «кипеть», *versmė* «родник» из и.-е. **uer-*, арм. *vařem* «жечь, зажигать», *vařim* «гореть»;

āvdaç *βορέας*, *ὑπο Τυρρηγών* («Борей» у этрусков. Гесихий)=этр. **anθ-* из и.-е. **an-to-s*: др.-норд. *ōnd* «дыхание, дух, душа», *andi* «дух, дыхание, душа», греч. *ἀνεμος* «ветер», лат. *animus* «душа»;

cap-«сосуд, чаша»: хет. *kappis* «сосуд (употребляемый как мера)», лат. *capis* (род. падеж *capidis*) («жертвенная» чаша);

suplu-=лат.-этр. *sūbulo* (род. падеж. *sūbulōnis*) «флейтист»: лат. *sibilo*, диал. *sīfilo*, ром. *sūbilo* «свистеть» из и.-е. **suih1-*;

carus «сокол, ястреб»: др.-норд. *haukr*, англо-сакс. *heafoc*, нем. *Habicht* «ястреб» из и.-е. **kar-*;

laiv- «левый»: лат. *laevus*, ст.-слав. *лѣвъ* «левый»;

zamtic, *zamtic* «золотой» (*ks > z*): греч. *ξανθός* «желтый, желтоватый»; ср. авест. *zari-* «желтый, желтоватый, золотой», фриг. *γλουρός* «золото»=греч. *χλωρός* «зеленый, бледножелтый»;

sacni-«посвящать, посвященный»: лат. *sancio* «освящать; устанавливать, постановлять», *sacer* «святой, посвященный»;

ziv- «живой» (с и.-е. **g^u* > праэтр. *k* перед *e, i > z*) = др.-инд. *jīvaḥ*, лит. *gyvas*, ст.-слав. *живъ*, лат. *vīvus* «живой» из и.-е. **g^uiwo-s*;

zil (= лат. основа *sen-*), «γέρων, пожилой, старый, старейшина» [буквально: «живший (долгое время) > «пожилой, старый»]=ст.-слав. *жилаъ* «живший», русск. *пожилой* из и.-е. **g^ui-lo-s* — причастие прош. действ. из **g^uei-*, **g^ui* «жить»; этр. *zil-x*, *zil-c* «sen-ex, γέρων, старик, старец, старшина», *zil-aθ*, *zil-at* «sen-āt-or, γέρων, старость», *zil-c-t* «senecta, γερουσία, старость, старшинство», *zil-aχn(u)* «быть старшиной, старостой»;

Ῥασην- (= греч. *ῥασηών*) «царь» (*rē > rā*) = др.-инд. *rājan-* «царь» из и.-е. **rēgen-*; этр. *raśn(a)* «царство, государство» = лат. *rēgnum* «царство»;

cresverae «lucifer, lucifera» из *cres-* «утро, свет» = лат. *crās* «завтра» и *-ver(a)* = лат. *-fer(a)* «несущий, носящий»; ср. лат. *luci-fer(a)*, греч. *λευχο-φόρος*, *ἑωσ-φόρος*, *σελασ-φόρος*, арм. *lusa-ber* «светлоносный, зарница», *lusa-vor* «светлоносный» из и.-е. **bher-* и **bhor-*;

cver «дар» (буквально: «взнос») из и.-е. **ek-bhēro-m*: греч. *φέρω* «нести», *φέρνῃ* «приданое» (буквально: «взнос»), *ἐκ-φέρω* «выносить, приносить; платить подать», арм. *berem* «нести, приносить»;

cilθ «род, племя, родина» (по Торпу — «Heimat»; по Кортсену — «Land, Reich») = лит. *kiltis* «род», латыш. *zīlts* «род, племя»;

frontac (ср. лат. *fulguriator*) «жрец, гадающий по молниям» (*-ac* суффикс для образования имен действующего лица = слав. *-ак*): (до)греч. *βροντή* «гром, молния»;

netšvis (род. падеж ед. числа) «утроба, внутренности» из и.-е. **nēdui-(-tšv-* из более старинного *-tu-*): греч. гомер. *νῦθια* (мн. число) «утроба, внутренности», *νῦθός* «живот, утроба», ст.-слав. *нѣдро* «утроба» из и.-е. **nēd-*;

canθ-, *canθ-* «princeps, первый, глава, предводитель»: хет. *hantezzi-s* «первый», *hant-* «перёд», лик. *χнта-*, *χnte-*, лат. *ante* «перед» из и.-е. **hant-*;

purθne (ср. греч. *πρώτος*) «первый, глава, правитель, начальник»: греч. (до-греч.?) *πρώτανις*, *πρώτανις* «глава, правитель, господин» из и.-е. **pru-to-* или **pr^u-to-* «первый, передний»; этр. *epθnev* = греч. *πρωτανεύω* «быть первым, первенствовать»;

purtšvana «глава, правитель, начальник» (*t(h)u- > tšv-*) = греч. **πρωτο-Γάναξ*;

magi, *marun-* «этруский магнат» (лат. *magnatus*), «начальник, правитель, глава, вельможа» (ср. лат. *magister*), этр.-лат. *Maro* (род. падеж *Marōnis*) из и.-е. **mar(o)-*: др.-ирл. *mar*, галл. *māros* «большой, великий», рум. (фраг.?) *mare* «большой, великий»;

lanχ(u)m- [ср. лат. заимствование *luc(u)mo*, род. падеж. *luc(u)mōnis*] «этруский магнат, царь, ситательный, знатный» (лат. *rex*, *princeps*) из и.-е. **leuk-* (*e*) *ptōn-* (относительно образования ср. греч. *ἡγεμών*, *χρῆμεών* и т. п.): лат. *lux* «свет,

блеск, слава», *lūseo* «светить, блестеть, сиять», *lūculentus* «светлый, красивый, большой, великий, значительный, богатый», *illustris* «славный, знаменитый, благородный», др.-инд. *ruk-mant-* «блестящий», др.-исл. *ljómi* «блеск», гот. *lauhmuni* «молния, пламя»;

др.-ион.-арх. «власть, авторитет» (Гесикий): греч. *θρόνος* «трон; царское достоинство»;

tur-ce (3-е лицо ед. числа прош. времени) «donavit, подарил» из и.-е. **dōr-*: арм. *tur-ke*, греч. *δῶρον*, ст.-слав. *даръ* из и.-е. **dōro-m*;

ar «делай», *arθ* «пусть он делает», *ar-ce* (3-е лицо ед. числа прош. времени) «сделал»: арм. *ar-nem* «делать»;

ziχ- «писать», *ziχu*, *zicu* = Scribonius — личное имя, производное от *scribo* «писать», ср. лат. *signum* «знак»;

lupi «покоиться, quiesco»; ср. греч. (догреч.) *λωφῶ* «отдыхать, покоиться» из и.-е. *(s)*lōpā-iō* (ср. нем. *schlafen* «спать» из и.-е. **slēb-*, ст.-слав. *слабъ* «слабый» из и.-е. **slōbo-s*);

hesce «лежит» из и.-е. **iēk-* (и.-е. **i-* > этр. *h-*): лат. *iaceo* «лежать» из и.-е. **iak-*; ср. также лат. *iaciō* «бросать», перф. *iēcī* из и.-е. **iēk-*;

cesu «покоиться», *cesed* «покоится»: лат. *quiesco* «отдыхать, спать, покоиться»; *sta* (3-е лицо ед. числа наст. или прош. времени) «ставит, посвящает» или «поставил, посвятил» = фалиск. *sta*; ср. др.-лат. *statod* (повелит. форма 3-го лица ед. числа) «пусть поставит», ликийск. *statti* «ставит»;

raχ «делай», *raχθ* «пусть сделает» из и.-е. **dhak-* (и.-е. *dh* > этр. *r*): лат. *faciō* из и.-е. **dhak-iō*;

harc (повелит. форма 2-го лица ед. числа) «поражай, бей»: арм. *harkanem* «поражаю, бью», хет. *hark-* «я разрушен», *hargas* «разрушение»;

θui «тут»: греч. диал. (лесб.) *τυῖ* «тут»;

-*χe*, -*ce*, -*χ*, -*c*, -*k* «que»: лат. *que* «и» из и.-е. **k^ue*;

-*m* «que»: хет.-*ma* «дэ, тэ».

III. Местоимения: *mi* «я, меня», *mini*, *mine* «меня, (я)»: лидийск. *ami* «я, мне», хет. *ammik* «я, меня, мне», греч. *με*, диал. (кипр.) *μι* «меня», ст.-слав. *мѧ*, *мене* «меня» из и.-е. **mene*, *мынк* «мне» из и.-е. **minei*;

an «этот, это» из и.-е. **ono-*: ст.-слав. *онъ* «он»;

eθ «этот, это» из и.-е. **e-to-*: русск. *этот, это*;

esa, *sa*, *sei* из **kā-i*; ср. лат. *quae* (жен. род.) из **k^uā-i* «этот»: оскск. *eko-* «это(т)», хет. *kās* «этот»: греч. *ἐκεῖ*, ион. *κεῖ* «там», греч. *ἐκεῖνος*, ион. *κεῖνος* «тот» из и.-е. **e-ko-* и **ko-*; род. падеж *ecs*, *ceś*, *cś* из и.-е. *(*e*)*ke-so*; ср. греч. гомер. *τέο*, ст.-слав. *весо*, др.-в.-нем. *hwes* из и.-е. **k^ue-so*; вин. падеж *esn*, *cep*, *cn*, ср. хет. *kūn* (вин. падеж ед. числа от *kās*); местн. падеж ед. числа *eclθi*, *clθ(i)*, *calti* (*l = u*)³²; ср. хет. *kēti* (дат.-местн. падеж ед. числа от *kās*); вин. падеж мн. числа *ceus*, *ceus* (и *cus*?) = хет. *kēus*, *kūs* (вин. падеж мн. числа от *kās*).

IV. Числительные. Известны этрусские числительные от 1 до 6, без точного указания, которое из них 1, которое 2 и т. д. Как было указано в нашей работе «Языковая принадлежность этрусков» (стр. 31 и сл.), на основании комбинаторных соображений можно считать самым вероятным следующий порядок: *maχ*, *ša*, *hiθ*, *θu*, *ci*, *zal*. В таком случае их этимология определяется следующим образом:

maχ «один» из и.-е. **smo-ko*³³; арм. *mi* «один» из и.-е. **smiyo-*, греч. *μία* «одна», хет. *asma-* «один»³⁴, ликийск. *mi* «один»³⁵;

ša «два» из **ṣa* < и.-е. **duo* «два» (*ṣa* > этр. *ś*): гот. *twa* «два», иерогл. «хет.» *t(u)wai* «два»;

hiθ «три» из и.-е. **u-θr*³⁶ с протетическим гласным *u* (по аналогии с *θu* «четыре») из и.-е. **tr-*; ср. арм. *erek* «три» с протетическим гласным *e* из и.-е. **tr-*;

θu «четыре» из **θur*: др.-инд. *turyah* «четвертый» из и.-е. **k(tur)-*, хет. *du(r)ja-* «четвертый»³⁷.

ci «пять» из **cir*: лат. *quinque* др.-нрл. *coic* «пять»;

³² Однако можно предположить, что *l-* — по аналогии с формами, содержащими *mi-l-*; ср. хет. *kēl*, род. падеж от *kās*.

³³ Тот же суффикс *-ko-* появляется и в др.-инд. *e-ka* «один» из и.-е. **oi-ko-*.

³⁴ Ср. А. Goetze, «Archiv orientální», XVII, 1949, стр. 297.

³⁵ См. Р. Meriggi, «Hirt-Festschrift», II, стр. 266.

³⁶ Выпадение конечного *r* характерно и для умбрского языка; *h* перед *u*, как в греческом, в котором перед каждым начальным *u* появляется *h*.

³⁷ Ср. F. Sommer, «Indogermanische Forschungen», LVI, 1949, стр. 205 и сл.; М. Mayrhofer, Studien zur indogermanischen Grundsprache, Graz, 1952, стр. 42.

zal «шесть» из и.-е. **kseu(s)* (*ks* > *z* и *eu* > *au*; *au*, *au* в этруском часто передаются при помощи *al*, так как велярное *l* перешло в *ɥ*): греч. ξέσ-«шесть» из и.-е. **kse(u)s* наряду с ξέξ, диал. Γέξ, арм. *ves* «шесть» из и.-е. **ɥeks*.

Кроме того, известно, что *semφ-*, *ɥun-* и *nupφ-* или *tiuv-* обозначают «семь», «восемь» или «девять», хотя в точности неизвестно, которое из них обозначает «семь», «восемь» или «девять». На основании этимологических соображений можно определить с большой вероятностью следующее:

semφ- «семь» происходит из **se(m)phun*³⁸ < и.-е. **septm*; ср. гот. *sibun* «семь» из и.-е. **septm*;

ɥun- «восемь» = лит. *aštuoni* «восемь» из **oktō-ni*³⁹;

nupφ- «девять» в *nupφ-zi*⁴⁰ «девять раз» с ассимиляцией *vz* > *φz* и *tiuv-* «девять» в *tiuv-alɥls* «девяносто» с ассимиляцией *n-v* > *m-v*: ликийск. *ni* (*n̄*)-«девять», иерогл. «хет.» *niwai* «девять», тох. *ni* «девять», лат. *novem* «девять» из и.-е. **neɥ-*.

V. Морфемы: *-a* — окончание жен. рода ед. числа;

-s, *-si* — окончание род.-дат. падежа ед. числа из и.-е. окончания род. падежа ед. числа *-s*, *sio*;

-ɥi, *-ɥ(-ti, -t)* — окончание местн. падежа ед. числа: греч. гомер. окончание местн. падежа ед. числа *-ɥi*;

-a — окончание им.-вин. падежа мн. числа ср. рода;

-u — окончание род. падежа мн. числа из и.-е. **-ōm*;

-asi, *-as* — окончание дат.-местн. падежа мн. числа из и.-е. **-si* = греч. *ασι*, *χσι* — окончание дат.-местн. падежа ед. числа, арм. *-s* — окончание местн. падежа мн. числа;

-eri — окончание из и.-е. **-oisi*;

-u — окончание 1-го лица ед. числа наст. времени из и.-е. **-ō*;

-ɥu(n), *-ɥun* — окончание 1-го лица ед. числа прош. времени = хет. *-hhun*;

-ɥe, *-ce* — окончание 3-го лица ед. числа прош. времени = греч. *-ξε* в *ἔθῃ-ξε* и т. п.;

-ɥ — окончание императива: лат. *-tō-*, хет. *-tu*;

-ɥus, *-ɥuɥ*, *-ɥuz* (наряду с *-ɥls*: *l* — обратное написание, потому что в этруском *l* после гласной перешло в *ɥ*, как и в умбром) — окончание десятичных чисел из и.-е. **ḱmti*: греч. (εἰ-)κοσι, беот. (Fi-)χατὶ «двадцать»;

-nt-, *-nθ-* — окончание из и.-е. **-nt-*;

-u(n) = греч. *-ων*, лат. *-ōn* — суффикс для образования *nomina agentis*;

-aɥ, *-ac* — суффикс для образования этнических имен и *nomina agentis*, например: *rum-aɥ* «*Rōm-ānus*», *velzn-aɥ* «*Volsiniensis*» = слав. *-ak*; ср. чеш. *videň-ak* «венец» от *videň* «Вена»;

-na — суффикс для образования прилагательных, производных от существительных из и.-е. **-no-*;

-i — суффикс для образования прилагательных, производных от существительных = арм. *-i* из и.-е. **-iō-*;

-il — суффикс для образования производных существительных = лат. *-ile*;

-(i)-a = греч. *-ισκη* — уменьшительный суффикс;

-zi, *-z* (из и.-е. **-ski*) — суффикс для образования числительных наречий, например: *ci-z* (*i*) «пять раз» от *ci* «пять»: арм. *-ɥs*, ср. *erki-ɥs* «два раза» от *erku* «два».

Поскольку этруский язык известен нам очень фрагментарно, очевидно, что приведенных данных о языковой принадлежности этрусков не мало. Существуют к тому же и другие соответствия, хотя они здесь и не приводятся, потому что значения соответственных слов и морфем нельзя еще считать вполне точно установленными. Вообще большая часть слов и морфем, интерпретированных с полной достоверностью на основании комбинаторного метода, оказываются явно индоевропейскими. Это — существенный аргумент при установлении этнической принадлежности этрусков.

Фонетическая структура этруского языка очень похожа на структуру армянского; кроме того, некоторые этруские слова имеют точнейшие соответствия в армянском языке. И это не случайно. Прародиной этрусков была северо-западная Малая Азия (область Трои), а как раз в этой

³⁸ С антиципацией назального согласного; ср. лат. *septima-septima*; ср. и этр. *tinɥun* = греч. Τιθωνός.

³⁹ Начальное *ɥ* исчезло также в алб. *te-lë* «восемь» от **oktō-t-* и ново-греч. диал. *xli* «восемь» из *oktō*.

⁴⁰ *pf* вместо *φ* (или *p*, *f*) — плеонастическое написание.

области и жили фригийцы, от которых, согласно античной традиции, произошли армяне. Даже если мы не будем считать это утверждение античных писателей совсем точным, все-таки предки армян, должно быть, жили где-то по соседству с троянцами.

Итак, по своим характерным чертам этрусский язык является языком индоевропейским. Однако в нем имеются и неиндоевропейские элементы, может быть, хаттско-кавказского или хурритско-кавказского происхождения, так как этруски были переселенцами из Малой Азии, где они соприкасались с неиндоевропейскими племенами. Одним из хаттско-кавказских элементов в этруском является, по всей вероятности, притяжательный суффикс *-(a)l-*, встречающийся еще и в хеттском и лидийском языках⁴¹.

При определении происхождения некоторых этрусских слов или морфем встречаются большие трудности. Вот один пример. В этруском существует окончание для множественного числа *-ar*, *-er*, *-ur*, похожее на армянское окончание *-ear*, *-er*. Сначала армянское окончание представляло собой суффикс для образования коллективных имен (ср. др.-арм. *ōrear* «господя, знать»). Подобное окончание встречается также и в некоторых кавказских языках, например в сванском — *-ar*, *-ār*. Необходимо, чтобы кавказоведы и арменисты в точности установили происхождение этого окончания: представляет ли оно собою заимствование в армянском из кавказских языков, или наоборот?⁴² В первом случае можно предположить, что армяне и трояно-этруски заимствовали его еще в очень раннее время. Вероятнее всего, однако, что дело касается случайной омонимии, так как подобные окончания встречаются также и в других языках; ср. умбр. *-ar*, *-ur* из и.-е. *-ōs*, *-ās*, нем. *-er*, рум. *-urî* и т. д.⁴³ С другой стороны, не исключено, что переселившиеся в Италию этруски ассимилировали какое-нибудь доиндоевропейское население, говорившее на языке, родственном палеосардскому и древним пиренейским языкам. Следовательно, можно допустить наличие некоторого пиренейско-иберийского субстрата в этруском языке.

Задачей кавказоведов является проверка наличия кавказских элементов в этруском языке. Однако те, которые желали бы открыть такие элементы, должны быть основательно знакомы с этрусскими письменными памятниками, а не искать сравнений на базе одних внешних созвучий, как это делал Н. Я. Марр, который к тому же не был знаком с методами интерпретации этрусских надписей⁴⁴. Сравнения на основе омонимий не могут определить значений этрусских слов. Значения слов должны быть установлены прежде всего комбинаторным путем, и только после этого следует искать родственные связи. Нужно иметь в виду, что самой харак-

⁴¹ Хаттско-кавказское происхождение этого суффикса нельзя считать вполне точно установленным. Педерсен (H. Pedersen, *Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen*..., København, 1938, стр. 55) и А. В. Десницкая («Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 56) поддерживают мнение о том, что этот суффикс индоевропейского происхождения. В нашей работе «Догреческое языкознание» («Vorgriechische Sprachwissenschaft», София, 1941, стр. 138 и сл.) была сделана попытка объяснить его как индоевропейский суффикс, но ныне мы склонны считать его хаттско-кавказским. Таково также мнение Г. А. Капанцян (см. его работу «Суффиксы и суффиксированные слова в топонимике древней Малой Азии», Ереван, 1948, стр. 36 и сл.). Кавказоведам предстоит основательно изучить этот вопрос, с тем чтобы достигнуть его окончательного решения. Заимствование суффиксов — явление нередкое: так, например, латинский суффикс *-ārius* был заимствован еще в древности греческим, кельтскими, германскими и славянскими языками.

⁴² Такое окончание может быть заимствовано одним языком из другого; ср., например, албанское окончание для множественного числа *-llarë*, *-lerë*, заимствованное из турецкого.

⁴³ Этрусское окончание можно объяснить как индоевропейское (см. V. Georgiev, *Das Schicksal der idg. o-Deklination im Etruskischen*, стр. 30).

⁴⁴ См. об этом В. Георгиев, «Вестник древней истории», 1952, № 4, стр. 133.

терной чертой хаттского языка (и некоторых кавказских языков) является префиксация как средство словоизменения. Этот способ образования грамматических форм чужд этрусскому языку.

Те исследователи, которые довольно легкомысленно допускают родство этрусского языка с баскским или шумерским, должны были бы обратить большее внимание на числительные:

этрусские: «один» — *maχ, ša, huθ, ʃu, ci, zal*; «семь», «восемь» или «девять» — *semφ, ʃun-, nupφ-* (или *mun-*);

баскские: «один» — *bat*, «два» — *bi (biga, bida)*, «три» — *hirur*, «четыре» — *laur*, «пять» — *bost* или *bortz*, «шесть» — *sei(r)*, «семь» — *azapi*, «восемь» — *zortzi*, «девять» — *bederatzi*;

шумерские: «один» — *aš, geš*, «два» — *min*, «три» — *eš*, «четыре» — *limmu*, «пять» — *i, ia*, «шесть» — *aš*, «семь» — *imin*, «восемь» — *ussu*, «девять» — *ilimmi*.

IV. ДОГРЕЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

Греки — не автохтонные жители Эгейской области. Об этом мы находим сведения у древних писателей: Геродот (II, 56) и Фукидид (I, 3,1), например, отмечают, что пелазги — более древнее население этой области, чем греки. К этим свидетельствам во второй половине XIX в. присоединились новые факты. Оказалось, что часть топонимики Эгейской области не может быть истолкована при помощи фактов греческого языка.

Особенно характерны географические названия с суффиксами *-υδ- -υδ-* и *-σ(σ)-*, *-ττ-*, как *Ἐρύανθος* — гора в Аркадии, *Πάρνασ(σ)ός* — гора в Фокиде, *Πύρανθος* — город на острове Крит, *Ῥηττός* — гора в Аттике и т. д. По своему образованию эти географические названия имеют соответствия в Малой Азии, например: *Καρύανδα* — остров (и город) в Карики, *Ἀλικαρνασ(σ)ός, -ησ(σ)ός, Μύλασος* — города в Карики и т. д.

Так как эти суффиксы, а также и основы этих имен не могли быть объяснены при помощи греческого или других индоевропейских языков, они были объявлены неиндоевропейскими. Поэтому в конце XIX и в начале XX в. считалось доказанным, что греки — первые индоевропейцы в Греции и что в Малой Азии не могло быть индоевропейских племен до конца второго тысячелетия до н. э.

К этим географическим названиям был присоединен еще ряд древнегреческих слов, этимология которых была неясна или противоречила закономерностям исторической фонетики греческого языка. Это прежде всего слова, содержащие те же элементы: *ἀσπίς* «вапна», *πλίνθος* «кирпич», *νάρκισσος* «нарцисс»; далее такие слова, как *ἄναξ* «владыка, повелитель, царь, вождь», *βασιλεύς* «царь», *τύραννος* «царь, правитель, тиран», *πύργος* «башня, крепость», *τῦρος* «башня»; наконец, разные другие, этимологически не объясненные слова, как *ῥόδον* «роза», *σῖτος* «пшеница, хлеб», *σῦκον* «смоковница», *κάλωξ* «веревка, канат» и т. д.

Таким образом, постепенно утвердилась теория о неиндоевропейском характере догреческого населения, подробно разработанная и окончательно сформулированная тремя видными лингвистами — К. Паули, П. Кречмером и А. Фикком. Она была воспринята всеми единодушно и господствовала в течение всей первой четверти нашего века. Согласно этой теории, Малая Азия была территорией с населением, говорящим исключительно на неиндоевропейских языках, куда индоевропейцы могли проникнуть лишь в конце II или в начале I тысячелетия до н. э. С другой стороны, принималось как установленный факт, что догреческий язык, будучи также неиндоевропейским, был родствен малоназийским языкам.

Между тем были открыты новые факты, совершившие переворот в наших представлениях о генезисе племен и народов эгейско-малоназийской области. Важнейшим фактом было установление индоевропейского характера хеттского языка чешским ученым Б. Грозным. Позднее в Малой Азии был открыт ряд других индоевропейских языков. Это — обстоятельство первостепенной важности: в настоящее время индоевропейский характер догреческого языка (или догреческих языков), ликийского, этрусского

и т. д. является уже а priori более вероятным, чем противоположная точка зрения.

В период между 1936 и 1941 годами нам удалось по-новому подойти к исследованию догреческих элементов в греческом языке ⁴⁵. При анализе слов и морфем, считавшихся догреческо-неиндоевропейскими, бросается в глаза то, что некоторые из них могли бы быть индоевропейского происхождения и имеют этимологические связи с другими индоевропейскими языками, но они появляются в греческом языке в форме, не соответствующей закономерностям исторической фонетики греческого языка. Так, например, слово $\pi\acute{\upsilon}\rho\gamma\omicron\varsigma$ «башня, крепость», засвидетельствованное еще у Гомера, точно соответствует немецкому слову *Burg* «башня, крепость». Индоевропейское происхождение немецкого слова несомненно: оно происходит из и.-е. $*bhrgh-$. Однако звуковые законы греческого языка не дают возможности вывести $\pi\acute{\upsilon}\rho\gamma\omicron\varsigma$ из и.-е. $*bhrgh-$: если бы слово было греческим, унаследованным из индоевропейского языка-основы, оно должно было звучать $*\pi\acute{\alpha}\rho\chi\omicron\varsigma$. Слово же $\pi\acute{\upsilon}\rho\gamma\omicron\varsigma$ можно объяснить этимологически, принимая, что оно заимствовано из какого-то индоевропейского языка, в котором и.-е. r перешло в ur , bh — gh диссимилировались в b — gh и произошло передвижение согласных ($b > p$, $gh > g$).

Итак, при исследовании так называемых доиндоевропейских и других этимологически неясных слов греческого языка мы установили, что в греческом языке скрывается другой индоевропейский язык, до сих пор неизвестный. Мы не знаем названия этого языка и поэтому называем его условно «догреческим» индоевропейским, или пелазгским. Самые характерные черты исторической фонетики этого языка следующие:

- 1) и.-е. $\check{o}$ перешло в a ;
- 2) и.-е. r , l , n , m (br , yl , yn , ym) дали ur (или ru), ul (lu), un , um (on , om);
- 3) произошло передвижение согласных: и.-е. p , t , $k > ph$, th , kh ; и.-е. b , d , $g > p$, t , k ; и.-е. bh , dh , $gh > b$, d , g ;
- 4) индоевропейские лабиовелярные согласные делабиализировались: и.-е. k^u , g^u , $gh^u > kh$, k , g ;
- 5) так называемые палатальные согласные k' , g' , $g'h$ перешли в s (или β) и z (или d);
- 6) индоевропейское антевокальное и интервокальное s сохранилось; оно не исчезло, как в греческом языке;
- 7) произошла диссимиляция аспирированных: bh — $gh > b$ — gh , th — $kh > t$ — kh и пр.

Возможно ли существование такого индоевропейского языка? Изменение средне-небных k' , g' , $g'h$ и переход $\check{u} > a$ совпадают с албанским языком; изменение лабиовелярных и «передвижение» согласных совпадают с армянским. Следовательно, этот особый «догреческий» индоевропейский язык (пелазгский) занимает среднее место между албанским и армянским языками как в географическом отношении, так и по особенностям своего фонетического развития.

Допущение существования такого особого индоевропейского языка в Греции до греков сделало возможным этимологическое объяснение множества слов и морфем греческого языка, которые определено считались неиндоевропейскими, или же не имели надежной этимологии, или, наконец, были неясными с историко-фонетической точки зрения. Таковы, например:

$\beta\rho\epsilon\tau\alpha\varsigma$ (ср. род) «деревянная статуя»: нем. *Brett* «доска» из и.-е. $*bhredhos$ (ср. род.);

греч. гомер. $\gamma\alpha\iota\alpha$, аттич. $\gamma\eta$, ион. $\gamma\acute{\epsilon}\eta$, дор. $\gamma\tilde{\alpha}$ «земля, область, страна» из и.-е. $*ghauiā$ или $*ghāuiā$ ($-iā$): гот. *gawi* «страна, область», нем. *Gau* из и.-е. $*ghauiō-m$, арм. *gavar* «область», греч. $\chi\acute{\alpha}\omicron\varsigma$ «пустое пространство» из и.-е. $*ghau-es$;

⁴⁵ В нашей первой работе по этому вопросу «Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur» были допущены некоторые ошибки, отчасти устраненные при дальнейших исследованиях (см. V. G e o r g i e v, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 3 и сл.).

δεῦω «оросать, смачивать, проливать»: греч. χέ(F)ω «лить, проливать» из и.-е. *g^hheuō;
 θεράπνη «жилище» из и.-е. *terəb^hnā: греч. τέραμνον «дом, жилище» из и.-е. *terəb^hno-m⁴⁶;
 ἵδη «лес, дерево»: др.-ирл. *fid* «лес, дерево», др.-в.-нем. *witu* «дерево» из и.-е. *u^hidh-;
 ῥόδον «роза» из и.-е. *u^hrdho-m: ново-перс. *gul*, арм. (из перс.) *vard* «роза», англо-сакс. *word* «терновый куст» из и.-е. *u^hrdh-;
 σέλας (ср. род) «свет, блеск» из и.-е. *s^helōs: др.-инд. *svariti* «блестеть, гореть», англо-сакс. *swelan* «пылающий предмет». Если бы слово было греческим, оно должно было бы звучать *έλος, ср. έλῃ, εἴλῃ «солнечный блеск, солнечный жар»;
 σιγή «молчание» из и.-е. *suigh-: нем. *schweigen* «молчать»;
 σῖτος «пшеница, хлеб»: гот. *hwaiteis* «пшеница» из и.-е. *k^hueid-, *k^huoid-, *k^huīd-;
 σῦς «свинья»: греч. σύς «свинья» из и.-е. *sū-s;
 ταχύς «быстрый» из и.-е. *toku-s: др.-инд. *taku-h* «быстрый»;
 τύμβος «могила»: греч. τάφος «могила» из и.-е. *dh^hmbho-s.

В том же плане были объяснены и так называемые «доиндоевропейские» суффиксы в древнегреческом языке, как и значительная часть географических названий, которые считались «доиндоевропейскими», например:

Ερύμανθος — гора в Аркадии из и.-е. *u^heru-monto-s «широкая гора»; др.-инд. *uru-* «широкий» (сравнительная степень *varīyah*), греч. εὐρύς- «широкий» (и.-е. корень *eu^her-) и лат. *mōns* (род. падеж *montis*) «гора»;

Πύραυθος — город на острове Крит из *pūro-*uont-*, производного от πῦρος «пшеница, хлеб». Греческое соответствие было бы *Πυρούς-οὔντος;

Γαῤῥυττός — гора в Аттике, производное от γάρφα «черный тополь» при помощи суффикса- *u^hentiə-s.

Наша концепция, встреченная вначале с некоторым скептицизмом⁴⁷, постепенно начала утверждаться⁴⁸, и даже некоторые языковеды, относившиеся к ней раньше отрицательно, позднее изменили свое мнение и восприняли ее основные положения⁴⁹. В последнее время некоторые языковеды, как, например, А. И. Ван-Виндекенс, О. Хаас, В. Мерлинген, приняли на себя ее дальнейшую разработку⁵⁰. Сам П. Кречмер вначале занял отрицательную позицию⁵¹, что отнюдь не удивительно, так как утверждение нового взгляда означало бы конец его устаревшей теории. Однако позднее, в нескольких обширных статьях, Кречмер пошел на значительные уступки, хотя и пытался спасти кое-что из своих старых концепций⁵². В последней из этих статей он предложил следующую гипотезу: так называемый «протоиндоевропейский» будто бы распался на две ветви: на «индо-

⁴⁶ В таком случае основное значение слова θεράπνη в классическом языке «служанка» следует считать «народной этимологией» по аналогии с θεράπαινα (из и.-е. корня *dher-, основа *dherā-p-). — *Ред.*

⁴⁷ А. И. Ван-Виндекенс (A. J. Van Windekens, Le pélasgique, Louvain, 1952, стр. 7) объясняет это «новизною такого рода исследований».

⁴⁸ См.: М. Будимир, «Revue internationale des études Balkaniques», III, 1937, стр. 283 и сл.; W. Brandenstein, «Belleten», I, 1937, стр. 722 и сл.; его же, «Indogermanische Forschungen», LVI, 1938, стр. 292 и сл.; A. v. Blumenthal, «Zeitschrift für Ortsnamenforschung», XIII, 1938, стр. 240 и сл.; А. Товар, «Emerita», X, 1942, стр. 366 и сл.; B. Rosenkranz, «Indogermanische Forschungen», LIX, 1950, стр. 336 и сл.; V. Machek, «Listy filologické», LXX, 1950, стр. 243 и сл.; Н. Kronasser, «Bibliotheca orientalis», IX, 1952, стр. 27 и сл.; M. Mayrhofer, там же, стр. 2; V. Čihař, «Archiv orientální», XX, 1952, стр. 586 и сл.; А. В. Десницкая, «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 41 и сл.; A. Carnoy, «Orbis», I, 1952, стр. 423 и сл.

⁴⁹ См.: G. Devoto, «Studi Etruschi», XVII, 1943, стр. 359 и сл.; Н. Krahe, «Antike-Alte Sprachen», 1943, стр. 10 и сл.

⁵⁰ См.: книгу А. И. Ван-Виндекенс (A. J. Van Windekens, Le pélasgique), а также ряд его статей, начиная с 1950 года; О. Хаас, «Lingua Posnaniensis», III, 1951, стр. 63 и сл.; W. Merlingen, Kretische Sprachreste im Griechischen, 1953.

⁵¹ См. Р. Кречмер, «Glotta», XXVII, 1938, стр. 2 и сл.

⁵² См. Р. Кречмер, «Glotta», XXVII, 1938/9, стр. 256 и сл.; XXVIII, 1939, стр. 101 и сл.; XXVIII, 1940, стр. 231 и сл.; XXX, 1943, стр. 213 и сл.

европейский» и на «ретотирренский» (или «ретопелазгский»); из последнего в дальнейшем произошли языки пелазгов, тирренцев, этрусков и ретов. Прародиной «индоевропейцев» была якобы Северная Германия и близкие к ней области, а прародиной «ретотирренцев» — нынешние Чехословакия и Венгрия. При этом Кречмер заявил, что между его мнением и нашей теорией будто бы существует только «различие в степени родства, базирующееся на различии по времени»⁵³. Новая гипотеза Кречмера совершенно невероятна. Она представляет собой отчаянную попытку, пойдя на известные уступки в пользу новых положений, сохранить во что бы то ни стало кое-что из старых концепций. В ней явно сквозит желание сохранить идею северногерманской прародины «индоевропейцев».

Пелазгский язык

Следуя за Н. Я. Марром, авторы «Истории Грузии» (т. I, стр. 16 и сл.) считают пелазгский язык родственным кавказским языкам. Однако мы ничего не знаем о языке пелазгов. Известно лишь то, что пелазги принадлежат к догреческому населению. Следовательно, тот, кто утверждает, что пелазгский язык имеет родственные связи с кавказскими языками, не руководствуется фактами, а высказывает мнение *a priori*.

В нескольких статьях мы показали, что более старинная форма имени Πελασγοί была *Πελαστοί и что это имя идентично с др.-еврейск. *Pelišt-īm* (мн. число), егип. *Pršt*, т. е. с именем филистимлян из Библии⁵⁴. Согласно библейской традиции, филистимляне были переселенцами с острова Крит. Французский археолог Ж. Берар подкрепил наши выводы археологическими данными⁵⁵. На этом основании могут быть определены как пелазгско-филистимские несколько слов, выдаваемые в древнееврейских текстах за филистимские. Среди них самым интересным является *sārān-*, титул филистимских царей в Библии. Его можно сопоставить с *τῶρανός* «начальник, царь, тиран», которое считается «догреческим» словом. Оба слова родственны греческому *ἡγῶνός* «глава, начальник». Следовательно, все три термина происходят из и.-е. **k'wras-no-s*: звук *k*, изменившийся в греческом языке в *h*, перешел в пелазгском в *s* или *ḥ* (*τ* в *τῶρανός* представляет собою греческую субституцию *ḥ*), а *r*, перешедшее в греческом в *ar*, в пелазгском дало *ur* (см. выше). Из этого можно заключить, что пелазгский был так называемым языком *satəm*, так же как иероглифический «хеттский» и ликийский.

Этеокритский язык

Этеокритским условно называется язык пяти довольно сильно поврежденных надписей, найденных в Пресосе на острове Крит⁵⁶. К ним позднее была присоединена одна надпись из Дрероса, датированная IV в. до н. э. Эти надписи считают «этеокритскими» лишь потому, что их интерпретация в качестве греческих сопряжена с известными трудно-

⁵³ См. P. Kretschmer, «Glotta», XXX, 1943, стр. 214.

⁵⁴ См. V. Georgiev, Le déchiffrement des inscriptions minoennes, Sofia, 1949, стр. 43 и сл.; его же, «Jahrbuch für kleinasiatische Forschung», I, 1950/51, стр. 136 и сл.

⁵⁵ См. J. Bérard, «Revue archéologique», XXXVII, 1951, стр. 129 и сл.

⁵⁶ См.: J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, Heidelberg, стр. 145 и сл.; P. Kretschmer, «Glotta», XXXI, 1948/51, стр. 1 и сл.

стями. По нашему мнению, язык этих надписей — критский диалект греческого языка⁵⁷.

В сущности имя «этеокритский» подходило бы больше всего к критским или минойским надписям, принадлежащим к III и II тысячелетиям до н. э. Еще недавно язык этих надписей считался а priori неиндоевропейским, несмотря на то, что никому не удалось их прочесть. Это — характерный пример того, какие выводы делались на основании авторитетной, но в сущности ошибочной теории генезиса древних эгейско-малозападных племен.

Расшифровка крито-микенских надписей линейного письма Б, числом около 3500, началась с 1949 г.⁵⁸ Их язык оказался греческим. Однако он не представляет собою какой-либо более ранней ступени известных древнегреческих диалектов, а является особым греческим диалектом⁵⁹.

Лемносский язык

Язык надписи на плите с острова Лемнос считается близко родственным этрусскому. Повидимому, мы имеем дело с двумя довольно различными диалектами одного и того же языка⁶⁰. Наша попытка интерпретировать эту надпись, так же как и попытка П. Кречмера⁶¹, не может считаться убедительной. Несколько кратких фрагментов, найденных около двадцати лет назад⁶², нисколько не помогают истолкованию надписи.

*

Возникает следующий принципиальный вопрос: если какая-нибудь надпись, как, например, лемноская, не нашла до сих пор удачной интерпретации при помощи сопоставления с индоевропейскими языками, в праве ли мы считать ее язык неиндоевропейским, хотя никакой другой язык не помог ее интерпретации? В прошлом обычно считали, что если данный текст не удается интерпретировать, базирываясь на хорошо известных древних языках, например, на греческом и латинском, его язык следует причислить к неиндоевропейским. На основании таких соображений и был определен как неиндоевропейский язык так называемых этеокритских надписей из Пресоса и Дрероса, «этеокипрских» надписей, лемносской надписи, этрусских надписей и т. д. Подобный взгляд был господствующим также и при этимологических исследованиях: если данное слово какого-нибудь индоевропейского языка не могло быть удовлетворительно интерпретировано при помощи сопоставления с индоевропейскими языками, то некоторые исследователи торопились объявить его неиндоевропейским.

Такой путь исследования неправилен. Каждый отдельный индоевропейский язык обладает своей собственной спецификой. Когда мы имеем дело с изолированными текстами (с одной или несколькими краткими над-

⁵⁷ См. V. Georgiev, «Revue de Philologie», XXI, 1947, стр. 132 и сл.; его же, «Archiv orientální», XVII, I, 1949, стр. 277 и сл. Опыт П. Кречмера (P. Kretschmer, Anzeiger, Phil.-hist. Klasse, Akademie d. Wiss., Wien, 1946, № 7, стр. 81) интерпретировать эти надписи неубедителен.

⁵⁸ См. V. Georgiev, Le déchiffrement des inscriptions minoennes, Sofia, 1949.

⁵⁹ В. Георгиев и Вентрис—Чадвик (см.: В. Георгиев, Нынешнее состояние интерпретации крито-микенских надписей, София, 1954; Ventris — Chadwick, «Journal of Hellenic Studies», 1953, стр. 84 и сл.) считают язык этих надписей старинным греческим (ахейским) диалектом.

⁶⁰ См. В. Георгиев, «Вестник древней истории», 1952, № 4, стр. 139 и сл.

⁶¹ См.: V. Georgiev, Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, I, стр. 196 и сл.; P. Kretschmer, «Glotta», XXIX, 1942, стр. 89 и сл.

⁶² См. E. Vetter, «Glotta», XXVIII, 1940, стр. 228.

писями) неизвестного содержания, отчасти поврежденными или написанными *scriptio continua* (т. е. без интервалов между словами.— *Ред.*) на каком-то не особенно хорошо известном индоевропейском языке или диалекте, когда в таких текстах, по причине их особого содержания, не встречаются наиболее распространенные общеиндоевропейские слова или же произошли значительные изменения в фонетической структуре языка,— у нас нет никаких оснований считать, что отсутствие убедительной интерпретации указывает на неиндоевропейское происхождение этого языка. Это касается в особенности южноиндоевропейских языков, о которых наши знания до сих пор еще довольно скудны.

Существует достаточное количество примеров, подтверждающих наше мнение. В 1902 г. Кнудтзон в общем правильно определил, что так называемые «Арзавские письма» написаны на особом индоевропейском языке. Однако результаты Кнудтсона были признаны правильными лишь после открытия хеттского языка. Если бы у нас не имелось индийских оригиналов тохарских переводов, нам не удалось бы понять почти ничего из этих текстов, и вряд ли мы смогли бы определить индоевропейский характер тохарского языка. И до сих пор еще много из древних галльских надписей остается без истолкования, несмотря на то, что кельтские языки сравнительно хорошо известны. Надпись из Езерова вполне обоснованно следует считать фракийской⁶³, однако и до сих пор еще есть языковеды, которые сомневаются в ее интерпретации. К сожалению, сравнительно-исторический метод зачастую не в состоянии помочь нам истолковать вполне убедительно тексты с неизвестным содержанием на мало известных языках. Его использование успешно лишь тогда, когда дело касается текстов на близко родственных языках, например, на авестийском и древнеиндийском, на умбрском и латинском, или же в применении к таким языкам, в которых не произошло значительных фонетических изменений. Если бы, например, мы не были знакомы с латинским и прочими романскими языками, при помощи сравнительно-исторического метода нам бы почти ничего не удалось понять из любого французского текста с фонетической орфографией, даже вряд ли мы смогли бы определить, что французский язык — индоевропейский.

То же относится и к этимологическим исследованиям. Несомненно, что во всех индоевропейских языках имеются заимствования неиндоевропейского происхождения: «чистых языков» не существует. Однако отсутствие убедительной индоевропейской этимологии данного слова в каком-нибудь индоевропейском языке вовсе не доказывает того, что оно неиндоевропейского происхождения. Некогда, под влиянием теории о неиндоевропейском характере догреческого языка, особенно злоупотребляли определением греческих и латинских слов как неиндоевропейских. Характерным примером в этом отношении являются слова (F) *οἶνος* и *vinum* «вино». Под влиянием господствующей теории А. Ме́йе определил эти слова как заимствованные из предполагаемого доиндоевропейского малоазиатского субстрата⁶⁴, и его мнение было воспринято почти всеми. На основании предположения о родстве кавказских языков с доиндоевропейскими языками Средиземноморья иные считали, что греческие и латинские слова, обозначающие вино, восходят к неиндоевропейскому слову, родственному грузинскому *ṭvino*. Однако индоевропейское происхождение этих слов не вызывает никаких сомнений.

⁶³ См. V. G e o r g i e v, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», LXV, 1938, стр. 184 и сл.

⁶⁴ A. Meillet, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, XV, 1908/9, стр. 161 и сл.

Из греческого слова οἶνυ «лоза (вино)» видно, что первоначальное значение было «лоза» и что различие в родах между οἶνυ и οἶνος имеет целью разграничить растение от его продукта. Греч. οἶνυ «лоза» восходит к и.-е. **uoi-na* и является производным от того же корня, что и латинское слово *vitis* «лоза, виноград, вино» из и.-е. **uoi-ti-s* или **uei-ti-s*. Первоначальное значение этих слов — «вьющееся (ползучее) растение; растение, которое вьется вокруг чего-нибудь». Они являются производными от корня **uei-* «вить, виться»: лоза — растение, которое вьется вокруг других растений или деревьев. Эти слова родственны *ῥῆν*· ἄμπελον («лоза». Гесихий) = *ῥῆν* из **uia* и *ῥῆν*· ἀναδεδράδα (вин. падеж ед. числа «лоза, которая вьется вокруг деревьев». Гесихий) = *ῥῆν* из и.-е. **uio-*. В связи с этими словами можно определить и странную на первый взгляд форму хеттского слова *wijana-* «вино»: оно происходит из **ui(i)o-na* или **ui(i)o-no-*; ср. греч. *ῥῆ* и *ῥῆν* «лоза». Так как в грузинском языке имеется довольно много заимствований из греческого и из других индоевропейских языков, то грузинское слово *γῆνο* является несомненным заимствованием из какого-нибудь индоевропейского языка⁶⁵ (ср. арм. *gini* «вино» из и.-е. **uoinio-*), а не наоборот. С другой стороны, семитическое слово **uaini* (араб. эфиоп. *uain*, др.-еврейск. *uain*, ассир. *inu*) заимствовано из какого-то догреческого языка, вероятно, из языка пелазгов-филистимлян, как это явствует из перехода *oi* > *ai*. Известно, что одним из важных экспортных товаров крито-микенских торговцев было вино.

V. ЯЗЫКИ ЗАПАДНОЙ МАЛОЙ АЗИИ

А. С. Чикобава утверждает, что «...экспансия индоевропейских племен в Малую Азию датируется вторым тысячелетием до нашей эры, но не раньше»⁶⁶. Автор не приводит доказательств, подкрепляющих его взгляд, но он и не мог бы этого сделать, так как такие доказательства вообще отсутствуют. В этом отношении его подвела авторитетная в течение долгого времени, но фактически шовинистическая и расистская теория о прародине индоевропейцев в Северной Германии, по которой индоевропейцы якобы начали переселяться из Северной Германии лишь в конце III тысячелетия, а потому они и не могли находиться до этого времени в Малой Азии.

Как мы изложили в нашей работе «Догреческое языкознание» (стр. 46 и сл.), А. Гётце, на основании языковедческих и археологических данных, совершенно правильно указал на то, что индоевропейские племена, а именно лувийцы, населяли западную и юго-западную Малую Азию уже в III тысячелетии до н. э.⁶⁷ По всей вероятности, индоевропейские племена очень рано — в III тысячелетии и даже еще раньше — обитали в западной Малой Азии, где они находились в соприкосновении с неиндоевропейскими племенами, населявшими восточную Малую Азию. Здесь и произошли различные сложные процессы скрещивания языков. Эта концепция подтверждается археологическими данными⁶⁸.

В пользу такого взгляда говорят и следующие лингвистические соображения. Характерные старинные эгейско-маллозийские географические названия с суффиксами *-nd-* и *-s(s)-* встречаются в западной и юго-западной Малой Азии, но отсутствуют в восточной и особенно в северо-восточной Малой Азии, т. е. там, где засвидетельствовано присутствие неиндоевропейских племен (хаттов, хурритов).

Показательны в этом отношении результаты, достигнутые независимо от нас видным арменистом Г. А. Капанцяном. Он устанавливает, что географические названия с суффиксом *-nd-* не встречаются в урартских кли-

⁶⁵ Ср. Deeters, «Indogermanische Forschungen», LVI, 1938, стр. 139 и сл.

⁶⁶ А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. I, стр. 226.

⁶⁷ A. Götze, Kleinasien, стр. 21 и сл., 47 и сл.; см. также и Meillet — Cohen, Les langues du monde, 1952, стр. 17.

⁶⁸ См. K. Bittel, Grundzüge der Vor- und Frühgeschichte Kleinasien, 2-е изд. 1950, стр. 160 и сл.

нописных текстах. В древних клинописных документах из северо-восточной Малой Азии их также почти нет. Поскольку подобные имена появляются в Грузии и Армении, они, очевидно, более позднего происхождения и связаны с переселением некоторых племен и греческой колонизацией. Подобные отдельные имена в более старинных документах из северо-восточной Малой Азии следует считать тоже перенесенными с юга. Далее Г. А. Капанцян указывает, что суффикс *-nd-* индоевропейский⁶⁹.

Происхождение данного суффикса действительно индоевропейское. Часть этих имен содержит обыкновенный индоевропейский суффикс **-cent-*, **-cont-*, употребляемый для образования географических названий; ср., например, наименование карийского острова (и города) *Καρύαδα*, восходящее к и.-е. **karuā-cont* (или *cent*) «место, где растут орехи», ср. греч. *καρύα* «орешник». Другая часть содержит лувийский суффикс множественного числа *-and-*, *ind-* или *-end-*; ср. хеттский суффикс *-ant-*, употребляемый для образования собирательных имен и множественного числа имен среднего рода⁷⁰.

Такое же заключение делает Г. А. Капанцян и относительно географических названий с суффиксом *-s(s)-*. Он указывает на то, что такие имена встречаются только на запад от Евфрата, но их нет в Субарту и Урарту. Далее он заключает, что этот суффикс имеет индоевропейское происхождение (лувийско-хеттское)⁷¹. Те, которые ищут родства догреческого суффикса *-σ(σ)-* или *-ττ-* с каким-то неиндоевропейским суффиксом *-s(s)-* из северо-восточной Малой Азии, должны иметь в виду следующее: различие, существующее между *-σ(σ)-* и *-ττ-* в древнегреческих диалектах, не может быть объясненным, если греки заимствовали какой-то суффикс *-s(s)-*. Это различие объяснимо только, если первоначальная форма этого суффикса была *-(n)t(h)i-*, *-t(h)u-* или *-k(h)i-*, но никак не *-s(s)-*. Следовательно, все попытки объяснить такие географические названия в Эгейской области, как *Ἀρδηττός*, *Βριληττός*, *Γαρρηττός*, *Λοκαβηττός*, *Σελληττός*, *Σρηττός*, *Ῥηττός*, *Ῥρηττός*, при помощи какого-то неиндоевропейского суффикса *-s(s)-* ошибочны. С другой стороны, этот суффикс нельзя вывести и из какого-то неиндоевропейского суффикса *-t(t)-*, потому что в таком случае форма *-σ(σ)-*, появляющаяся в определенных диалектах, остается необъяснимой. Это диалектное разнообразие находит свое объяснение, если первоначальная форма суффикса была **-centiā*. Следовательно, часть этих имен содержит индоевропейский суффикс **-centiā*, **-contia*, **-untiā*, а остальные — лувийский притяжательный суффикс *-assa-*, восходящий к и.-е. **-osio*⁷².

Исходя из этих соображений, которые можно подкрепить археологическими данными, мы и считаем возможным утверждать наличие разницы между западной и восточной Малой Азией в языковом отношении.

Ликийский, лидийский и карийский языки

Особенно поучительный пример коренного изменения, происшедшего за последние десятилетия во взглядах на языковую принадлежность древних эгейских языков, представляет история исследований ликийского языка.

⁶⁹ См. Г. Капанцян, Суффиксы и суффиксированные слова в топонимике древней Малой Азии, стр. 5 и сл.

⁷⁰ См. V. Georgiev, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 135 и сл., 180 и сл.

⁷¹ См. Г. Капанцян, указ. соч., стр. 11 и сл.

⁷² См. V. Georgiev, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 127 и сл. и 180 и сл.; см. также выше. Изменение и.-е. *-nt-* в догреч. *-νθ-* связано с «передвижением огласных» (*t > th*).

Еще в 1897—1902 годах С. Бугге, А. Торп и Х. Педерсен установили, в значительной степени правильно, индоевропейский характер ликийского языка. Однако некоторые неизбежные ошибки, допущенные авторами в начальной стадии их работы над интерпретацией надписей, а также — и это в первую очередь — авторитет господствующей теории о неиндоевропейском характере догреческо-малоазийского населения воспрепятствовали языковедам занять правильную позицию в вопросе о происхождении этого языка. Только в 1936 г., когда авторитетность указанной теории была в значительной мере расшатана, П. Мериджи, изменив свое прежнее мнение о неиндоевропейском характере ликийского и лидийского языков, реабилитировал результаты исследований упомянутых выше ученых и присоединил новые аргументы. В наши дни уже не может существовать никакого сомнения относительно индоевропейского происхождения ликийского языка⁷³. Вот важнейшие данные:

I. Термины, выражающие родственные отношения: *kbatra* «дочь» из **ibatra* <и.-е. **dhughatrā*: греч. θυγάτηρ «дочь»;

χῆνα «мать»: хет. *hannas* «бабушка», лат. *anus* (жен. род) «старуха», др.-прусск. *ane* «старая мать»;

lada «супруга»: русск. и сербо-хорв. *лада* «супруга»;

χυγα «дед» (с материнской стороны): хет. *huhhas*, лат. *avus* «дед» из и.-е. **hauhos*.

II. Происхождение ряда числительных очевидно:

tuweri «два» из и.-е. **duw-*, *tbi*, *kbi* «два» (с *tb-* из *du-*);

tri(s) «три»;

kadr- «четыре»: лат. *quadr-* «четыре»;

nu(ṇ) «девять»: лат. *novem* «девять»;

sṇta «сто»: лат. *centum*, лит. *šimtās* «сто».

III. Названия частей тела: *pededi* «пехотинец», производное от *ped-* «нога»: лат.

pēs (род. падеж *pedis* «нога»;

terṇ = арм. *jern* «рука; войско».

IV. Различные слова: *esbedi* «конница», производное от *esb-* «лошадь»: др.-инд. *aśva-*, авест. *aspa-* «лошадь»;

χṇte-wete (3-е лицо ед. числа прош. времени) «вел, водил», *χṇta-wata* «вожак вождь», сложное слово от *χṇte-*, *χṇta-*; ср. хет. *hante-zzi-s* «первый», *hant-* «перед» и *wet-*; ср. ст.-слав. *вѣдѣ* и *-wata* из и.-е. **uodho-s*; ср. ст.-слав. *вождѣ* от **uodhio-s*;

tāti, *tadi* «ставит» из и.-е. **(s)t(h)ā-* = греч. ἵστημι «ставит»; *tuweti* «ставит, воздвигает, посвящает» из и.-е. **(s)t(h)ā(u)-*: ст.-слав. *ставити* из и.-е. **st(h)āu*;

ēmi «мой, моя», *emi* «меня, мне»: греч. ἐμός «мой», ἐμοί «мне»;

ne = лат. *ne*;

epi = греч. ἐπί;

ṇti = греч. ἀντί;

ṇte = др.-лат. *endo* «in»;

-ce = лат. *que* «и».

V. Морфемы: *-a* — окончание им. падежа ед. числа жен. рода;

-aⁿ — окончание вин. падежа ед. числа жен. рода;

-as — окончание вин. падежа мн. числа жен. рода;

-ti, *-di* — окончание 3-го лица ед. числа наст. времени;

-nti (ср. *tāti*) — окончание 3-го лица мн. числа наст. времени;

-ḡa — окончание 1-го лица ед. числа прош. времени: греч. *-χα* в *ἔθη-χα*.

-te — окончание 3-го лица ед. числа прош. времени;

-nte (ср. *prṇnawāte*) — окончание 3-го лица мн. числа прош. времени;

-tu — окончание императива 3-го лица ед. числа; ср. др.-лат. *-tō*;

-ntu (ср. *tātu*) — окончание императива 3-го лица мн. числа;

-ana, *-ane* — окончание инфинитива, как в германских языках.

Значения всех этих слов и морфем установлены комбинаторным способом, без

⁷³ См.: J. Friedrich, «Neue Jahrbücher», 1937, стр. 440; V. Georgiev, Vorgriechische Sprachwissenschaft, стр. 50 и сл.; H. Pedersen, Lykisch und Hittitisch, 1945; S. Turtevanant—Hahn, Hittite language, I, 1951; Meillet—Cohen, Les langues du monde, 1952, стр. 184 и 205; А. В. Десницкая, «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 41, 45 и сл.

учета их этимологии. Если мы примем во внимание тот факт, что ликийский язык известен нам весьма фрагментарно⁷⁴, то значение перечисленных выше данных очень велико: на их основании мы можем без колебания определить ликийский язык как индоевропейский.

*

В весьма сходном с ликийским языком положении находится и лидийский язык, но здесь материал еще более скуден. Вот самые важные данные о индоевропейском характере лидийского языка:

I. Местоимения: *ami* «я, мне»: хет. *amtiuk* «я, меня, мне»;
ēmis «мой»: греч. *ἐμός* «мой»;
pis или *χis* «кто», *pid* или *χid* «что»: лат. *quis* «кто», *quid* «что»;
alaš «другой»: лат. *alius* «другой».

II. Различные слова: *civs* «бог», *civa-* «богиня»: лат. *deus* «бог», *dea* «богиня» из и.-е. **deiǵā*;

de-, *da-* — «дать»;

kud «где»: ст.-слав. *къде* «где»;

-k = лат. *-que*;

ni-k = лат. *ne-que*.

III. Морфемы: *-a* — окончание им. падежа ед. числа жен. рода;

-a- — окончание вин. падежа ед. числа жен. рода;

-š, *-s* — окончание им. падежа ед. числа муж. рода;

-d — окончание им. падежа ед. числа ср. рода; ср. лат. *quid*;

-u — окончание 1-го лица ед. числа наст. времени (и.-е. *-ō*);

-t, *-d* — окончание 3-го лица ед. числа прош. времени;

-to — окончание страд. причастия прош. времени;

-l — причастное окончание (ср. слав. *-лъ*, арм. *-eal*, *-ol*).

В ликийских и в лидийских надписях есть довольно много слов, которые остаются непонятными. Это, естественно, еще не доказывает их неиндоевропейского происхождения. Все-таки можно предполагать, что часть из них хаттского, хурритского или вообще кавказского происхождения, как и в хеттском или армянском языках. Задачей кавказоведов является исследование этих элементов в рассматриваемых языках. Надо, однако, иметь в виду, что не все неиндоевропейские элементы в них следует приписывать а priori кавказским языкам. На эти языки, в особенности на лидийский, а также и на другие малоазийские языки, оказали известное влияние семитические языки (ассирийский, арамейский)⁷⁵. Так называемый милийский считается ликийским диалектом. Х. Педерсен определяет его как особый индоевропейский язык⁷⁶. Во всяком случае, его происхождение так же не возбуждает сомнений, как и происхождение ликийского языка.

О карийском языке пока что нельзя сказать ничего вполне достоверного, так как карийских надписей мало, состоят они почти целиком из личных имен, а к тому же и фонетическая значимость части знаков установлена не вполне достоверно. Все-таки имеются известные данные о том, что и карийский принадлежит к малоазийским индоевропейским языкам: таково, например, окончание род. падежа ед. числа *-he*, *-hi*, в милийском *-si* (из и.-е. **-sio*). С другой стороны, карийская глосса *ⲙⲥ* «*πρόβατον*

⁷⁴ Тритч (F. J. Tritsch, «Archiv orientální», XVIII, 1—2, 1950, стр. 515) приводит следующие «статистические данные»: значения 20 слов вполне достоверны, так как они встречаются в билингвах; значения других 20 слов установлены с полной вероятностью на основании комбинаторного метода; значения еще 20 слов установлены с вероятностью тем же способом; значения 40 слов могут предполагаться на базе контекста. Кроме того, значения некоторых морфем тоже установлены вполне надежно.

⁷⁵ См. V. Georgiev, «Archiv Orientální», XVII, I, 1949, стр. 280 и сл.

⁷⁶ См. H. Pedersen, «Lykisch und Hittitisch», стр. 54 и сл.

(скот)» (Афиней, XIII, 580), несомненно, родственная дор. βῶς «вол» из и.-е. *gʷō(ṷ)s, свидетельствует о том, что в карийском произошло «передвижение согласных» и делабиализация лабиовелярных⁷⁷. Это характерно для «догреческого» индоевропейского языка. В последнее время были найдены новые карийские надписи; кроме того, Л. Робер опубликовал 16 карийских надписей, отчасти поврежденных⁷⁸; некоторые из них напечатаны впервые. Может быть, эти надписи помогут уточнить характер карийского языка.

*

Кроме надписи из Лемноса, о которой говорится выше, в западной Малой Азии было найдено еще несколько других отдельных надписей. Индоевропейский характер так называемой м и з и й с к о й надписи с сильно поврежденным текстом, найденной в 1926 г. и опубликованной в 1932 г., определяется на основании слов *brateraiś patrizi*, т. е. индоевропейских слов со значением «брат» и «отец»⁷⁹. Известно также и несколько кратких надписей из города Сиде в Памфилии, исследованных в последнее время Г. Боссертом⁸⁰. В языке этих надписей автор открывает черты, определяющие его родство с другими малоазийскими индоевропейскими языками, в особенности с иероглифическим «хеттским», лидийским и ликийским.

Так называемые п и с и д и й с к и е надписи были недавно исследованы Р. Шафером⁸¹. Несмотря на результаты этого опыта, И. Сундвалль продолжает отстаивать свою точку зрения, что в указанных надписях содержатся одни лишь личные имена⁸².

VI. ЯЗЫКИ ВОСТОЧНОЙ МАЛОЙ АЗИИ И ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ

Хеттские, лувийский и палайский языки

Клинописный хеттский (или неситский) язык является, несомненно, языком индоевропейским, потому что его основной словарный фонд и грамматический строй — индоевропейские. Правда, в хеттском языке содержится довольно много неиндоевропейских элементов, главным образом в области лексики, но это не изменяет основного положения. Этих чуждых элементов в хеттском не многим больше, чем подобных же элементов в армянском языке или славянских элементов в румынском. И все же армянский является языком, несомненно, индоевропейским и румынский — романским. По этому вопросу имеется достаточно много литературы. Вступительная статья А. Десницкой к «Краткой грамматике хеттского языка» И. Фридриха (М., 1952) дает ясное представление о хеттском языке. Следовательно, мнение А. С. Чикобава о том, что хеттский (неситский) и лувийский языки «...по морфологии сближаются с индоевропейскими, но лексику имеют неиндоевропейскую (лексика хеттская или хеттизированная)...»⁸³, неправильно. С другой стороны, ошибочно было бы считать, что чуждые элементы в хеттском исключительно хаттско-кавказского происхождения. На хеттский оказали влияние также и другие языки, особенно семитические.

⁷⁷ См. V. Georgiev, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 90 и сл.

⁷⁸ L. Robert, «Hellenica», VIII.

⁷⁹ См. J. Friedrich, *Kleinasiatische Sprachdenkmäler*, стр. 140 и сл.; его же, *Real-Encyclopädie der Altertumswissenschaft*, 1947 (под *Phrygia*).

⁸⁰ См. H. Bessert, «Belleten», XIV, 1950, стр. 1 и сл.

⁸¹ См. R. Shafer, «American journal of philology», LXXI, 1950, стр. 239 и сл.

⁸² См. J. Sundwall, *Kleinasiatische Nachträge*, 1950, стр. 47.

⁸³ А. С. Чикобава, указ. соч., стр. 225.

Хеттский содержит в значительной мере хаттско-кавказский субстрат. Важной задачей кавказоведов является исследование этого субстрата. Хеттский язык, однако, обнаруживает, в сравнении с другими индоевропейскими языками, некоторые особенности, которые нельзя считать неиндоевропейскими (например, частичное сохранение так называемых ларингальных звуков). Эти особенности встречаются также и в некоторых южноиндоевропейских языках, которые лишь в последнее время начинают исследоваться более основательно. Исходя из таких и ряда других соображений, в нашей работе «Догреческое языкознание» мы высказываем следующее соображение: еще очень рано, вероятно, в IV и III тысячелетиях, индоевропейские языки уже делились на три большие диалектные группы — северную (балто-славянский, германский языки), центральную (индо-иранский, греческий, латинский) и южную (хеттский, ликийский, этрусский и т. д.). К этому времени индоевропейские племена компактными массами населяли поречье Дуная и некоторые соседние области, а также и северную часть Причерноморья⁸⁴. Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков базировалась до сих пор главным образом на языках центральной группы и в меньшей степени — на языках северной группы. Только недавно началось ознакомление также и с южной группой; потому здесь и открываются некоторые особенности индоевропейских языков, бывшие до сих пор неизвестными⁸⁵.

Из скудного материала о лувийском языке, который имеется в нашем распоряжении, явствует, что он близко родствен клинописному хеттскому. По вопросу о индоевропейском характере лувийского языка в силе те же доводы, которые были приведены по отношению к хеттскому. Еще более скудны данные о палайском языке, но все-таки на основе последних исследований, сделанных Г. Оттенем и Г. Боссертом⁸⁶, можно утверждать, что он очень близок лувийскому.

Иероглифические «хеттские» надписи, датируемые временем с XIV до VIII в. до н. э., известны уже с довольно давних пор. Был ряд попыток их расшифровки, однако начало их обоснованной дешифровки положено только в 1930—1932 годах XX в. в работах П. Мериджи, Дж. Гельба, Б. Грозного, Э. Форрера и Г. Боссерта⁸⁷. Открытие билингвальных надписей из Кара-Тепе в 1947 г.⁸⁸ подтвердило предшествующие интерпретации и сделало возможной дальнейшую работу над этими текстами.

Индоевропейский характер иероглифического «хеттского» языка в наше время не подлежит сомнению. Этот язык, с одной стороны, обнаруживает родственные связи с лувийским и клинописным хеттским, но, с другой стороны, отличается от них прежде всего уже тем, что принадлежит к так называемой группе *satəm*, как и ликийский, а также один из догреческих языков (пелазгский). Вот несколько наиболее важных примеров⁸⁹.

tāta— «отец»: др.-инд. *tata*— «отец», русск. *mama* «отец»;

pata— «нога»: лат. *pēs* (род. падеж. *pedis*), греч. *πός* (род. падеж *πόδος*) «нога»;

šuwana «собака»: др.-инд. *ś(u)van*, лит. *šuo*, греч. *κύων* «собака»;

⁸⁴ См. также П. Н. Т р е т ь я к о в, «Вопросы истории», 1953, № 11, стр. 74 и сл.

⁸⁵ См. V. G e o r g i e v, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 153 и сл.

⁸⁶ Н. O t t e n, «*Zeitschrift für Assyriologie*», N. F., XIV, 1944, стр. 199 и сл.; Н. B o s s e r t, «*Ein hethitisches Königssiegel*», Istanbul, 1944.

⁸⁷ См. J. F r i e d r i c h, *Entzifferungsgeschichte der hethitischen Hieroglyphenschrift*, 1939.

⁸⁸ См. Н. B o s s e r t, «*Belleten*», XII, 1948, стр. 515 и сл.

⁸⁹ См.: G e l b—B o n f a n t e, «*Journal of the American oriental society*», LXV, 1944, стр. 169 и сл.; I. J. G e l b, *The contribution of the new Cilician bilingual to the decipherment of Hieroglyphic Hittite*, 1950; P. M e r i g g i, «*Acme*», IV, 2, 1951, стр. 181 и сл.; J. F r i e d r i c h, «*Archiv orientální*», XXI, 1953, стр. 134.

aśuwa «лошадь»: др.-инд. *aśva-* «лошадь»;
śur(a)na «рог»: др.-инд. *śṛṅga-m*, лат. *cornū* «рог»;
tapas, dabas «небо»: др.-инд. *nabhas-* «небо, туман, облако», лит. *debesis* «облако»;
as- «быть»: лув. *as-*, хет. *es-* «быть»;
tuwa- «ставить» из **(s)tiū(u)-*: слав. *staviti* «ставить» из и.-е. **stāu-*;
aia- «делать»: лув. *aia-*, хет. *ija-* «делать»;
anda «в»: лув. *anda*, др.-лат. *endo* «в»;
is «один»: греч. гомер. *ἓα* (жен. род) «одна»;
-ha = лат. *-que* «и»;
āmi «я, мне», *-mi* «мне»: хет. *ammiuk* «я, меня, мне»;
āmi(a) «мой»: греч. *ἐμός* «мой»;
ki-(ia-) «который»: лат. *qui* «который», *quis* «кто».
Морфемы. *-s* — окончание им. и род. падежа ед. числа;
-n — окончание впп. падежа ед. числа;
-t(e) — окончание 3-го лица ед. числа наст. времени.

Кипро-минойские и «этеокипрские» надписи

Так называемые кипро-минойские надписи, датированные второй половиной II тысячелетия до н. э. (приблизительно 1500—1150 гг.), написаны слоговым письмом, представляющим собою местный вариант критского слогового письма. Эти надписи опубликованы Дж. Ф. Даниэлем⁹⁰. Он издал всего 185 надписей, однако только одна из них состоит из 8 знаков, 13 состоят из 3—4 знаков, а большая часть представляет единичные знаки. С тех пор при раскопках было найдено около 50 новых надписей, а также значительное количество единичных знаков⁹¹, а в 1953 г. была найдена в Энкоми первая большая кипро-минойская надпись, состоящая из 22 + 16 строк и относящаяся, по всей вероятности, к XIV в. до н. э.⁹² В том же году была найдена в Рас-Шамра (Северная Сирия) кипро-минойская надпись из 6 строк, датированная XIV или XIII в. до н. э. По нашему мнению, язык этих надписей представляет диалект критского языка.

Кроме того, мы располагаем еще несколькими надписями с острова Кипр, написанными позднейшим вариантом того же слогового письма и относящимися ко времени от VII до IV в. до н. э. Это так называемые «этеокипрские» надписи. Они опубликованы И. Фридрихом в книге «Памятники малоазиатских языков» (стр. 49 и сл.). Повидимому, к ним следует прибавить также несколько других надписей, которые считаются греческими, но интерпретация которых как греческих недостаточно убедительна⁹³. Попытки истолкования этих надписей, включая и нашу (1936), а также и А. фон-Блументаля (1938)⁹⁴, нельзя считать успешными. Все-таки, по нашему мнению, язык этих надписей представляет, по всей вероятности, поздний критский диалект. Известное семитическое влияние на «этеокипрский» диалект не исключено.

Хаттский, хурритский и урартский языки

В своем «Введении в языковедение» (стр. 241 и сл. и 225 и сл.) А. С. Чикобава вполне обоснованно оспаривает обычно употребляемое название «хеттский» для обозначения индоевропейского языка. Без сомнения,

⁹⁰ См. J. F. Daniel, «American journal of archaeology», XLV, 1941, стр. 249 и сл.

⁹¹ См. T. B. Mitford, «Archaeology», V, 1952, стр. 151 и сл.

⁹² См. «The Illustrated London News» 5 IX 53, стр. 342.

⁹³ См. T. B. Mitford, «Archaeology», V, 1952, стр. 152.

⁹⁴ См. V. Georgiev, Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, I, стр. 189 и сл.; A. v. Blumenthal, «Zeitschrift für Ortsnamenforschung», XIII, 1937, стр. 240 и сл.

«хаттский» является названием неиндоевропейского языка, а «хеттский» представляет позднейшую (еврейскую) форму того же названия. Но название «хеттский» уже стало господствующим для обозначения именно индоевропейского языка из северо-восточной Малой Азии, точное название которого нам, к сожалению, неизвестно. Здесь мы имеем тот же случай, как при обозначении «булгарский» для отмершего тюркского языка в области Волги и «болгарский» для славянского языка на Балканском полуострове, несмотря на то, что оба имени обозначают первоначально одно тюркское племя. Неситский — не более удачное название, потому что *nāšili*, *nišili*, *nēšumnil* являются производными от названия города *Neša*, которое, вероятно, тоже доиндоевропейского происхождения⁹⁵.

Хаттский язык, без всякого сомнения, родствен кавказским языкам. Характерная черта хаттского языка — префиксация как средство словоизменения — встречается как раз в этих языках, а хаттское слово *wašhab* «бог» явно родственно адыгейскому (черкесскому) *wašho* «бог».

Урартский (халдский, ванский) доиндоевропейский язык в Армении родствен хурритскому. Урартский язык был в употреблении в стране, названной ассирийцами Урарту, со столицей Турушпа, или Тушпа, расположенной на месте позднейшего Вана. Урартское царство просуществовало с IX до VII в. до н. э.

На хурритском (митаннийском, субарейском) языке говорили в стране, называвшейся ассирийцами Субарту и расположенной севернее Аккада. Данных о том, что хурриты принадлежали к автохтонному населению Малой Азии, у нас нет. Вероятнее всего, что они проникли в восточную Малую Азию к концу III тысячелетия до н. э.⁹⁶

Характерной чертой хурритского языка является обилие и стечение в отдельных словах суффиксальных элементов. Вот некоторые из терминов, обозначающих родственные отношения: *attai* — «отец», *šena* — «брат», *ela* — «сестра», *šala* «дочь», *ašti* — «супруга»; другие слова: *eni* — «бог», *eše* — «небо».

Урартский и хурритский также можно считать родственными современным кавказским языкам. Важной задачей для кавказоведов является подробное изучение этих языков, а также и вышеупомянутого хаттского, в целях более точного установления их родственных отношений. Из данных об этих языках, которыми мы до сих пор располагаем, видно, что в них нет ничего, что указывало бы на их родственные связи с баскским или этрусским.

Шумерский, эламский и касситский (коссейский) языки

Шумерский, самый древний из письменных языков человечества, был языком населения, обитавшего южнее Вавилона вплоть до Персидского залива. Шумерский язык хорошо известен из многочисленных и разнообразнейших текстов. Известны также и шумерские диалекты. Несмотря на эти особо благоприятные условия, никому до сих пор не удалось привести серьезных аргументов в пользу его родства с каким-нибудь иным языком⁹⁷.

Эламиты обитали в горной области от Месопотамии до Иранского плато (нынешние Загрос, Луристан и Хузистан). Эламский (или сузский) язык известен из многочисленных письменных памятников трех различных эпох: 1) середины III тысячелетия, 2) от XVI до VII в., 3) от V до IV в.

⁹⁵ О неудобстве употребления названия «неситский» см. подробно у Зоммера (F. Sommer, *Hethitisch und Hethiter*, 1947, стр. 12 и сл.).

⁹⁶ Ср. K. Bittel, *Grundzüge der Vor- und Frühgeschichte Kleinasiens*, 2-е изд., 1950, стр. 61.

⁹⁷ Ср. и Meillet—Cohen, *Les langues du monde*, 1952, стр. 185 и 189.

до н. э. Вполне достоверных родственных связей эламского с каким-нибудь иным языком не установлено. Касситский (коссейский) язык употреблялся в области, соседней с Эламом (в Загросе), вплоть до окрестностей Диарбекира. Данные об этом языке совсем скудны.

Из сравнения личных местоимений для 1-го и 2-го лица в баскском, шумерском и эламском видно, что предположение о родстве этих языков невероятно:

баскский: *ni* «я», *(h)i* «ты», *gu* «мы», *zu* или *zuek* «вы»;

шумерский: *ta*, *tae* «я», *za*, *zae* «ты», *mende(n)* «мы», *menze(n)* «вы»;

эламский: *ī* «я», *ni* «ты», *niku* или *elu* «мы», *nūt* «вы».

Выше были сопоставлены баскские числительные с шумерскими. Из таких сравнений явно не только то, что родство этих языков не доказано, но и то, что такового вообще не существует.

ВII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в северной части Средиземноморья, по нашему мнению, следует различать еще с глубокой древности, по крайней мере, три отдельные языковые зоны:

I. Пиренейские языки, которые делятся на: 1) васконский, т. е. баскский, и отмерший аквитанский; 2) иберийский — язык древних надписей из восточной области Пиренейского полуострова. Родство васконского с испано-иберийским не доказано. Не исключена также возможность того, что иберийский является языком хамитическим (ливийско-берберским); 3) тартессийский язык. Положение тартессийского языка не уточнено. Древнейшее население северо-западной Италии, Сардинии, а может быть, и других областей Италии (и Сицилии), вероятно, говорило на языке, родственном языку древнего населения Пиренейского полуострова. Еще в глубокой древности ливийско-берберские племена населяли южную часть Пиренейского полуострова, и их язык оказал известное влияние на иберийский и васконский. Ливийско-берберские племена, повидимому, проникли очень рано также в Сицилию и Южную Италию.

II. Южноиндоевропейские языки: догреческие (этеокритский, пелазгский), ликийский (и милийский), лидийский, трояно-этрусский, карийский, хеттский, лувийский, палайский и иероглифический «хеттский». Это — языки коренного древнего населения южной части Балканского полуострова (Эгейской области) и западной Малой Азии.

III. Кавказские языки: 1) хаттский, 2) хурритский и урартский. Хаттский был языком основного древнего населения восточной, точнее северо-восточной Малой Азии.

Если между первыми двумя группами и имелось известное взаимодействие, то гораздо более сильное взаимодействие существовало между второй и третьей группами. Однако у нас нет никаких серьезных данных, позволяющих считать, что Балканский полуостров некогда был населен племенами, родственными третьей или первой группе. Никто до сих пор не смог привести серьезных доказательств родства древней топонимии Балканского полуострова с топонимией Кавказа или Пиренейского полуострова. Отдельные случаи омонимии, как, например, *Ἐβρος* — река во Фракии (это имя засвидетельствовано с V в. до н. э.: у Геродота, Еврипида и пр.) и *Ἐβρο* (др.-греч. *Ἴβηρ*), ничего не доказывают⁹⁸.

В некоторых наших работах мы подчеркивали, как безответственно провозглашались «доиндоевропейскими» географические названия из Эгейской области, индоевропейское происхождение которых явно. Таких примеров не мало:

⁹⁸ См. V. G e o r g i e v, *Vorgriechische Sprachwissenschaft*, стр. 177 и сл.

Καλυδών в сущности греческое имя от καλός «красивый» и -ὕδων «вода»; ср. др.-инд. *udān* «вода»; Κάλυδνα, позднее Κάλυρνα, в сущности греческое имя от καλός «красивый» и -ὕδνα «вода»; ср. ἄλυσ-ὕδναι «волны (буквально, воды) моря»; Μυκῆνη в сущности производное от μύκης «губка», как Ἀνθή-νη от ἄνθη «цветок», Πελλή-νη от πέλλα «камень, скала»; Θεναί, город на острове Крит, можно толковать как στεναί, мн. число жен. рода от στενός «тесный» с фонетическим изменением στ > θ-, характерным для критского диалекта, и т. д.⁹⁹

Типичные примеры ненаучного сопоставления названий, относящихся к самым различным географическим областям, дает нам одно из последних фантастических построений панмедитеранистической теории, а именно статья Освальда Менгина, опубликованная в аргентинском журнале «Runa»¹⁰⁰. Менгин говорит о доисторической миграции эламитов из Передней Азии в Грецию и Сицилию. В доказательство он приводит наличие следующих географических названий: Ἐλυρία в Аркадии и Галиакмоне, Ἐλύριον — остров близ Эвбеи (или поселок там же), Ἐλυριῶται (Ἐλυριῶται) — обитатели Ἐλυρία (Ἐλυρία), области в Македонии близ Эпира, Σόλυροι — племя в Ликийи, Ἐλύροι — племя в Сицилии (стр. 126 и сл.). Сравнение базируется исключительно на внешнем созвучии названий. Неясно только, почему сюда попало название «солимы». Ведь, если в греческом языке начальное антевокальное *s* закономерно исчезает, то это имя никогда не имело начального *s* (ср. ассир. *Elamtu*) и, следовательно, оно не могло бы «сохраниться» в усвоенном греками названии эламитов. Однако географические названия Ἐλυρία и т. д. ни в коем случае не могут быть связаны с именем эламитов, потому что их греческое происхождение явно: они являются производными от слова ἔλυρος «просо» (Ἐλυρία обозначает «место, где растет просо»). Это один из самых распространенных способов образования географических названий: ср. производные Κεγχρέα, Κεγχρεαία, Κεγχρεαίαι — поселок в Пелопоннесе, от κέγχρος «просо», Ὀροβίαи — город в Эвбее, от ὄροβος «горох», и т. д.

Без должных научных оснований, по одному лишь внешнему созвучию, объявлялись родственными и приводились в доказательство пиренейско-кавказского языкового родства слова, не имеющие ничего общего по происхождению. Характерным примером в этом отношении является сравнение лат. *samoх* «каменный баран, серна, дикая коза», баскск. *gata* «серна, дикая коза», кавк. *gamiš* «буйвол»¹⁰¹. Однако кавказское слово заимствовано из перс. *gāvteš* «бык, буйвол» из иран. **gao-taeša*¹⁰², а латинское слово тоже индоевропейского происхождения¹⁰³.

Последний опыт доказательства пиренейско-кавказского родства принадлежит И. Губшмиду¹⁰⁴. Из критического разбора приведенных важнейших сравнений ясно видно, на каких несостоятельных «аргументах» зиждется пиренейско-кавказская гипотеза.

Груз. *tona* «слуга, раб» сопоставляется с крит. μυῶται· δοῦλοι, μυῶα· δουλεῖτα (Гесихий). Однако индоевропейская этимология критских слоев

⁹⁹ См. там же, стр. 163 и сл.; е г о ж е, Contribution à l'étude de la toponymie grecque: noms de lieux prétendus préhelléniques, 1948; е г о ж е, «Studia linguistica», II, 1948, стр. 70.

¹⁰⁰ О. М е н г и н, Migrationes Mediterraneae, «Runa», I, 1948, стр. 111 и сл.

¹⁰¹ Ср., например, V. B e r t o l d i, «Zeitschrift für romanische Philologie», LVII, 1940, стр. 147.

¹⁰² Ср. J. H u b s c h m i d, Vorindogermanische und jüngere Wortschichten in den romanischen Mundarten der Ostalpen, 1950, стр. 9 и сл.

¹⁰³ Ср. W a l d e—H o f m a n n, Lat. etym. Wörterbuch, 3-e Aufl. (под *samoх*). Гофман считает слово *samoх* заимствованием из языка альпийского населения, кельтов или лигуров, и связывает с и.-е. корнем **ket* «комолый». — Ред.

¹⁰⁴ См. J. H u b s c h m i d, Sardische Studien, 1953, стр. 103 и сл.

несомненна: μ восходит к более древнему $\delta\mu$ — фонетическое явление, засвидетельствованное в греческих диалектах; ср. $\Delta\mu\acute{\iota}\alpha$ > эпидавр. $M\mu\acute{\iota}\alpha$, ион. $\mu\epsilon\sigma\sigma\acute{o}\delta\mu\eta$ > аттич. $\mu\epsilon\sigma\sigma\acute{o}\mu\eta\eta$, $K\acute{\alpha}\lambda\upsilon\delta\nu\alpha$ > $K\acute{\alpha}\lambda\upsilon\mu\nu\alpha$. Критское слово $\mu\nu\acute{\omega}\tilde{\alpha}$ соответствует в точности ионийскому $\delta\mu\omega\tilde{\eta}$ «прислужница»; ср. еще ион. $\delta\mu\acute{\omega}\varsigma$ (род. падеж $\delta\mu\acute{\omega}\varsigma$) «раб», греч. гомер. $\acute{\upsilon}\rho\sigma\text{-}\delta\mu\acute{\omega}\varsigma$ «служитель».

Эти слова восходят к и.-е. $*dm\acute{o}\tilde{\omega}$ - (буквально: «домашний, принадлежащий к дому»), производное от $*domu$ - «дом»¹⁰⁵; ср. греч. $\omicron\acute{\iota}\kappa\epsilon\tau\eta\varsigma$, $\omicron\acute{\iota}\kappa\epsilon\upsilon\varsigma$ «домашний», производное от $\omicron\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$ «дом», лат. *domesticus* «домашний; раб» от *domus* «дом».

Груз. *wenaxi*, др.-груз. *venaqi*, сван. *venāq*, мингр., лаз. *binexi* «виноградник» сравниваются с критской глоссой $\beta\eta\nu\alpha$ · $\tau\acute{o}\nu\ \omicron\acute{\iota}\nu\omicron$ (Гесихий). Но кавказские слова находятся в несомненной связи с индоевропейскими $*uoinā$ «лоза (вино)» и $*uoino-s$ «вино» и, следовательно, заимствованы из какого-то индоевропейского или семитического языка¹⁰⁶. Глосса Геси-хия $\beta\eta\nu\alpha$ «вино», повидимому, ошибочно дана (ошибки нередки у Геси-хия) вместо $*\beta\eta\nu\alpha = \Gamma\acute{\iota}\nu\alpha$ «лоза (вино)», и то, вероятно, под влиянием $\epsilon\tilde{\beta}\omega = \lambda\epsilon\tilde{\iota}\beta\omega$ «лить, наливать ($\omicron\acute{\iota}\nu\omicron$, $\mu\acute{\epsilon}\theta\upsilon$)»¹⁰⁷. Известно, что в критском диалекте β перешло в спиранту раньше, чем в других диалектах, и по этой причине употреблялось для обозначения дигаммы¹⁰⁸.

Приведенное слово $*\Gamma\acute{\iota}\nu\alpha$ может быть именительным или винительным падежом основы на $-\gamma\upsilon$.

Определение лидийско-карийского слова $\tau\acute{\alpha}\beta\alpha$ · $\pi\acute{\epsilon}\tau\rho\alpha$ («камень, скала») (Стефан Византийский) как неиндоевропейского совершенно произвольно. Это один из пережитков устарелой концепции о неиндоевропейском характере лидийского и карийского языков. Слово $\tau\acute{\alpha}\beta\alpha$ восходит к и.-е. $*(s)tabhā$ и соответствует в точности др.-прусс. *stabis* «камень», латыш. *stabs* «столб, колонна» из и.-е. $*stabhi-s$; ср. др.-в.-нем. *staben* «*starr, steif sein*». Эти слова восходят к и.-е. корню $*(s)tebh-$, $*(s)tēbh-$, $*(s)tabh-$, $*(s)tembh-$ (наряду с этим встречаются формы и с p и b). К этим словам принадлежат также: сабинское слово *teba* «холм, склон», которое может быть оскско-умбрским из и.-е. $*(s)tebā$ или латино-фалийским из и.-е. $*(s)tebhā$; имя *Taburnus mons* (с a из и.-е. ə); имя кампанской горы (и города) *Tīfāta* оскского происхождения (с i из ē ¹⁰⁹ и f из bh) из и.-е. $*(s)tebhā-tā$ ¹¹⁰; догреческо-малоазийское географическое название $\Theta\acute{\alpha}\beta\alpha\iota$, $\Theta\acute{\alpha}\beta\eta$ — имя городов в Беотии, Ахайе, Аттике, Мизии, близ Милета, в Памфилии из и.-е. $*(s)tebhā$.

Греческое слово $\acute{\alpha}\rho\tau\omicron\varsigma$ «хлеб» сопоставляется с баскск. *arto* «кукуруза». Однако их значения различны, и, с другой стороны, греческое слово имеет удачную этимологию как заимствование из иранского (персидского или мидийского); ср. ново-перс. *ārd*, курд. *ār* «мука», авест. *aša-* «перемолотый», хинди, бенгали *āfā* «мука» из индо-иранск. $*arta-$ < и.-е. $*al-$ «стр. причастие прош. времени «перемолотый» из и.-е. $*al-$ «молоть»¹¹¹. Слово $\acute{\alpha}\rho\tau\omicron\varsigma$ не встречается в Илиаде; оно упоминается только два раза в Одиссее в местах, которые можно считать более поздними. Обычное слово для обозначения хлеба в Илиаде и Одиссее — $\sigma\acute{\iota}\tau\omicron\varsigma$. Даль-

¹⁰⁵ Ср. В о i s a c q, Dictionnaire étymologique (под указанными словами); Р o k o r n y, Idg. etym. Wörterbuch, стр. 199; F. В e c h t e l, Die griechischen Dialekte, II, стр. 790.

¹⁰⁶ См. выше, стр. 60.

¹⁰⁷ Или контаминация $\Gamma\acute{\iota}\nu\alpha + \epsilon\tilde{\beta}\omega$. Или $*\beta\eta\nu\alpha$ < догр. $(\acute{\iota}) * \Gamma\acute{\alpha}\nu\alpha$ из и.-е. $*uoinā$.

¹⁰⁸ Ср. F. В e c h t e l, Die griechischen Dialekte, II, стр. 672 и сл.

¹⁰⁹ Ср. C. D. В u c k, Oscan-Umbrian, 2-е изд., стр. 33.

¹¹⁰ См. также и E r n o u t—M e i l l e t, Dictionnaire étymologique, 2-е изд. (под *tīfata*).

¹¹¹ См. M a c c a r r o n e, «Archivio glottologico Italiano», XXX, 1938, стр. 120.

ше *ἄρτος* встречается один раз у Гесиода, потом у Архилоха из Пароса, у Геродота (происходившего из Малой Азии), у Гиппократы (родом с острова Кос) и т. д. Это ясно показывает, что малоазийские греки (ионийцы) заимствовали это слово (непосредственно или косвенно) у мидийцев или персов в период их владычества в Малой Азии:¹¹² по всей вероятности, оно было присуще ионийскому диалекту, из которого перешло в другие диалекты (путем распространения ионийской поэзии и прозы).

Греч. *σῖτος* «пшеница, мука, хлеб, еда» сопоставляется с баскск. *zitu* «злак, урожай, плод». Однако значения этих слов различны, а кроме того, греческое слово имеет надежную индоевропейскую этимологию: оно восходит к и.-е. **k̑ȋdo-s*, **k̑eido-s* или **k̑eito-s* и соответствует гот. *hwaiteis* «пшеница» из и.-е. **k̑ȋoid-*, ср.-англ. *white* «вид пшеницы» из и.-е. **k̑ȋd-*¹¹³. С другой стороны, в хамитических языках встречается подобное слово: егип. *sw.t*, коптск. **sūt* «зерно». Так как в баскском имеются хамитические заимствования, то баскское слово, если это не случайность, могло бы быть заимствованным из хамитического языка (египетского или ливийско-берберского).

Греческое слово *πῦρος* «пшеница» сопоставляется с груз. *piri* «хлеб, пшеница» и испанск. (диал.) *poropa* «мука», *boropa* «кукурузный хлеб». Однако греческое слово имеет точные соответствия в древнеиндийском, славянских, балтийских и германских языках, которые не могут быть объясненными как пиренейско-кавказские заимствования¹¹⁴. Наоборот, так как в грузинском имеется много заимствований из различных индоевропейских языков, то и в данном случае, если это не простая омонимия, грузинское слово могло быть заимствовано из какого-нибудь индоевропейского языка.

Такой же характер имеют и остальные доказательства предполагаемого родства пиренейско-кавказских языков, которые приводит Губшмид. В своих предположениях автор исходит из фантастической теории О. Менгина и из невероятного предположения П. Кречмера¹¹⁵ о ретотирренской прародине; следовательно, и его доводы не могут быть иными.

Вообще панмедиетеранистская теория черпает свои аргументы из предполагаемого единства средиземноморской топонимики. Однако характерные черты древней эгейско-малоазийской топонимики отсутствуют в других средиземноморских областях. Аргументы в пользу языкового единства древних средиземноморских племен и народов оказываются ошибочными сравнениями случайных омонимий или же эгейско-малоазийскими, семитическими и иными именами, перенесенными в разные места греческими, этрусскими, финикийскими и крито-микенскими колонистами¹¹⁶.

В конце следует подчеркнуть, что на нынешнем этапе исследований нет никаких оснований считать шумерский или эламский родственными какой-либо из упомянутых языковых групп.

¹¹² См. об этом V. Georgiev, «Indogermanische Forschungen», LX, 1950, стр. 171 и сл.

¹¹³ См. V. Georgiev, Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur, I, стр. 73.

¹¹⁴ См. Boisacq, Dictionnaire étymologique, стр. 829.

¹¹⁵ См. J. Hubschmid, Sardische Studien, стр. 91 и сл. и 119.

¹¹⁶ В. Бертольди, один из самых страстных приверженцев панмедиетеранистской теории, считает, что существование общего языкового фонда для всего Средиземноморья еще не доказано, но что эта гипотеза должна быть «теоретической предпосылкой» (premissa teorica) исследования; ср. «Archivio glottologico Italiano», XXXI, 1939, стр. 99. А. С. Чикобава также не считает убедительными предшествующие попытки доказать родство между кавказскими языками, с одной стороны, и шумерским, эламским, лидийским, карийским и т. д., с другой (см. указ. соч., стр. 227).

*

Исследования в области малоазийских языков получили бы значительный толчок вперед, если бы в нашем распоряжении находилась авторитетная подробная сравнительно-историческая грамматика, а также и хороший этимологический словарь кавказских языков. Следует окончательно уточнить вопрос о родстве северных и южных (картвельских) кавказских языков: существуют ли действительно родственные отношения между ними и, если существуют, то какова степень родства (более близкое или более отдаленное)? Далее, следует изучить основательно древние переднеазиатские языки (хаттский, хурритский и т. д.), с учетом их возможного родства с кавказскими языками. Это — важные задачи, стоящие перед кавказоведами. Их разрешение поможет в деле выяснения проблем генезиса эгейско-малоазийских и переднеазиатских племен и народов.

Исследования древних средиземноморско-переднеазиатских языков сопряжены со значительными трудностями — как в связи с тем, что дело касается разнообразнейших языков, с которыми человек не может быть одинаково хорошо ознакомлен, так и из-за скудости материалов для некоторых из них или отсутствия углубленных исследований. Поэтому в данной области приходится работать на основании гипотез, более или менее правдоподобных. Однако эти гипотезы должны базироваться на фактах, а не на предвзятых концепциях. Панмедитеранистско-переднеазиатские построения, вроде фантазий Н. Я. Марра, Ш. Отрана, К. Оштира, И. Карста, Дж. Алессіо¹¹⁷, О. Менгина и некоторых других авторов, несколько не содействуют прояснению вопроса о древних языках Средиземноморья.

¹¹⁷ Дж. Алессіо не постеснялся включить в орбиту панмедитеранизма даже части Прибалтики. См. «Studi Etruschi», XIX, 1946/7, стр. 141 и сл.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ СТИЛИСТИКИ

И. Р. ГАЛЬПЕРИН

РЕЧЕВЫЕ СТИЛИ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА

Вопросы стилистики в последнее время все больше и больше начинают привлекать к себе внимание лингвистов, интересы которых не ограничиваются проблемами историко-грамматического анализа фактов языка. Однако до сих пор нет более или менее ясного представления о том, что составляет предмет этой науки. Очевидно поэтому некоторые наши лингвисты вообще отрицают существование стилистики. Отрицание стилистики как науки основывается обычно на том, что понятия, которыми оперирует стилистика, якобы не вычлениются из других разделов науки о языке: выразительные средства языка — не предмет стилистики, а предмет грамматики и лексикологии; язык и стиль писателя — это дело литературоведов, для которых язык — «первоэлемент» литературы; что же касается речевых стилей, то, как об этом пишет в своей дискуссионной статье Ю. С. Сорокин, таких вообще не существует¹.

Есть ли необходимость доказывать объективное существование различных стилей языка? Мне кажется, такой необходимости нет. Достаточно даже не искушенному в анализе языковой формы читателю показать образцы делового письма и стихотворного произведения, чтобы он увидел существенные различия в использовании общепринятого литературного языка. Дело ведь не в самом термине «стиль языка». Можно условно договориться и о другом термине для обозначения явления, объективно существующего и осознанного коллективом, говорящим на данном языке. А осознанным представляется факт наличия в языках, имеющих длительную историю развития письменной литературы, определенных, более или менее замкнутых систем, отличающихся друг от друга особенностями использования языковых средств. Именно этот с и с т е м н ы й характер использования языковых средств (под системным характером использования языковых средств понимается их взаимообусловленность и их взаимоотношения внутри данного стиля речи) приводит к тому, что в различных сферах употребления языка нормализуется выбор синтаксических

¹ Исходя из правильного положения о том, что отдельные черты, хотя бы и существенные, не составляют еще стиля речи, Ю. С. Сорокин приходит к отрицанию стилей вообще. В результате анализа небольшого отрывка из научного текста, не сделав даже попытки рассмотреть отдельные черты его языка в их взаимосвязи и взаимообусловленности, Ю. С. Сорокин приходит к выводу об отсутствии стилей языка как особых систем. Его положение о том, что «каждое высказывание... каждый контекст обладает стилем», перекликается с бюфоновским «стиль — это человек». Понятие языкового стиля, таким образом, растворяется и смешивается с понятием индивидуального стиля. Говоря о факторах, определяющих выбор тех или иных языковых средств, Ю. С. Сорокин совершенно не учитывает соотношения общего и частного. Действительно, выбор средств языкового выражения зависит от конкретного содержания высказывания, от функции, назначения речи. Но отдельные сферы действия языка часто характеризуются общностью цели, содержания, функции. И эта общность создает условия для более или менее четкой нормализации выбора языковых средств.

конструкций, словоупотребление, характер применения образных средств языка и т. д.

Трудность определения различий между речевыми стилями заключается в том, что до настоящего времени еще ни один из них не исследован с точки зрения системности средств языкового выражения. В лингвистической литературе можно найти лишь анализ отдельных разрозненных черт того или иного стиля. Так, например, А. Н. Гвоздев в своих «Очерках по стилистике русского языка»², делая весьма интересные наблюдения над «элементами синтаксиса научной речи», не касается других, не менее существенных языковых черт этого стиля и не характеризует его в целом.

Определение своеобразия речевого стиля по одной или даже нескольким особенностям языкового выражения представляется неправомерным. Такой подход неизбежно приводит к «закреплению» за речевыми стилями отдельных элементов языка³. Но ведь очевидным является тот факт, что те или иные лексические средства, отдельные структурные особенности предложений, образные средства языка и др. не принадлежат к какому-то определенному стилю речи. Нет особого синтаксиса научной речи. Сложные предложения с четко выраженной дифференциацией средств союзного подчинения характерны не только для стиля научной речи, но также и для стиля официальных документов, и для стиля художественной литературы (ср., например, английские эссе XVIII и XIX в.). Нельзя считать исключительной принадлежностью стиля научной речи и специальную терминологию. Она разнообразно используется и в стилях газетном, деловом, и в художественной прозе⁴. К какому стилю речи принадлежат архаизмы? В английском языке они встречаются в исторических романах как средство стилизации; в ранней романтической поэзии — со специальной эстетической функцией, связанной с мировоззрением поэтов-романтиков; в стиле официальных документов архаизмы являются необходимым средством соотнесения языковой формы документа с языковыми особенностями кодексов и законоуложений; в изустной поэзии они представляют собой традиционный элемент народного творчества и поэтической фразеологии.

То же можно сказать и о других синтаксических и лексических средствах языка. Определить их исключительную принадлежность к тому или иному стилю речи, значит растворить понятие стиля в понятии языка. Это значит прийти к заключению о том, что нет языка вне стиля. Именно такой точки зрения придерживается Э. Г. Ризель, которая выделяет в литературном языке такие стили, как телеграфный, стиль радиовещания, устного официального общения, бытового общения и т. д.⁵ Но ведь таких стилей речи не существует. В самом деле, какая система средств языка характерна для телеграфного стиля? Ее нет. Эллиптичность, связанная с условиями общения, является единственной характерной чертой этого «стиля». Каковы особенности «стиля» радиовещания, отличающие его

² А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, М., Изд-во АПН РСФСР, 1952.

³ Ср., например, утверждение Р. Г. Пиотровского, что отдельные языковые элементы принадлежат тому или иному языковому стилю (Р. Г. П и о т р о в с к и й, О некоторых стилистических категориях, «Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 59). Ср. также следующее высказывание А. И. Ефимова: «Стили языка (публицистический, научный и т. д.) отличаются друг от друга главным образом по составу слов и выражений» (А. И. Е ф и м о в, Об изучении языка художественных произведений, М., Учпедгиз, 1952, стр. 61).

⁴ Ср., например, использование горнорудной и медицинской терминологии в романе А. Коптяевой «Иван Иванович».

⁵ См. Э. Г. Р и з е л ь, Проблема стиля в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, «Иностр. языки в школе», М., 1952, № 2, стр. 14.

от других стилей речи? При внимательном рассмотрении языковых средств, используемых в радиовещании, можно убедиться в том, что специфических особенностей здесь обнаружить нельзя. Это либо газетная информация, либо научно-популярный очерк, либо публицистическая статья и т. п. При таком неправомерно расширительном толковании стиля речи можно с равным основанием выделить и «стиль языка семейной ссоры», и «стиль языкового общения матери и ребенка» и др. Здесь смешиваются два явления: функционирование языка и стиль языка как общественно осознанная, нормализованная система средств выражения, обусловленная определенными целями общения.

Многообразные формы функционирования языка не всегда создают какую-то определенную систему: они часто определяются условиями общения. Поэтому представляется целесообразным различать особенности средств выражения, связанные с условиями общения, и особенности средств выражения, являющиеся результатом сознательного отбора этих средств для конкретных целей. Так, деление речи на устную и письменную, в основном, связано с условиями, в которых реализуется общение. Например, наличие в английском языке таких сокращенных форм, как *can't*, *I'll*, *he's* и др., является следствием убыстренного темпа речи, характерного для условий устного общения. Нет нужды повторять общеизвестные положения о диалогической форме речи, эллиптических оборотах, большей эмоциональной окрашенности устной речи и пр. Важно подчеркнуть, что многие своеобразные черты устной (разговорной) речи определяются непосредственным общением говорящих. Это обстоятельство, несомненно, накладывает свой отпечаток на структурно-грамматические и логические свойства устной (разговорной) речи.

Характер письменной речи также во многом определяется специфическими условиями, в которых протекает общение, — отсутствием собеседника в момент выражения мысли. С этим связана более тщательная обработка речи, стремление компенсировать отсутствие своеобразных средств живой разговорной речи средствами лексическими, синтаксическими, композиционными.

Учитывая различия устной и письменной речи, с одной стороны, и различия между стилями речи, с другой, целесообразно во избежание терминологической путаницы по-разному называть эти явления. Можно условно назвать формы речи, связанные с теми или иными конкретными условиями общения, т и п а м и речи, а формы речи, представляющие «целесообразно организованные системы средств выражения», — с т и л я м и речи. И устный, и письменный типы речи могут в процессе своего развития и совершенствования вырабатывать свои стили, закрепленные общественной практикой. Но наиболее четко выступают стили письменного типа речи. В устном типе речи, пожалуй, только форма изустной поэзии выделяется системой своих средств выражения и поэтому может быть названа стилем. Формы же бытового общения, как было сказано выше, такой системой не обладают и поэтому не должны рассматриваться как стили речи.

Следует, однако, отметить, что устная речь еще почти не подвергалась научному анализу; даже характерные ее черты — лексические и синтаксические — часто рассматривались как нарушения или отклонения от языковых норм⁶. Однако «...трудность отыскания чего-либо не доказывает еще отсутствия искомого»⁷. Поэтому возможно, что при более тщательном

⁶ См. об этом в статье В. В. Виноградова «Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения» («Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 29).

⁷ Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1940, № 3, стр. 101.

анализе различных форм устного общения здесь будут обнаружены свои стили, характеризующиеся определенной системностью средств языкового выражения.

Осознание системы средств выражения в определенных целях общения представляется нам самым существенным моментом при выделении речевых стилей национального языка. Стил ь языка — это именно «...целесообразно организованная с и с т е м а средств выражения...»⁸ (разрядка моя. — И. Г.). Поэтому естественно, что при характеристике стилиа языка нельзя ограничиваться простым перечнем языковых средств. Необходимо определить, в каких взаимоотношениях эти средства находятся друг с другом, как они относятся к живым нормам общелитературного языка в целом.

В современном английском языке довольно четко вычлeняются из письменной литературной формы общенародного языка стили научной речи, деловых документов, ораторской речи, газетной информации, поэтический стил ь и др. Все они определяются целями коммуникации и характеризуются системой взаимообусловленных языковых средств. Так, например, для стилиа научной речи, задачу которого, в самых общих чертах, можно определить как доказательство тех или иных положений, характерно преобладание слов в их прямых, предметно-логических значениях, как наиболее полно и точно определяющих предмет или явление объективной действительности; отсюда — терминологический характер словаря и фразеологии. Необходимость точно обозначить явление вызывает потребность в дополнительных определительных словах и словосочетаниях. Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на синтаксическую структуру предложений, в которых появляется значительное количество атрибутивных словосочетаний типа *final-determinative compounds*; *n-forms*; *words in -ment*; *measurable quantity* («сложные слова, в которых последний элемент является определением»; «*n-формы*»; «слова на *-ment*»; «количество, которое можно измерить») и др.

Потребность в максимально точном обозначении проявляется и в создании терминологических новообразований. В английском языке для этого часто используются латинские и греческие корневые морфемы, удобные в силу своей однозначности, а также непродуктивные суффиксы современного английского языка (ср. *reactance* — *reaction* и др.)⁹. Другие особенности словаря и синтаксиса стилиа научной речи оказываются тесно связанными с названными выше и обусловлены основной задачей этого стилиа; таковы отсутствие или чрезвычайно ограниченное использование образных средств языка, разветвленная и упорядоченная система [связей между отдельными частями высказывания, частое употребление причастных, инфинитивных и герундиальных оборотов и др.

Выделяется в современном английском языке и стил ь деловых и официальных документов, выработанный в условиях, специфических для развития английского литературного языка, и связанный с конкретной историей и практикой английской юриспруденции. Задача этого стилиа — достижение договоренности об условиях взаимных отношений, прав, обязанностей и пр. — определяет собою наличие своеобразной системы взаимообусловленных средств выражения. Наличие архаических слов и конструкций, условные формулы обращений и концовок, длинные периоды,

⁸ В. В. Виноградов, О задачах истории русского литературного языка, преимущественно XVII—XIX вв., «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1946, вып. 3, стр. 225.

⁹ Об аналогичных явлениях во французском языке см. в статье М. С. Гурьевой «О закономерностях в словообразовании романских языков» («Вопросы языкознания», 1954, № 1, стр. 70).

нумерация вместо связующих элементов языка, условные сокращения, специфическая фразеология и терминология — вот примерный перечень языковых средств, в своей совокупности характеризующих стиль английских официальных документов.

В литературном языке выделяется особо стиль поэтический (в широком смысле этого слова) с его разновидностями: художественной прозой и поэзией. «В художественной литературе, — пишет акад. В. В. Виноградов, — общенародный, национальный язык со всем своим грамматическим своеобразием, со всем богатством и разнообразием своего словарного состава используется как средство и как форма художественного творчества. Иначе говоря, все элементы, все качества и особенности общенародного языка, в том числе его грамматический строй, его словарь, система его значений, его семантика, служат здесь средством художественного, обобщенного воспроизведения и освещения общественной действительности»¹⁰.

Особенность и своеобразие этого стиля речи, следовательно, заключается не столько в отборе тех или иных средств языка, сколько в использовании этих средств в целях «художественного, обобщенного воспроизведения и освещения» жизни и деятельности общества. В отличие от буржуазной науки, рассматривающей стиль художественной литературы как проявление творческой личности, которой мешает общенародный язык¹¹, советская наука изучает язык художественной литературы как индивидуальное использование общенародного языка. При этом необходимо разграничить, с одной стороны, понятие поэтического стиля вообще и, с другой стороны, понятие индивидуально-художественного стиля писателя как частного проявления закономерностей поэтического стиля.

Индивидуально-художественный стиль противопоставляется функциональным стилям языка по разным направлениям. Представляя собой, как и функциональные стили, определенную систему средств выражения, он не может, по самому содержанию понятия, быть системой, нормализованной общественным коллективом. Система индивидуально-художественного стиля характеризуется своим индивидуальным своеобразием отбора, организации и творческой обработки языковых средств.

С точки зрения проявления индивидуального в использовании языковых средств речевые стили литературного языка допускают значительную амплитуду колебаний. Такие стили речи, как, например, стиль официальных документов, стоят на грани почти безличного творчества. Индивидуальная манера выражения здесь почти полностью отсутствует. Действительно, можно ли усмотреть какую-нибудь индивидуальную особенность в приказах, деловых письмах, уставах и др.? Проявление индивидуального в таких стилях речи обычно рассматривается как нарушение установленных норм данного литературного стиля речи. То же можно сказать и о разновидности газетного стиля — газетных сообщениях, которые тоже проявляют своего рода безразличие к личности пишущего. Несколько иначе обстоит дело с другой разновидностью газетного стиля — газетными статьями, хотя и здесь проявление индивидуального в значительной степени ограничено общими закономерностями газетного стиля.

В стиле научном проявление индивидуального становится вполне допустимым. Но показательно, что в отношении этого стиля можно говорить о проявлении индивидуального лишь как о чем-то допустимом, а не как

¹⁰ В. Виноградов, Некоторые вопросы советского литературоведения, «Лит. газета» 19 V 51.

¹¹ Ср., например, следующее определение художественного стиля у Вандриеса: «„Художественный стиль“ — это всегда реакция против общего языка; в известной мере — это арг, литературный арг, который может иметь различные разновидности...» (Ж. Вандриес, Язык, М., Соцэкгиз, 1937, стр. 251—252).

об органическом качестве стиля. И все же стиль научной речи значительно дальше отстоит от того «безличного творчества», которое характеризует некоторые другие речевые стили (см. выше).

Стиль ораторской речи стоит как бы на грани между общенародными речевыми стилями и стилем индивидуально-художественным. Своеобразное взаимодействие, с одной стороны, норм этого стиля, обусловленных целями общения, и, с другой стороны, индивидуально-художественной творческой манеры оратора создает предпосылки для значительного разнообразия в отборе и использовании языковых средств. И тем не менее это разнообразие ограничено общими нормами ораторского стиля, которые выработаны в данном национальном литературном языке в данный исторический период его развития. Так, например, для ораторского стиля английского литературного языка XIX в. типично построение предложений в параллельных конструкциях по принципу нарастания, обилие риторических вопросов, синонимические повторы и др. Такое нагромождение стилистических приемов, хотя и могло идти в ущерб доказательной силе аргументации, считалось, однако, необходимым условием стиля. И лучшие образцы ораторской речи Англии XIX в. часто скованы этими общепринятыми канонами ораторской речи. Но само обилие и разнообразие допускаемых этим стилем средств эмоционального воздействия создает условия для индивидуального творчества в рамках данного речевого стиля.

Проявление индивидуального в стиле поэтическом (в широком смысле этого слова) является едва ли не основным требованием этого стиля. Возникает вопрос: не разрушается ли этим требованием единство поэтического стиля именно как стиля, в том понимании, которое изложено в настоящей статье? Нам представляется, что такой стиль с его разновидностями (стихотворная речь, художественная проза, драматургия и пр.) выделяется как самостоятельный стиль литературного языка. Объединяющим фактором здесь является то, что «художественная литература возмывается на базе общенародного языка посредством его *о б р а з н о э с т е т и ч е с к о й т р а н с ф о р м а ц и и*» (разрядка моя. — *И. Г.*)¹². Следовательно, то, что в других стилях речи появляется эпизодически и нерегулярно — образная интерпретация фактов и явлений окружающей жизни — в поэтическом стиле становится его основным и определяющим признаком.

*

Говоря о речевых стилях общенародного языка, приходится оперировать такими терминами, как «стилистические средства языка», «выразительные средства языка». Точное определение этих понятий представляется существенно необходимым, так как само разграничение стилей речи основано на отборе и взаимодействии выразительных и стилистических средств языка.

С позиций нормативной грамматики выразительные (или стилистические) средства языка понимаются очень широко: в разряд выразительных средств языка зачисляется всякое отклонение от традиционных схем письменной речи, лишенной эмоциональной характеристики; как выразительные средства рассматриваются разнообразные эллиптические обороты, инверсии, повторы, обособленные обороты и т. д. К выразительным средствам относится часто и использование разговорной лексики.

Прежде всего, надо иметь в виду, что никакой резкой грани между эмоциональной речью в широком смысле этого слова и речью неэмоциональ-

¹² В. Виноградов, Некоторые вопросы советского литературоведения.

ной, или, как ее часто называют, речью логической, провести невозможно. Логическая речь может иметь эмоциональную окраску, эмоциональная речь может быть строго логически построенной.

Известно, что нормативные грамматики до настоящего времени мало занимались так называемым экспрессивным синтаксисом. Почти любое средство логического выделения отдельных частей высказывания обычно рассматривается как стилистическое средство. С другой стороны, многие морфологические и синтаксические правила логического и эмоционально окрашенного оформления предложения вообще не изучаются в грамматиках. Так, например, в английских грамматиках не делается никакого различия между следующими двумя видами инверсии: *Never have I seen such a film* «Никогда не видел я такого фильма» и *Talent mr. Micawber has, capital mr. Micawber has not* «Талант у м-ра Микобера есть, денег у м-ра Микобера нет». И первый и второй вид инверсии служат целям эмпазы. Однако между ними есть существенная разница. Первый вид инверсии грамматически нормализован, иными словами, такой тип построения, при необходимости выделения определенной группы наречий, является грамматической нормой языка. Совсем иной характер имеет инверсия в предложении типа *Talent mr. Micawber has, capital mr. Micawber has not*. Здесь постановка дополнения на первое место не влечет за собой инвертированного порядка подлежащего и сказуемого. Первый тип инверсии является выразительным средством английского языка, грамматически узаконенным как средство логического выделения определенной части предложения. Второй тип инверсии — стилистический прием — не может быть подведен под определенное правило построения предложений.

Возьмем два других предложения: *The second World Youth Festival took place in Budapest* «Второй международный фестиваль молодежи состоялся в Будапеште» и *It was in Budapest that the second World Youth Festival took place* «В Будапеште [а не в другом городе] состоялся Второй международный фестиваль молодежи». Эти два предложения можно рассматривать как своего рода синтаксические синонимы. Первое предложение в сопоставлении со вторым не несет в себе эмпазы; синтаксическая структура его характеризуется своего рода нейтральностью. Второе предложение использует средства, предусмотренные правилами английского синтаксиса для эмпатического выделения обстоятельного оборота; такая эмпаза может быть названа логической: для выделения какого-либо члена предложения в логическом плане в английском языке необходимо использование оборота *it is... that*.

Однако область экспрессивного синтаксиса в английской грамматике еще недостаточно исследована. Еще менее разработана область синтаксиса эмоциональной речи. И можно сказать без преувеличения, что стилистический синтаксис совсем не исследован.

Чем же отличается стилистическое средство (или, что то же самое, стилистический прием) от выразительных средств, наличествующих в литературном языке? Стилистический прием есть обобщение, типизация, сгущение объективно существующих в языке фактов, средств для выражения мысли. Это есть не простое воспроизведение этих фактов, а творческая их переработка. Это творческое использование реальных возможностей языкового выражения может принимать иногда причудливые формы, граничащие с парадоксальностью употребления, с гротеском. Любое выразительное средство языка может быть использовано как стилистический прием, если оно типизировано и обобщено для определенных целей художественного воздействия. Теория художественной речи, если можно так назвать один из разделов стилистики языка, уже отобрала ряд таких приемов, наиболее часто встречающихся в языке художественной литера-

туры, и выявила определенные закономерности в характере их употребления.

Возьмем для примера один из стилистических приемов, получивших, начиная с XIX в., широкое распространение в художественной литературе — прием несобственно-прямой речи. Как и всякий другой стилистический прием художественного изображения, несобственно-прямая речь есть обобщение объективных фактов языка. Это — результат литературно-языковой обработки явления, известного под названием внутренней речи, которая имеет свои специфические особенности. Своеобразие внутренней речи определяется прежде всего тем, что она не имеет функции коммуникации: здесь реализуется только одна функция языка — функция выражения мысли, причем реализация эта имеет свои особенности.

Несобственно-прямая речь как форма литературной обработки наиболее типических черт внутренней речи качественно ее изменяет. Прежде всего, несобственно-прямая речь выполняет функцию коммуникации; это обстоятельство существенно трансформирует внутреннюю речь. Несобственно-прямая речь получает своеобразное синтаксическое, морфологическое и лексическое оформление; однако это оформление не превращает ее ни в прямую речь героя, ни в косвенную речь автора. Характер литературной обработки внутренней речи в английском языке таков, что благодаря особой системе сочетаний языковых средств достигается парадоксальный эффект слияния речи автора и героя.

Возьмем для примера следующий отрывок:

Annette! Ah! but between him and Annette was the need for that wretched divorce suit! And how?

«A man can always work these things, if he'll take it on himself» Jolyon had said.

But why should he take the scandal on himself with his whole career as a pillar of the law at stake? It was not fair! It was quixotic! (Calsworthy)

«Аннет! Да, но между ним и Аннет — неизбежность этого проклятого бракоразводного процесса. И как это все устроить?

„Мужчина всегда может этого добиться, если возьмет вину на себя“, — сказал Джолион.

Но зачем ему брать на себя весь этот позор и рисковать всей своей карьерой незыблемого столпа закона? Это несправедливо! Это донкихотство!»

Этот отрывок грамматически оформляется по правилам построения косвенной речи: местоимения — в третьем лице, глаголы — в формах прошедшего времени. С другой стороны, синтаксико-стилистическое оформление этого отрывка характерно для прямой речи: обилие присоединительных конструкций, наличие восклицательных предложений и междометий, инвертированный порядок слов в вопросительных предложениях, эллиптические обороты, умолчания и пр. Такая контаминация форм поддерживается своеобразным использованием лексико-фразеологических средств; некоторые из них выбраны с целью создать впечатление речи самого героя; другие характерны для речи автора¹³.

Среди выразительных средств художественной речи часто упоминают всякого рода эллиптические обороты, без учета того, где, в каких усло-

¹³ Творческое использование несобственно-прямой речи характеризуется большим разнообразием. В статье Н. Ю. Шведовой «К вопросу об общенародном и индивидуальном в языке писателя» («Вопросы языкознания», 1952, № 2, стр. 104—125), хотя и спорной в ряде положений, дан интересный анализ своеобразия индивидуального применения этого стилистического приема.

виях и для каких целей они используются. Однако эллиптические обороты — вполне узаконенная норма устной разговорной речи. Предложения типа *Where to?* «Куда?» как вопрос, заданный собеседнику после сообщения последнего — *I'm leaving tomorrow* «Я уезжаю завтра», представляя собой эллиптические обороты, не являются в то же время особыми выразительными средствами языка, поскольку они не несут никакой стилистической функции. Здесь нет и типизации явления в целях использования его для каких-то стилистических заданий. Другое дело, например, эллиптический оборот, использованный Т. Драйзером в авторской речи, в которой дается оценка выступления судьи — одного из персонажей «Американской трагедии». Вот это предложение: *So Justice Oberwalzer — solemnly and didactically from his high seat to the jury.*

Здесь эллиптический оборот несет явную стилистическую функцию: автор выступает в роли свидетеля циничной и наглой по своей форме речи главного судьи и, как бы не в силах сдержать своего возмущения, не заботится о логической оформленности высказывания¹⁴. Следовательно, не всякий пропуск сказуемого, не всякий эллиптический оборот сам по себе является выразительным средством языка.

Возьмем для анализа еще один стилистический прием — прием повтора. Известно, что возбужденная, экспрессивно окрашенная речь характеризуется не только фрагментарностью, некоторой алогичностью построений, но и повторением отдельных частей высказывания. Такое повторение слов и целых сочетаний в эмоционально-возбужденной речи является своеобразной закономерностью языка и не несет какой-либо особой стилистической функции. Ср., например, в речи Наташи Ростовой: «Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки» (Л. Толстой, *Война и мир*). Или в речи Долли: «Уйдите, уйдите, уйдите! — не глядя на него вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физической болью» (Л. Толстой, *Анна Каренина*).

Эмоциональная экспрессивность повторения слов здесь основана на соответствующем интонационном оформлении высказывания и выражает определенное психическое состояние говорящего. Характерно, что в авторской речи дается указание на такое состояние («...страстным движением»); «...как будто крик этот был вызван физической болью»). Совершенно другую функцию приобретает повторение слов в стихотворении Лермонтова «Кинжал»: «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, Как ты, как ты, мой друг железный». Здесь повтор слов использован как стилистический прием, рассчитанный на то, чтобы вызвать нужную эмоциональную реакцию. Если в эмоционально-возбужденной речи повторение слов выражает определенное психическое состояние говорящего и не рассчитано на какой-либо эффект, то повторение слов в авторской речи не является следствием такого психического состояния и представляет собою определенный стилистический прием¹⁵.

Стилистические функции повторов (как и других стилистических средств) могут быть вскрыты лишь при конкретном анализе соотношения самого приема и содержания речи. Так, например, в стихотворении Т. Гуда

¹⁴ В печатном переводе это стилистическое использование эллипсиса не передано: «Так торжественно и поучительно судья Оберуолцер напутствовал присяжных с высоты своего судейского кресла» (Т. Драйзер, Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1950, стр. 372).

¹⁵ Не случайно, что повторы как стилистическое средство в пособиях по теории словесности классифицируются по своим композиционным характеристикам: они делятся на анафору, эпифору, подхват, обрамление и др. Сама попытка классификации повторов по их архитектурным признакам свидетельствует о том, что это есть явление литературно обработанное.

«Песнь о рубашке» посредством повтора передается однообразие, монотонность изнурительной работы швеи:

<i>Work — work — work!</i>	«Работай! Работай! Работай!
<i>Till the brain begins to swim!</i>	Пока не сожмет головы как в тисках!
<i>Work— work — work!</i>	Работай! Работай! Работай!
<i>Till the eyes are heavy and dim!</i>	Пока не померкнет в глазах!
<i>Seam, and gusset, and band,</i>	Строчку — ластовку — ворот —
<i>Band and gusset, and seam,—</i>	Ворот — ластовку — строчку...
<i>Till over the buttons I fall asleep,</i>	Повалит ли сон над шитьем — и во сне
<i>And sew them on in a dream!</i>	Строчишь все да рубишь сорочку».

(Перевод М. Михайлова)

Интересно отметить, что стилистический повтор в этом стихотворении несет в себе, кроме эмоциональной функции, еще и смысловую нагрузку: мысль об изнурительном, однообразном и непрерывном труде во второй, четвертой, седьмой и восьмой строках выражена не конкретными значениями слов, а образными средствами языка.

Использование повтора в качестве литературного стилистического приема нужно отличать от повторов, которые служат одним из средств стилизации. Так, известно, что устная народная поэзия широко пользуется повторением слов в разнообразных целях: замедления повествования, придания песенного характера сказу и др. Именно такие повторы часто являются приемом стилизации. Однако в этом случае литературная обработка народной речи качественно отлична от стилистического приема, применяемого в художественной литературе и носящего название повтора: стилизация есть непосредственное воспроизведение фактов народного творчества; стилистический прием только опосредствованно связан с наиболее характерными чертами разговорной речи или с формами устного творчества¹⁶.

В английской поэзии можно проследить приемы литературной обработки фольклорно-песенных повторений. Ср. в стихотворении Р. Бернса:

*My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands achasing the deer,
Chasing the wild deer and following the roe.
My heart's in the Highlands wherever I go.*

«В горах мое сердце.. Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу».

(Перевод С. Маршака)

Примером использования повтора для создания образного, зрительно осязаемого представления может служить следующее место из «Записок Пикквикского клуба» Диккенса:

¹⁶ Интересно, что А. А. Потебня усматривает использование фольклорных традиций в повторении слов и словосочетаний в «Мертвых душах» Гоголя. «Как в народном эпосе,— пишет Потебня,— вместо ссылок и указаний на вышеизложенное — буквальное повторение его (что образнее и поэтичнее); так Гоголь — в пределах периода, когда речь становится более одушевленной (затем, как манера)...» (А. А. П о т е б н я, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 352). Здесь обращает на себя внимание противопоставление «одушевленной речи» и «манеры». Под одушевленной речью, очевидно, надо понимать эмоциональную функцию этого языкового средства; под манерой — индивидуальное использование повтора как стилистического приема.

Goswell Street was at his feet, Goswell Street was on his right hand — as far as the eye could reach, Goswell Street extended on his left; and the opposite side of Goswell Street was over the way.

«Улица Госуел была у его ног, улица Госуел тянулась направо — на далекое расстояние, улица Госуел простиралась налево от него, и на другой стороне была та же улица Госуел».

Размер данной статьи не позволяет дать хотя бы беглый обзор других стилистических приемов. Однако и приведенных примеров достаточно, чтобы сделать вывод о необходимости более глубокого лингвистического исследования стилистических приемов художественной изобразительности. Отсюда, однако, не следует, что выразительные средства языка не являются предметом изучения стилистики. Если стилистические приемы (средства) изучаются только стилистикой, то выразительные средства как такие факты языка, которые несут в себе особые оттенки значений логического или эмоционального характера, изучаются не только стилистикой, но и другими разделами языкознания — лексикологией, грамматикой, фонетикой. Задачи изучения выразительных средств языка у этих наук разные, предмет — один.

Подводя итоги сказанному, можно определить предмет и задачи стилистики следующим образом: стилистика — это наука о способах и путях использования выразительных средств языка и стилистических приемов в различных стилях литературного языка; о типах речи и речевых стилях данного литературного языка; о соотношенности средств выражения и выражаемого содержания.

Проблема стилистических приемов, возникающих на базе выразительных средств языка, и проблема речевых стилей оказываются тесно переплетенными, так как «... чтобы распознать и выделить в литературном языке той или иной эпохи общественно-осознанные его стили, необходимо отчетливо представлять всю совокупность систем разных средств литературно-языкового выражения, характерных для этого времени»¹⁷.

Большое значение для правильного понимания природы стилистических средств языка имеет определение типического, данное Г. М. Маленковым в отчетном докладе XIX съезду партии: «...типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. В марксистско-ленинском понимании типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее. Типичность соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным. Сознательное преувеличение, заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее»¹⁸. В данной статье была сделана попытка показать, что стилистические приемы (средства), обобщая и заостряя типические явления языка, не исключают этой типичности, а полнее раскрывают и подчеркивают ее. Изучение речевых форм выражения типического — важная задача, стоящая перед исследователями языка художественной литературы.

¹⁷ В. В. Виноградов, Содержание и задачи курсов по языковедческим дисциплинам в свете работ И. В. Сталина по языкознанию, сб. «Вопросы языкознания в свететрудов И. В. Сталина», М., Изд-во Моск. ун-та, 1950, стр. 222.

¹⁸ Г. М. Маленков, Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), Госполитиздат, 1952, стр. 73.

Г. В. СТЕПАНОВ

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ И НАУЧНОМ СТИЛЯХ РЕЧИ

Когда говорят о стилистике как науке, то приходят примерно к следующему определению: стилистика есть наука, изучающая разнообразные возможности организации речи в зависимости от содержания и определенной цели высказывания. Важнейший вопрос, от которого зависит само существование стилистики как науки, на наш взгляд, следующий: можно ли принципиально выявить своеобразие организации языкового материала (языковедческая проблема) в соответствии с содержанием и целью высказывания (вопросы, по существу, лежащие вне компетенции лингвиста).

Язык, как известно, является не только средством общения и воплощения мысли, но и орудием познания. Роль языка в познании состоит в том, что в словах и в соединении слов в предложении он закрепляет результаты работы мышления, отражает процесс познавательной работы человека. Вполне закономерно, что между различными формами и способами познания, с одной стороны, и языковыми средствами выражения познанного и познаваемого — с другой, устанавливаются определенные связи. Языковая оболочка мысли, а также содержание мысли и процессы мышления только тогда обретают действительность, когда они находятся в целесообразном единстве. Как же создается это единство? Остановимся в связи с этим на выяснении своеобразия использования языка в двух различных сферах человеческой деятельности: в художественном творчестве и в науке.

И наука, и искусство имеют своей целью познание объективной реальной действительности. Следовательно, их сближает единство целей и предмета. Но при всем этом, как говорил Белинский, «.. ни наука не может заменить искусства, ни искусство науки»¹. Наука и искусство представляют собой различные формы познания окружающего мира и предполагают различные способы отражения действительности. «Философ говорит силлогизмами, — писал Белинский, — поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, д о к а з ы в а е т, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, п о к а з ы в а е т в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один д о к а з ы в а е т, другой п о к а з ы в а е т, и оба у б е ж д а ю т, только один — логическими доводами, другой — картинами»².

¹ В. Г. Б е л и н с к и й, Избранные философские сочинения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 453.

² Там же.

Как известно, в науке единичное выступает в форме общего, а в искусстве общее выступает в форме единичного, конкретного. Отсюда следует, что результат научного познания сообщается в отвлеченной форме понятия, а результат художественного осмысления явлений объективной действительности выступает в конкретно-чувственной форме образа.

Приведем пример. Явление поляризации света акад. С. И. Вавилов определяет следующим образом: «При некоторых положениях Солнца на небе свечение неба, возникающее вследствие рассеяния солнечных лучей в атмосфере, оказывается сильно поляризованным, и тогда человек, обладающий названной способностью (способностью отличать поляризованный свет от неполяризованного. — Г. С.), видит на фоне неба слабую, желтую, снопообразную полоску»³.

То же явление художником конкретизируется, сообщается в чувственной форме образа: «...я невольно оставляю книгу, — читаем мы в XXXII главе „Юности“ Л. Н. Толстого, — и вглядываюсь в растворенную дверь балкона, в кудрявые висающие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает» (цит. по книге С. И. Вавилова «Глаз и солнце»).

Ср. также сопоставление двух различных форм выражения (художественной и научной) одной и той же мысли в следующем отрывке из книги К. А. Тимирязева «Чарлз Дарвин и его учение»: «Люди, готовые с восторгом повторять метафору поэта: „я царь — я раб, я червь — я бог“, с ужасом пятятся перед хладнокровным, строго научным обсуждением того фактического смысла, который кроется под этой поэтической метафорой, считая самую попытку углубиться в эту мысль каким-то оскорблением человеческого достоинства... Как мало основательно это обвинение, можно видеть из следующих слов человека, которого два века отделяют от этого спора... „Опасно, — говорит Паскаль, — слишком ясно обнаруживать перед человеком его близкое сходство с животными, не указывая в то же время на его величие. Одинаково предосудительно внушать ему только понятия об его величии, не указывая на его низменные стороны. Еще предосудительнее оставлять его в неведении относительно того и другого. Но весьма полезно заставлять его одновременно иметь в виду и то и другое“»⁴.

Практика человеческого общения выработала определенные приемы и способы организации языкового материала в соответствии со спецификой научного и художественного познания. Различные задачи сообщения (доказательство и показ) неизбежно должны были наложить своеобразный отпечаток на форму научного и художественного сообщения. Чем же отличается языковая форма художественного сообщения от научного? Главным образом, той исключительной ролью, которая отводится в художественном произведении эмоционально-чувственной стороне языка. Хотя экспрессия во всех ее формах и разновидностях, равно как и ощущение стилистической тональности встречается на каждом шагу, пронизывая собой все области языковой практики, в том числе и практику научного общения и сообщения, — однако вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что в научном сообщении основное внимание привлечено к логической, а не к эмоционально-чувственной стороне излагаемого.

В художественном произведении язык широко используется для выражения чувственной достоверности. Ср. в связи с этим оценки, которые

³ С. И. Вавилов, Глаз и солнце, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, стр. 27.

⁴ К. А. Тимирязев, Чарлз Дарвин и его учение, М., Сельхозгиз, 1937, р. 105.

дает А. М. Горький мастерам художественного слова: «Вы привлекли меня к себе,— пишет он М. М. Пришвину,— целомудренным и чистейшим русским языком Ваших книг и совершенным умением придавать гибкими сочетаниями простых слов почти физическую ощутимость всему, что Вы изображаете»⁵. И далее: «Писать пейзаж словами у нас многие очаровательно умели и умеют. Стоит вспомнить И. С. Тургенева, аксаковские „Записки ружейного охотника“, превосходные картины Льва Толстого. А. П. Чехов „Степь“ свою точно цветным бисером вышил. Сергеев-Ценский, изображая пейзаж Крыма, как будто Шопена на свирели играет»⁶.

В статье «О том, как я учился писать» А. М. Горький замечает: «Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и, когда я впервые увидел картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака... Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя»⁷. «Одно дело — „окрашивать“ словами людей и вещи,— пишет Горький,— другое — изобразить их так „пластично“, живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев „Войны и мира“ у Толстого»⁸.

Отсюда нельзя, конечно, сделать заключения о том, что художник слова, будто бы, не идет дальше фиксации чувственных восприятий: образность в искусстве вовсе не означает отсутствия понятий и их логической связи. Но сопоставление художественного описания с научным заставляет нас в первую очередь обратить внимание на эмоционально-чувственную, а не на реально-логическую сторону художественной речи.

История возникновения научных стилей, несмотря на разнообразие индивидуальных стилевых манер, явно обнаруживает общую тенденцию, которая выражается в том, что стилеобразующим началом в них является логическая последовательность изложения и употребление слов в их реально-логическом значении. Так, например, стремление ученых Возрождения к синтетической сжатости научного описания⁹ заставляло их сознательно исключать из описания эмоционально-художественные и аффективные элементы изложения, которые воспринимались как нечто враждебное способу абстрактно-логического отображения природы. Художественный способ видения мира, который в течение продолжительного времени выступал в единстве с элементами научного познания, постепенно становился чуждым исследователю. Это «отчуждение» не могло не отразиться на приемах и способах словесного отображения исследуемых предметов и явлений. Явная и скрытая образность слов стала сознательно изгоняться, ибо она порождала ненужные ассоциации, затрудняла понимание сущности описываемых законов и всюду расставляла силки мышлению. Между прочим, использование латинского языка в научной сфере деятельности, а также попытки создания мирового искусственного языка науки явились своеобразным выражением крайних устремлений «автономизировать» научное изложение.

Стили языка не следует понимать как абсолютно замкнутые системы. Они создаются на базе средств общенародного языка и эволюционируют

⁵ М. Горький, О литературе. Литературно-критические статьи, М., «Советский писатель», 1953, стр. 242.

⁶ Там же, стр. 242—243.

⁷ Там же, стр. 324.

⁸ Там же, стр. 326—327.

⁹ Показательны высказывания древних греков и римлян, которые в качестве одного из важных достоинств речи называли «уместность» (*πρεπον*, *decorum*), т. е. соответствие речевых средств предмету высказывания (см. сб. «Античные теории языка и стили», ред. О. М. Фейденберг, М.—Л., Соцэкгиз, 1936, стр. 191, 196—197).

в его пределах. Прежде чем то или иное явление общенародного языка становится элементом какой-нибудь определенной стилистической системы, оно проходит сложный путь развития. Подчиняясь этой системе, слово или словосочетание не порывает связей с другими стилями речи (точно так же, например, как переход слов из одной категории частей речи в другую не обязательно предполагает абсолютный разрыв с той «категориальной средой», из которой они вышли). Например, такие слова, как *момент, масса, плотность, сила, работа, волна, поле*, получившие в научной речи терминологический смысл¹⁰, сохраняют и свои более общие, не-терминологические значения.

Самый факт рождения стилистических явлений — факт общенародный; стиль языка — такое же общенародное достояние, как и язык в целом. С другой стороны, развиваясь именно в системе определенного стиля или стилей, слово наиболее полно выявляет свои потенциальные возможности, обогащая тем самым общенародный язык. Так, слово *inertia*, будучи вовлечено в научный обиход, приобрело у Галилея точный терминологический смысл. На базе этого нового реально-логического значения («свойство тела сохранять свое состояние покоя или прямолинейного равномерного движения, пока какая-либо внешняя причина не выведет его из этого состояния») возникает новая образность, например: «Он думает и делает все как-то по инерции». Ср.: «И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть, по инерции» (А. Чехов, Скудная история). Так устанавливается взаимодействие научного и художественного стилей.

Поскольку предмет познания для искусства и науки является единым, то и границы между художественным и научным мышлением не абсолютны. Границы эти исторически меняются. «В эпоху Возрождения в Италии, — пишет Г. Недошивин, — научное изучение человеческого тела — анатомия — и живопись шли рука об руку в теснейшем взаимодействии друг с другом. Леонардо да Винчи исследовал структуру человеческого тела как ученый, и трудно сказать, были ли эти его научные занятия подспорьем для его живописного творчества или, наоборот, его художнические штудии — подготовительными моментами к научным выводам»¹¹. Индивидуальный стиль литературных произведений Леонардо свидетельствует не столько о смешении художественного и научного стилей, сколько о нерасчлененности обеих форм изложения. В этом отразились как индивидуальные особенности Леонардо да Винчи в подходе к явлениям познаваемой действительности, так и объективные связи между художественным и научным познанием.

Немецкий художник и ученый XVI в. А. Дюрер в своих научных трудах сознательно пытался избежать всякой художественности и образности. Однако он не мог этого сделать в той мере, в какой это ему хотелось: в немецком языке того времени не были выработаны соответствующие средства научного изложения. Пожалуй, именно этим следует объяснить «вынужденную» образность таких введенных Дюрером в немецкую научную литературу геометрических терминов, как *круглый котел* (полусфер), *яйца* (эллипс), *новый месяц* (*lunula*), *зубы вепря* (угол, составленный из отрезков дуг), *рыбьи пузыри*, *алмазы* (правильные тела), *гребень* и т. д.¹².

¹⁰ Ср., например, *визуальное поле, электромагнитная волна, лошадиная сила, момент силы* и т. д.

¹¹ Г. Недошивин, Очерки теории искусства, М., «Искусство», 1953, стр. 13—14.

¹² См. об этом Л. Олшкй, История научной литературы на новых языках, т. I (перевод с немецкого), М.—Л., Гостехиздат, 1933, стр. 279.

Элементы художественного стиля могут вноситься в научное изложение из методических соображений. Строго говоря, подобное «переплетение» стилей родилось не в научной литературе, а в школе и прямо вытекало из задач педагогического характера. Как пишет Л. Олышки, связь между наукой и педагогикой породила «...метод научного изложения, не останавливавшийся перед тем, чтобы привлекать самые разнообразные источники для обучения, чтобы с помощью ученого, морализующего и поэтического аппарата добиться той наглядности изложения, которую мы в настоящее время ищем в объективности его»¹³. Так появились «комбинированные» формы изложения, предполагающие включение в чисто научное описание элементов наглядности, привычности, образности, чувственной достоверности словесного выражения.

Таким образом, к причинам переплетения научного и художественного стилей можно отнести по крайней мере следующие: единство целей и предмета научного и художественного познания, специфику задач данного научного изложения (педагогические, этические и прочие соображения), иногда — недостаточную разработанность основ научного стиля. Из этих причин главной является первая. Примеры тесной связи художественного и научного познания многочисленны: в «Войне и мире» Л. Толстого много страниц посвящено изложению научно-философских взглядов автора; П. Мериме в «Кармен» варьирует художественное описание с экскурсами научного характера; начало «Коммунистического манифеста» является великолепным образцом художественного стиля; перемежение стилей мы наблюдаем в очерковой литературе, в записках ученых географов-путешественников и т. д.

Введение элементов художественного стиля в научное изложение, при разумном соблюдении пропорций, не уничтожает специфики научной формы сообщения, точно так же, как введение в художественное произведение научной темы с соответствующими элементами научного стиля не уничтожает специфики искусства. Но в научной литературе на развитых языках обычно мы имеем дело именно с элементами образной формы изложения, тогда как в художественной литературе система эмоционально-чувственных образов как раз и определяет специфику данной формы познания действительности.

Художественная литература, являясь одной из форм общественного сознания, охватывает человеческую практику во всех ее проявлениях. Объектами художественного осмысления могут стать процессы естественного и общественного развития, предметы природы, человеческие поступки и даже сам язык и его стили. Специфика художественной литературы состоит, между прочим, в том, что язык является для нее и формой, и материалом, и в ряде случаев — объектом художественного осмысления и эстетической оценки.

Вот, например, характеристика, которую дает В. Некрасов одному из персонажей своего романа «В окопах Сталинграда»: «Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. Повидимому, из интеллигентов — „видите ли“, „собственно говоря“, „я склонен думать“». Речь Фарбера — такая же выразительная деталь (объект), как фигура, шинель, очки и т. д.

Ср. также у К. Федина в романе «Необыкновенное лето»: «Здесь искренность не считалась наивностью. Девушки еще восклицали: „Как я плакала“, не стесняясь простоты сердца и не зная, что требования жаргона обязывают актрису сказать с усмешкой: „Я, милая моя, совершенно изревелась“. У А. П. Чехова в повести «Скучная история»: «Я усаживаю

¹³ Там же, стр. 107.

его в кресло, а он меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься... Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной, вроде: „вы изволили справедливо заметить“, или „как я имел честь вам сказать“. Совершенно очевидно, что «китайщина» словесных формул является здесь не менее выразительной деталью, чем «поглаживание друг друга по талиям» и «касание пуговиц».

Эстетические оценки языковых фактов также могут явиться объектом художественного осмысления и использоваться как выразительное средство образной характеристики. В романе К. Федина «Необыкновенное лето» актер Цветухин говорит о революции: «— У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что...»

— Ах, чорт! Вот оно! — ожесточился Пастухов. — Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, не существующее, противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!».

Стиль речи отдельных персонажей художественного произведения может и не воспроизводиться непосредственно и тем не менее явиться объектом художественного осмысления, средством характеристики образа: «Приятель говорил не новое, давно уже всем известное, и весь яд был не в том, что он говорил, а в анафемской форме. То-есть чорт знает какая форма! Слушая его тогда, я убедился, что одно и то же слово имеет тысячу значений и оттенков, смотря по тому, как оно произносится, по форме, какая придается фразе» (А. П. Чехов, Сильные ощущения).

Элементы научного стиля (равно как и других стилей, классификацию которых мы не ставим своей задачей устанавливать) часто проникают в художественную литературу именно в тех случаях, когда речь героя является таким же объектом изображения, как его внешний вид, походка, жест, склад ума, поступки и т. д. Например, у Чехова в рассказе «Случай из практики»: «— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати, — сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже». Введение термина «кали-бромати» здесь нужно писателю не для восстановления истории предшествующего лечения, а для характеристики гувернантки — «самой образованной женщины в доме».

*

В заключение подчеркнем еще раз основную мысль настоящей статьи: между художественным и научным мышлением нет абсолютных границ. Это является одной из главных причин взаимопроникновения стилей. Однако во всех случаях такого взаимопроникновения мы ощущаем переклещивание с одного стиля на другой. Так же, как соединение элементов художественного и научного познания не уничтожает специфики того и другого, соединение художественного и научного стилей не означает уничтожения объективности существования их в системе общенародного языка.

В. Г. АДМОНИ и Т. И. СИЛЬМАН

ОТБОР ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ И ВОПРОСЫ СТИЛЯ

Все, кто занимается вопросами стилистики, согласны в одном: основные понятия стилистики как особого раздела языкознания крайне неясны. Именно поэтому мы постараемся в первую очередь коснуться вопроса о самом существовании понятия «языковой стиль», о его границах и разновидностях. Для этого необходимо выяснить, каким образом те явления, которые объединяются в понятие языкового стиля, связаны с языком вообще, в его цельности и многообразии, на основе каких сторон языка и каких языковых закономерностей возникают важнейшие признаки языкового стиля и насколько они распространены в языке.

Основным признаком языкового стиля, так или иначе признаваемым всеми исследователями, можно считать фактор отбора языковых средств. Идет ли речь о стиле как системе, или о стиле как оформлении целенаправленного высказывания — во всех этих случаях подразумевается тот или иной отбор средств языка, направленный к осуществлению определенной цели¹. Поэтому нам кажется целесообразным и начать с рассмотрения тех факторов, которые ведут к отбору языковых средств.

Процесс речевого общения осуществляется в различных конкретных формах — в форме диалогической или монологической речи, в форме устной или письменной речи, с их дальнейшими разновидностями. И уже эти различия в коммуникативной форме речи обуславливают собою известный отбор языковых средств, преимущественно грамматических. Для некоторых коммуникативных форм речи в языке вырабатываются даже свои специфические грамматические категории (таковы, например, вопросительные или побудительные предложения как формы высказывания, характерные для диалога². Однако таких грамматических

¹ Проблема отбора языковых средств всегда связывается с проблемой синонимии, поскольку сама возможность отбора предполагает наличие в языке синонимов — как лексических, так и грамматических. Хотелось бы подчеркнуть одну сторону языковой синонимии, которой не всегда уделяется достаточно внимания. Обычно под синонимами понимаются слова (или формы, конструкции) с близким, но не тождественным значением (ср. А. Н. Гвоздев, *Очерки по стилистике русского языка*, М., Изд-во АПН РСФСР, 1952, стр. 30). Между тем в самом широком смысле, с точки зрения возможностей отбора языковых средств, синонимический характер приобретают все языковые средства, могущие (хотя бы с разных сторон и лишь с примерно одинаковой полнотой) выразить, не теряя своего основного значения, один и тот же отразившийся в мышлении кусочек действительности. В этом смысле синонимическими в лексике окажутся не только слова, обозначающие одно понятие с расхождением в оттенках значения (например, *будущее* и *грядущее*), но и слова, обозначающие один и тот же предмет с большей или меньшей степенью обобщенности. В этом смысле синонимическими окажутся, например, такие слова, как *Жучка* (кликча определенной собаки), *лайка* (порода этой собаки), *собака*, *животное*, — потому что все эти слова могут обозначать данную собаку.

² Конечно, закрепленность и этих грамматических категорий за определенными коммуникативными формами речи не может считаться абсолютной; ср. риторические вопросы, возможные в любой форме речи, использование побудительных предложений в научных, технических, учебных текстах и др.

форм, которые закрепляются за определенными коммуникативными формами речи, очень немного: это конструкции, выражающие некоторые из самых основных и глубинных, самых древних и органически необходимых разновидностей форм общения. В языке несравненно больше грамматических форм, которые отнюдь не прикреплены к тому или иному виду речи, но постоянно повторяются в нем. Так, в устной форме речи, особенно в диалоге, сама ситуация, в которой осуществляется речевой процесс, открывает дверь многообразным эллипсам, сравнительной краткости предложений, отсутствию сложных конструкций. Однако соответствующие языковые явления (эллиптичность, краткость предложений и т. п.) отнюдь не закреплены за диалогическим видом речи. С другой стороны, в диалоге (в зависимости от его содержания, эмоционального тона и т. д.) могут встречаться и развернутые, сложные структуры предложения. Следовательно, отбор определенных языковых явлений типичен для разных коммуникативных форм речи, но не имеет абсолютного характера.

Кроме того, надо подчеркнуть, что очень многие грамматические явления вообще не заключают в себе возможностей отбора. В русском языке почти вся морфологическая система, основные виды глагольных и именных словосочетаний, формы дополнений и обстоятельств и многие другие формы, как правило, никак не «отбираются» в зависимости от той или иной формы речи. Трудно найти и какой-либо существенный отбор в лексике, если оставить в стороне момент содержания речи, который, правда, тесно связан с формами речи, но все же отнюдь не совпадает с ними.

Таким образом, наличие различных коммуникативных форм речи вызывает к жизни известный отбор языковых средств, который, однако, не ведет к превращению этих форм речи в замкнутые языковые системы.

Известный отбор языковых средств закономерно возникает также в связи с тем, что язык используется как средство общения во всех сферах человеческой деятельности, а также в связи с многообразием предметов речевого общения. Оба эти момента тесно связаны между собой, но иногда соотносятся очень сложным и противоречивым образом.

Особое значение приобретает здесь отбор лексических средств. Естественно, что речевое общение, протекающее в какой-либо сфере человеческой деятельности и имеющее своим предметом эту деятельность (например, какую-либо отрасль техники), широко и систематически использует слова, обозначающие предметы и явления, относящиеся к этой сфере деятельности. Более того, общение в различных сферах человеческой деятельности, имеющее своим содержанием эту деятельность, может характеризоваться известным отбором не только в отношении конкретного лексического состава, но и в отношении самого типа употребляемых слов. Так, для речи технической и научной характерно концентрированное употребление специальных терминов и абстрактной лексики. В бытовой речи такая лексика употребляется значительно реже.

Та или иная сфера деятельности, а также предмет речевого общения в известной степени влияют и на отбор грамматических форм, впрочем, перекрещивающийся с отбором, обусловленным коммуникативной формой речи. Как неоднократно отмечалось, для научной и технической сферы деятельности характерно преимущественное употребление целого ряда грамматических конструкций и некоторых служебных слов, — например, в русском языке таких союзов и предлогов, как *в течение*, *в свете*, *в то время как*, *между тем как* и т. п., страдательных конструкций и др.³ С другой стороны, в этих сферах речевого общения отсутствуют некоторые

³ См. А. Н. Гвоздев, указ. соч., стр. 177 и сл.

словообразовательные и морфологические категории, например, слова с так называемыми суффиксами субъективной оценки. Однако для грамматических форм можно говорить не о «закрепленности», а лишь о типичности и значительной концентрации их в какой-то — всегда широкой — сфере общения. (Так, например, в немецком языке массовое использование пассива отличает речевое общение не в какой-то специфической отрасли техники, а во всех отраслях техники и науки.)

Следует подчеркнуть, что лексические средства, особенно термины, несравненно более тесно, чем грамматические формы, связаны с тем или иным кругом деятельности; здесь можно говорить даже об известной (хотя тоже не абсолютной и значительно варьирующейся) закрепленности слов за определенной сферой общения.

Речевое общение, протекающее в какой-либо сфере человеческой деятельности, не всегда имеет своим содержанием саму эту деятельность. Особенно общение в бытовой сфере жизни может затронуть любые вопросы и темы — научные, технические, политические, причем языковое оформление этих тем будет обладать смешанными чертами. Так создается сложность и разноплановость отбора языковых средств, еще раз подтверждающая, что и здесь отнюдь не возникает какой-либо замкнутой языковой системы.

Для отбора языковых средств в зависимости от сферы общения существенно и то, что речь может характеризоваться определенной окрашенностью тона. Мы имеем здесь в виду так называемую «социальную ситуацию», в зависимости от которой, как отмечает В. В. Виноградов, можно различать «стиль торжественный, стиль подчеркнуто вежливый и т. д.»⁴ Но хотя эта «тональная» окраска языковых средств несомненно связана с определенной «социальной ситуацией» (например, на научных диспутах обычно преобладает тон сухой вежливости), все же она в значительной степени определяется и другим фактором — познавательно-оценочной установкой говорящего. Внутри одной и той же «социальной ситуации» бывает возможна самая различная «тональность» (известно, что и при научных диспутах нередко встречаются значительные отклонения от основного «тона» в связи с обострившимся столкновением точек зрения). Вместе с тем надо отметить, что на разных этапах развития языка закрепленность определенного «тона» за определенной «социальной ситуацией» оказывается различной (прежде она была значительно большей), а в некоторых специфических сферах общения она очень значительна и сейчас (например, при дипломатических переговорах).

Все перечисленные выше факторы, так или иначе влияющие на отбор языковых средств, непосредственно обусловлены самой формой и сферой коммуникации и объективным содержанием сообщения. Однако значительное влияние на отбор языковых средств оказывают и такие факторы, которые коренятся не в общих условиях коммуникации, а в подходе говорящего (пишущего) к своему высказыванию, в его индивидуальной установке. Конечно, сама эта индивидуальная установка (в дальнейшем мы будем говорить просто «установка говорящего») имеет объективный характер, во-первых, потому, что она порождена объективными социальными факторами, а во-вторых, потому, что ее языковое выражение, в силу социальной природы языка, неизбежно должно отлиться в определенные объективные и закономерные формы, допускающие, правда, огромное количество частных вариантов.

В самой индивидуальности этой установки говорящего (с точки зре-

⁴ В. В. Виноградов, О задачах истории русского литературного языка. преимущественно XVII—XIX вв., «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка». М., 1946, вып. 3, стр. 225.

ния ее влияния на отбор языковых средств) существует множество градаций. Если в некоторых случаях установка говорящего отличается значительной сложностью и своеобразием и выражается в чрезвычайно сложном отборе языковых средств, то в других случаях она оказывается более простой, носит более обычный, типический характер и выражается в более типичных и устойчивых, постоянно повторяющихся формах отбора языковых средств.

Таким более устойчивым характером отличается отбор языковых средств, осуществляющийся на базе эмоциональной установки говорящего, т. е. на базе различного эмоционального наполнения речи. Здесь, конечно, также возможны самые разнообразные индивидуальные формы и разновидности отбора, но за ними ясно намечаются определенные типические явления. Так, для повышенно эмоциональной речи особенно характерно употребление эллипсов и инверсии, отсутствие сложных синтаксических построений. Менее постоянным признаком повышенно эмоциональной речи являются лексические средства (существенное значение имеют здесь, например, междометия, определенные типы которых закреплены за этим видом речи).

Надо подчеркнуть, что отбор языковых средств в зависимости от эмоционального содержания речи перекрещивается с отбором языковых средств, обусловленным другими ранее упоминавшимися сторонами языкового общения. Так, повышенно эмоциональная речь тесно связана с речью устной, особенно диалогической, бытовой. Не случайно конкретный отбор языковых средств идет здесь в одном направлении — наличие эллипсов, стремление к краткости предложения, отсутствие сложных форм подчинения и т. д. Но повышенно эмоциональная речь возможна не только в устном диалоге и не только в обиходной речи. Она возможна в монологической форме речи, возможна и в применении к политической тематике, к тематике, связанной с искусством, даже с наукой и т. д. И во всех этих случаях конкретный отбор языковых средств будет определяться сложным сочетанием всех тех условий и форм, о которых говорилось выше.

Значительное влияние на отбор языковых средств оказывает стремление к выразительности и четкости речи. В этом факторе отбора языковых средств также ярко выступает установка говорящего; но и здесь, при всем возможном многообразии, явно проявляются общие, типические тенденции, возникающие на основе конкретных черт строя данного языка.

Стремление к выразительности и четкости речи занимает особое место среди других факторов, определяющих отбор языковых средств: очень часто оно проявляется не в концентрированном повторении в речи каких-либо грамматических или лексических явлений, а в тенденции к многообразию речи, к варьированию языковых средств, к употреблению контрастирующих форм и т. д. С этим связано, в частности, широкое употребление синонимов в одном и том же отрезке речи⁵.

С другой стороны, стремление к выразительности и четкости речи может привести и к подчеркнутому повторению какого-либо слова или грамматической формы в целях акцентирования основной мысли говорящего. Обычно это бывает связано с повышенной эмоциональностью высказывания. Ср.: «Где помнят начало поэзии, где поэзия явилась не как плод национальной жизни, а как плод цивилизации, там, для полного развития поэзии, нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо,

⁵ Так, в работах И. П. Павлова неоднократно встречается равнозначное употребление (т. е. употребление в качестве синонимов) слов *собака* и *животное*, связанное со стремлением избежать монотонного повторения одного и того же слова.

повторяем, поэзия прежде всего должна быть поэзией, а потом уже выражать собою то или другое»⁶.

Отбор языковых средств, обусловленный стремлением к выразительности и четкости речи, может охватывать целый ряд явлений языка, выступающих в известном единстве. Но и здесь отбор, как правило, не распространяется на всю совокупность языковых явлений, представленных в соответствующем отрезке речи, и не имеет абсолютного значения. Таким образом, и здесь нет оснований говорить о возникновении какой-либо замкнутой системы речи.

Установка говорящего как фактор, обуславливающий отбор языковых средств, приобретает особое значение при выражении говорящим его познавательно-оценочного отношения к предмету речи, к адресату речи, вообще к действительности. Переплетаясь с различными оттенками эмоциональности, многообразные формы выражения познавательно-оценочного отношения говорящего к предмету речи, определяющегося его мировоззрением и конкретными условиями общения, получают разное выражение путем отбора языковых средств.

На базе познавательно-оценочного отношения говорящего к содержанию высказывания, а также к адресату речи и вообще к ситуации оформляются многообразные типы эмоционально-экспрессивной речи. Отбор языковых средств, преимущественно лексических и синтаксических, особенно интонационных, складывается здесь на основе слитного выражения целого ряда моментов: самой оценки, ее эмоциональной интенсивности, характера «социальной ситуации», не говоря уже о влиянии таких факторов, как коммуникативные формы речи, стремление к выразительности и т. д.

Наличие познавательно-оценочной установки говорящего свойственно, конечно, всем видам речи, всем высказываниям. Но в ряде случаев оно не играет решающей роли в общей организации высказывания, которая определяется другими факторами. Такое положение, например, имеет место в технической литературе, где отбор языковых средств определяется формой и сферой речевого общения и его содержанием. Между тем в публицистике, художественной литературе, иногда в бытовой речи оценочная установка говорящего окрашивает все высказывание в целом и цементирует его форму.

*

Отбор языковых средств пронизывает, таким образом, всю жизнь языка, составляет одну из сторон его непосредственного функционирования. На основе такого отбора, соответственным образом организованного, в результате взаимодействия между разными определяющими его факторами и возникает то, что называется языковым (или речевым) стилем, т. е. более или менее выдержанное единство языковых средств, которое может характеризовать как отдельное высказывание, так и целый ряд высказываний.

В настоящей статье мы, конечно, не можем дать даже самой общей классификации языковых стилей и их номенклатуры, тем более, что этот вопрос всегда является вопросом конкретно-историческим, который разрешается по-своему для разных периодов развития каждого языка. Но мы попытаемся все же остановиться на некоторых наиболее общих чертах языковых стилей.

Устойчивость и повторяемость факторов, определяющих отбор языко-

⁶ В. Г. Б е л и н с к и й, Собр. соч. в трех томах, т. III, М., ГИХЛ, 1948, стр. 385.

вых средств, ведет к типизации и единообразию языкового оформления целого ряда отдельных высказываний, т. е. к созданию языковых стилей, имеющих не индивидуальное, а общее значение. Положение об отсутствии общих языковых стилей равно положению о полной несистемности и хаотичности факторов, вызывающих отбор языковых средств, о случайности их действия. А между тем эти факторы определяются самой природой языка, его социальной функцией, обладают устойчивостью, и поэтому на их основе обязательно должны вырастать устойчивые типы языкового оформления речи — «общие» языковые стили.

Уже исходя из этих общих положений, мы никак не можем согласиться с Ю. С. Сорокиным, который вообще отрицает для современного русского языка существование сколько-нибудь устойчивых общих языковых стилей. Неосновательность этого утверждения легко может быть доказана. Достаточно прочесть подряд несколько статей различных авторов в любом математическом, физическом и т. п. специальном журнале, рассчитанном не на широкого читателя, а на специалиста, и мы увидим значительное единообразие (хотя, конечно, и не полную тождественность) использованных при построении научного текста языковых средств. В этой связи становится очевидным, что каждый языковой стиль обладает чертами известной системы, более или менее единообразной организацией языкового материала, т. е. наличием тех или иных признаков, которые придают ему особое своеобразие, качественную определенность.

Однако было бы ошибкой не видеть, что системы языковых стилей, особенно в современном языке, — это системы не застывшие, а легко проницающие друг в друга, варьирующиеся. Современный научный текст, например, допускает включение в него политической и бытовой лексики, хотя для стилиевой системы такого текста эти элементы чужды; он допускает также перевод всего изложения в несколько повышенный эмоциональный тон, хотя в целом для него характерна совершенно иная, нейтральная эмоциональность. Здесь может иметь место слияние, синтезирование чрезвычайно разнородных в стилистическом плане явлений, — синтезирование, не приводящее к диссонансности. Именно о наличии переходных явлений, об отсутствии застывших граней, а не о полном отсутствии языковых стилей свидетельствуют те примеры из работ Сеченова, которые приводит Ю. С. Сорокин.

Итак, в современных национальных языках языковые стили как системы не отгорожены друг от друга. В этом смысле правильной в своей основе представляется та критика, которой Ю. С. Сорокин подвергает понятие «замкнутой стилистической системы». Надо подчеркнуть, что эта критика весьма актуальна: в практике советского языкознания, особенно в методике преподавания иностранных языков, еще совсем недавно тезис о замкнутости языковых стилей широко применялся и из него делались далеко идущие выводы. При этом обычно замкнутость стилистической системы понималась слишком прямолинейно⁷, без тех существенных

⁷ В качестве показательного примера такого применения на практике тезиса о замкнутости языковых стилей можно привести утверждение Н. А. Михайловской о том, что определительная конструкция немецкого языка *zu + Partizip I*, имеющая значение долженствования, может изучаться только на материале технического текста. Н. А. Михайловская мотивирует это тем, что при изучении данной конструкции на другом, якобы искусственном материале студенты технических вузов «не будут узнавать изученные формы в специальной литературе, сколько бы им ни давали тренировочных упражнений» [Н. А. Михайловская, Методика работы по переводу в высшей технической школе (в связи с проблемой преемственности между средней и высшей школой). Канд. дисс. (Ленингр. электротехн. ин-т инженеров железнодорожн. транспорта), Л., 1952, стр. 16—17]. Таким образом, Н. А. Михайловская полностью

оговорок, которые делались ведущими советскими лингвистами⁸ и которые, кстати, Ю. С. Сорокин не учитывает в своей полемике.

Вместе с тем надо отметить, что гибкость и подвижность системы языкового стиля сочетается с цельностью и законченностью этой системы. Это особенно ярко проявляется в области художественной литературы, лучших образцов публицистической и научной речи. Именно здесь огромный и сложный арсенал используемых языковых средств преобразуется в органическое единство, в своеобразный сплав, в котором нет ничего лишнего и ничего недостающего.

Ни один из языковых стилей со специфическим для него отбором языковых средств не претендует (и не может претендовать) на обслуживание жизни общества во всех ее проявлениях; в едином общенародном языке существует своеобразное «разделение труда»: каждый стиль обслуживает ту или иную сферу социальной жизни. Однако здесь существуют известные градации, «дробность» стилей оказывается неодинаковой. Если некоторые из них прикреплены лишь к одной, и притом очень узкой сфере социальной жизни, лишь к одному аспекту в содержании речевого общения, то область применения других стилей оказывается более широкой. Таков, например, языковой стиль публицистики: он обладает значительным диапазоном в отношении тех жизненных сфер, которые им затрагиваются, в отношении тех коммуникативных форм речи, которые могут в нем фигурировать, в отношении тех оттенков эмоциональной окраски, которыми он может быть насыщен, и т. д. Тем не менее и стиль публицистики полностью сохраняет свое частное положение по отношению к единому общенародному языку, выступая как его более или менее специализированное проявление в определенной области общественной жизни.

Наиболее своеобразное место среди всех языковых стилей занимает языковой стиль художественной литературы. Если для других языковых стилей характерна известная прикрепленность к определенной сфере социальной жизни, то язык художественной литературы, в силу специфики самой художественной литературы, обладает несравненно более широким, чуть ли не всеобщим характером: здесь концентрируется и в какой-то мере воспроизводится все многообразие языковых стилей данного языка. При этом в разные периоды развития художественной литературы, в разных ее жанрах границы и характер такого воспроизведения, естественно, бывают очень различны.

Вместе с тем, охватывая разные сферы жизни, используя различные коммуникативные формы речи, языковой стиль художественной литературы выступает не как нечто особое по отношению к единому общенародному языку, не как нечто отличное от него, а как его отражение, как его специфическое, концентрированное проявление и выражение. Таким образом, и здесь сохраняется зависимое и подчиненное положение языкового стиля по отношению к единому общенародному языку, и здесь выступает частный, хотя и своеобразно частный характер языкового стиля. Поэтому в применении к языку художественных произведений вполне оправдан термин «языковой стиль». Языковой стиль художественной литературы не ограничен резко от других языковых стилей;

⁸ «прикрепляет» эту конструкцию к системе определенного языкового стиля. А между тем конструкция эта применяется не только в научных и технических текстах, но и в научно-популярной литературе, в газете. По сути дела она действительно несвойственна только обиходной разговорной речи.

⁸ Так, говоря о «замкнутой системе средств выражения» как об одном из основных признаков стиля, В. В. Виноградов подчеркивает именно семантическую замкнутость (См. «О задачах истории русского литературного языка...», стр. 225).

это подтверждается, в частности, той близостью, которая существует между языковым стилем художественной литературы и языковым стилем публицистики.

Итак, язык, оставаясь единым для всего общества, оказывается охваченным сложной и многогранной системой переплетающихся стилей. В небольшой статье общего характера мы, естественно, не могли дать перечня языковых стилей и их номенклатуры. Сделать это можно только в работах, посвященных изучению отдельных языков определенной исторической эпохи, на основе конкретного анализа большого языкового материала. Думается, что самое главное сейчас — создание и публикация таких работ.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

ОТ РЕДАКЦИИ

(К обсуждению курса «История языкознания» на филологических факультетах университетов)

Марксистско-ленинская наука всегда придавала большое значение историческому анализу общественных явлений.

Наука о языке, возникшая в глубокой древности, прошла сложный путь развития, и для того чтобы понять ее современное состояние, необходимо знать историю формирования и борьбы разных взглядов на природу и сущность языка.

Марксистское языкознание, являющееся качественно новым этапом в истории науки о языке, отбирает все ценное, «рациональное» из того, что накопила лингвистическая наука прошлого, и по-новому использует достижения предшествующей лингвистической традиции. И. В. Сталин сурово осудил представителей так называемого «нового учения» о языке за их пренебрежительное отношение к истории своей науки.

Хорошая осведомленность в истории лингвистических учений необходима каждому языковеду. Вот почему в учебный план лингвистических специальностей на филологических факультетах университетов включена история языкознания. Однако в определении целей и задач этой дисциплины, ее места среди других вузовских дисциплин, в выделении основных проблем, которые должны в ней разбираться, нет еще необходимой ясности и единства мнений среди специалистов-лингвистов. Широкое обсуждение на страницах нашего журнала задач курса «История языкознания» поможет улучшить постановку его.

При определении конкретных задач этого курса нужно иметь в виду его общую целевую установку.

Студенты должны быть ознакомлены с процессом развития науки о языке от ее возникновения до ее современного состояния. При этом ознакомлении основное внимание уделяется критической — с позиций марксизма — оценке существовавших и существующих лингвистических теорий.

Необходимо установить историческую преемственность различных языковедческих школ и направлений, выяснить, что ценного для своего времени внесла в изучение языка та или иная лингвистическая концепция, раскрыть, как в борьбе материалистических и идеалистических взглядов на язык неуклонно накапливались наблюдения, углублявшие понимание различных сторон языка и создававшие возможность научного обоснования методики их исследования. Вскрывая неверные философские основы идеалистических и вульгарно-материалистических теорий в области языкознания, надо вместе с тем показывать, как наука о языке постепенно — в своем историческом развитии — обогащалась фактами и их обобщениями, как в разных направлениях расширялся и углублялся горизонт лингвистического знания.

Хорошо поставленный курс «История языкознания» даст студентам не только знание истории своей науки, но и привьет им навыки критического анализа различных лингвистических теорий, умение разбираться в чужих взглядах, понимать методологические основы этих взглядов.

Однако не все языковеды признают необходимость специального, отдельного курса; некоторые предполагают, что сведения по истории лингвистических учений должны найти место в курсах «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Сравнительно-историческая грамматика» (тех или иных групп родственных языков), что, например, в связи с характеристикой какой-либо языковой проблемы, целесообразнее и проще изложить и историю взглядов на эту проблему.

Естественно, что при построении курса «История языкознания» следует учитывать его отношение к другим дисциплинам, изучаемым студентами, т. е. определить его место среди этих дисциплин.

Политико-экономические и философские дисциплины создают условия для правильной методологической ориентировки слушателя в лингвистическом материале, и читающий курс «История языкознания» опирается на них.

Курсы «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «История языкознания» и факультативный курс «Сравнительно-историческая грамматика» должны составлять единую и стройную систему общелингвистической подготовки. Чрезвычайно важно найти правильные пути осуществления этого принципа.

Если можно считать относительно ясными задачи и содержание курса «Введение в языкознание» и признанной — неуместность в нем широких отклонений в историю развития науки, то вполне реальна опасность подменить анализ центральных проблем курса «Общее языкознание» историей этих проблем, хотя в какой-то мере (при критической оценке различных современных точек зрения на проблемы языка) элементы истории языкознания несомненно в курсе «Общее языкознание» необходимы.

От определения соотношения лингвистических дисциплин зависит и место «Истории языкознания» в учебном плане (когда, на каком курсе этот предмет следует изучать).

Спорным является вопрос о характере курса: анализировать ли в хронологической последовательности общие теории, созданные различными лингвистическими школами и направлениями, или, выделив основные языковые проблемы, критически излагать в исторической последовательности разные точки зрения на них и освещать их постановку и их решение в марксистском языкознании; при этом неясно, какое место должны занять изложение и критика взглядов отдельных лингвистов.

Вопрос о характере курса «История языкознания» непосредственно влечет за собой вопрос о его содержании, объеме, проблематике, о его программе, о сумме необходимых знаний, включаемых в него.

История языкознания в существующих печатных курсах излагается односторонне и охватывает главным образом историю лингвистических учений в Европе, отчасти — в древней Индии.

В связи с обсуждением содержания курса «История языкознания» возникает вопрос о дифференциации его применительно к специальности слушателей. В таких дифференцированных курсах, наряду с характеристикой общего развития лингвистической науки, можно было бы уделить больше внимания специальным работам, посвященным данному языку. Но подобного рода специализацию следует хорошо продумать, чтобы не подменить истории общего языкознания историей частной филологии.

В основу курса должна быть положена обоснованная четкая система периодизации науки о языке. Вопросы периодизации истории языкозна-

ния мало исследованы и, во всяком случае, еще не решены. Решить их можно только при детальном и всестороннем изучении развития лингвистических воззрений с древнейших времен.

Каждая вузовская дисциплина должна быть обеспечена программой и учебными материалами. Между тем еще нет единой программы по курсу «История языкознания» и читают его далеко не во всех университетах и не каждый год. Разработка программы этого курса является делом важным и неотложным. Кроме того, требуется большая работа по подготовке к изданию необходимых материалов и пособий для этого курса: трудов языковедов прошлого, критических статей, учебника, хрестоматий.

Обсуждение этих и других вопросов, связанных с изучением истории языкознания и с построением соответствующего курса в высшей филологической школе,— одна из актуальных, важных задач советского языкознания и лингвистического высшего образования.

В. Н. ЯРЦЕВА

О КУРСЕ «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Курс «История языкознания» играет важную роль в процессе лингвистической подготовки молодых специалистов на филологических факультетах университетов. Для языковеда, как и для каждого специалиста, необходима осведомленность в истории развития той области знания, в которой он работает. Это помогает ему использовать материалы, накопленные наукой прошлого, и дает возможность критически оценивать различные объяснения одного и того же языкового факта, выдвигавшиеся в различные периоды истории науки о языке.

Так, языковед, заинтересовавшийся проблемами исторической лексикологии, сталкивается с целым рядом написанных западноевропейскими лингвистами работ, в которых излагается история отдельных слов или отдельных лексических пластов. В трудах сторонников так называемой школы «*Sachen und Wörter*» он встретит перечень слов, появившихся в связи с изменениями в культуре и быте народа, но не найдет структурного и семантического анализа, объясняющего те факты преобразования лексики, которые зависят от действия внутренних законов развития данного языка. В книгах и статьях, вышедших из-под пера исследователей, стоявших на позициях младограмматизма, «жизнь слов» (т. е. исторические изменения в слове) трактуется как путь потерь и пополнений словаря, предопределяемый психологическими законами ассоциации и апперцепции¹. Последователи Трира аналогичные явления лексики рассматривают с точки зрения теории семантического поля. Таким образом, в зависимости от общетеоретической позиции того или иного лингвиста одни и те же факты лексики могут истолковываться по-разному, и чтобы понять основы этих истолкований, нужно знать историю лексикологии.

Изучение истории языкознания помогает студентам разобраться в фактах истории изучаемого языка, а также правильно оценить ту методологическую основу, на которой строятся используемые ими учебные материалы. Это особенно важно для специализирующихся в области западноевропейских языков. Ведь большинство сводных работ по исторической грамматике и фонетике западноевропейских языков и целый ряд частных исследований, не утративших своей ценности до настоящего времени, написаны младограмматиками. Таковы, например, в области истории английского языка работы Суита, Льюика, Горна, Райта, Брэдли, Бруннера и

¹ См. работы К. Н и р о п а «Жизнь слов» (K. N u r o p, Das Leben der Wörter, Leipzig, 1923) и А. Д а р м с т е т е р а «Жизнь слов, изучаемая в их значениях» (A. D a r m e s t e t e r, La vie des mots étudiée dans leurs significations, 5 éd., Paris, 1899).

многих других. Богатые фактическими сведениями, эти работы полезны каждому специалисту, работающему в области английского языка, но вместе с тем их плодотворное использование возможно лишь при понимании того, как методологические позиции их авторов определяют не только объяснение исследуемых ими фактов строя английского языка и его истории, но и самый выбор рассматриваемых фактов.

Для правильной организации системы вузовского образования необходимо, с одной стороны, четко определить целевую установку и содержание каждого из читаемых курсов и, с другой стороны, учитывать их взаимосвязь и, следовательно, ясно представлять себе место, занимаемое данным курсом в кругу других смежных с ним дисциплин. Связи курса «История языкознания» с другими курсами разнообразны. Дисциплины, сопредельные «Истории языкознания», можно разделить на три группы: общественно-политические; теоретико-лингвистические; дисциплины, относящиеся к специальности слушателя.

При анализе соотношений курса «История языкознания» с третьим циклом дисциплин возникает очень важный вопрос — вопрос о специализации этого курса. Если знание истории развития лингвистических взглядов должно помогать специалисту в критической оценке и правильном использовании материалов по его специальности, то не лучше ли курс «История языкознания» максимально специализировать, иначе говоря: читать этот курс отдельно для русистов, отдельно для востоковедов, отдельно для романо-германистов? Ведь именно в этом случае можно гарантировать наибольшее привлечение иллюстраций из истории той или иной частной филологии, а также оперирование языковыми примерами, понятными для учащегося. Не превращая этот курс в историю частной филологии, вполне возможно показать, как преломлялись одни и те же лингвистические идеи в каждой стране и как специфика этого преломления объяснялась конкретной исторической обстановкой в данной стране.

Иллюстрируем это положение показом того, как борьба между сторонниками универсальной рационалистической грамматики, всецело подчиненной логике, и сторонниками эмпирической грамматики, учитывающей факты живого языка, протекала в Англии, Франции и России, и, следовательно, каким образом знание истории лингвистических воззрений помогает правильно понять и оценить факты истории данного языка. В зависимости от состава слушателей лектор может использовать тот или иной пример.

Известно, что в Англии в XVII—XVIII вв. появилось огромное количество грамматик английского языка, описывающих нормы языка того времени. В некоторых из них делалась попытка установить закономерности развития английского языка. Для нас эти работы ценны прежде всего тем, что позволяют выяснить особенности языка XVII—XVIII вв. и вместе с тем показывают, какие языковые явления воспринимались современниками как устоявшиеся и распространённые, а какие оценивались в указанных грамматиках как «неправильные», т. е. как уже в какой-то мере выпадавшие из системы языка — либо вследствие того, что они являлись архаизмами, либо потому, что их существование в литературном языке не было узаконено достаточно широким употреблением.

Оказывается, однако, что одни и те же факты английского языка квалифицируются в грамматиках этого периода по-разному. Например, Вебстер (N. Webster, A grammatical institute of the english language, Part II, Hartford, 1784) защищал употребление формы *you was*, но Лоут (R. L o w t h, A short introduction to english grammar, London, 1762) и Пристли (J. P r i e s t l e y, The rudiments of english grammar, London, 1761) допускали только форму *you were*. Лоут считал правильным упо-

требление винительного падежа местоимения в обороте типа *I don't like him doing that*, в то время как Вебстер допускал только родительный падеж в подобной конструкции (*I don't like his doing that*). Лоут возражал против двойного отрицания, еще употреблявшегося тогда в некоторой мере в английском языке², на том основании, что «два отрицания уничтожают одно другое и равняются утверждению», и т. д.

Знание истории лингвистических воззрений дает возможность понять основы разногласий по вопросам строя английского языка, имевших место в Англии XVII—XVIII вв., и правильно оценить их методологические корни. В многочисленных грамматиках английского языка, выпедших в XVII—XVIII вв., можно обнаружить проявление двух течений, определяемых философскими воззрениями эпохи. Если философский рационализм Декарта и Спинозы, утверждавших, что лишь разум может быть источником истинного знания, определил идею создания универсальной грамматики и грамматической схемы, точно отвечавшей принципам логики, то эмпиризм Локка, считавшего основой познания чувственный опыт, в языкознании претворяется в стремление оценивать непосредственное языковое употребление, так как разум, по мнению грамматистов, стоявших на позициях эмпиризма, бессилен перед стихией живого языка. Отсюда в Англии конца XVII и XVIII в., с одной стороны, пишутся грамматики и статьи, в которых их авторы требуют кодификации языка на основе логических норм (Эвелин, Свифт, Аддисон, Прайор и др.) и организации соответствующих институтов, призванных следить за чистотой языка, с другой — в выступлениях сторонников эмпирического направления (Хоуэлла, Олдмиксона, Брайтлэнда, Гринвуда и др.) всячески подчеркивается важность «практики», «обычая» (*usage, custom*) в языке.

Борьба представителей двух вышеуказанных точек зрения проявлялась и в оценке возможности использовать схему латинской грамматики для описания строя английского языка. Эмпирики, отстаивая своеобразие стихии каждого языка, отрицательно относятся к влиянию латинского образца на построение грамматики живых языков. Так, Вильям Лоутон (*W. L o u g h t o n, Practical grammar of the english tongue, London, 1734*) восстает против норм латинской грамматики в применении к английскому языку, критикуя тех, кто «пробовал подчинить наш язык (противно его природе) методам и правилам латинской грамматики». Но у сторонников идеи универсальной грамматики не было никаких оснований бояться перенесения нормативов латинского языка на другие языки.

Лингвисты-рационалисты, стремившиеся создать грамматическую схему, соответствующую общечеловеческим категориям логики и в равной мере действительную для всех языков, часто пробовали доказать возможность существования такой схемы именно на материале латинского языка. Такова, например, универсальная философская грамматика Джона Уилкинса (*J. W i l k i n s, An essay towards a real character and a philosophical language, London, 1668*). Схема, выработанная на материале латинского языка, также осмысляемого чисто рационалистически, затем механически применялась к английскому языку. Логика и грамматика отождествлялись. Как мы видели выше, Лоут осуждал употребление двойного отрицания в английском предложении именно на основании его несовместимости с логикой.

Конечно, не все английские грамматики XVII — XVIII вв. представляют собой иллюстрацию указанных выше двух лингвистических течений, так сказать, в их «чистом виде». В большинстве грамматических трудов,

² Как известно, в современном английском языке может быть лишь один отрицательный элемент в предложении.

появившихся в Англии в XVIII в. (а их было издано в XVIII в. свыше полутора ста), мы находим известный компромисс двух описанных теорий. Следствие этого компромисса — непоследовательность в принципах объяснения языкового материала, в оценках фактов грамматики английского языка: живая струя «практики» переплетается с традиционными стандартами, почерпнутыми из латинской грамматики. Но тем важнее для специалиста-англиста понимать общелингвистические идеи, определившие позицию того или иного автора, освещение им того или иного факта языка, а это невозможно без хорошего знания истории науки о языке. Вот почему история языкознания оказывается тесно связанной со специальными курсами, посвященными вопросам истории и теории изучаемого студентом языка.

Факты, аналогичные приведенным выше из истории английской лингвистики, можно привести и из истории французского языкознания. Образование и развитие национального французского языка выдвинуло целый ряд проблем, актуальных для того времени. Во Франции XVI в. поэты Плеяды (Ронсар, Дюбелле и др.) выступали в защиту использования французского языка во всех литературных жанрах и стремились теоретически обосновать борьбу с латынью, формы обогащения лексики французского языка, построение грамматики национального языка. В связи с этим возникает вопрос о «правильности» в языке, которую некоторые ученые понимали как соответствие грамматики «разуму».

Другие же теоретики XVI в. придерживались принципов эмпиризма, считая нужным учитывать как при анализе фактов грамматики и лексики, так и при оценке стилистических норм лишь живое употребление языка³.

Проблема рациональности в языке и соотношения «правильности» и «обычая», «употребления» приобретает особую остроту, становится центральной в лингвистических работах XVII в. Свое воплощение принципы рационализма и универсализма получили в известной французской грамматике XVII в. («Grammaire générale et raisonnée», Paris, 1660), составленной в монастыре Пор-Рояль и оказавшей влияние на построение аналогичных грамматик в других странах. Философская рациональная грамматика, антиисторическая по самому своему существу, не учитывавшая своеобразие отдельных языков и их развития, с течением времени сдала свои позиции; последний удар ей был нанесен сравнительно-историческим языкознанием XIX в. Важно подчеркнуть, что борьба между рационалистами и эмпириками в области французской грамматики вызывалась самой общественной практикой, задачами упорядочения норм литературного языка, его развитием и обогащением.

Из истории русской науки можно использовать, как аналогичные приведенным выше, материалы о деятельности Белинского, выступившего в защиту изучения грамматики родного языка без той схоластики, без того догматизма, который насаждался в России сторонниками универсальной грамматики, например Н. И. Гречем. Хотя грамматика строится Белинским на логических началах, но в ней широко освещаются национальные особенности русского языка. Следует охарактеризовать также деятельность А. Х. Востокова, который в «Русской грамматике» (1831) пытается охватить явления русского языка во всем его стилевом разнообразии и синтаксическая концепция которого противостоит концепции Н. И. Греча.

³ См. французскую грамматику П. Р а м у с а [P. R a m u s (Pierre de la Ramée), Gramèrre, Paris, 1562] и работы Л. М е р п е (L. M e i g r e t, Le tretté de la grammèrre françoèze, Paris, 1550; е г о ж е, Défenses touchant le livre de l'orthographe françoèze, Paris, 1550), где есть попытки согласовать «разум» и «обычай».

Таким образом, мы видим, что одна и та же тема из истории языкознания может быть показана применительно к истории частной филологии.

Польза подобной дифференцированной подачи материала очевидна: такой метод помогает студентам лучше усвоить программу и вместе с тем обеспечивает конкретную помощь преподавателю истории данного языка со стороны лектора, читающего «Историю языкознания».

Однако построение курса «История языкознания» по указанной системе представляет значительные трудности. Во-первых, численно небольшую аудиторию нецелесообразно дробить на слишком мелкие группы. Во-вторых, слишком мало лекторов, которые могут читать такой «специализированный» курс. Еще более существенным, чем вопросы организации учебного процесса или подготовки квалифицированных лекторов, является затруднение иного порядка: не все проблемы истории лингвистической мысли столь непосредственно и близко соприкасаются со специальной филологией, как тот вопрос, который был освещен нами выше. Как, например, можно для аудитории русистов связать с русским материалом споры об исторической последовательности различных морфологических типов в языке согласно идее А. Шлейхера о переходе аморфного типа в агглютинативный и дальше во флективный? Конечно, можно сказать о том, что русский язык по строю флективный, а есть языки другого морфологического строения, и различные лингвисты по-разному оценивают преимущество того или иного морфологического типа. Но будет ли убедителен такой далекий «подход» к теме и, главное, нужен ли он?

Таким образом, не все проблемы истории науки о языке могут быть непосредственно и органически связаны с материалами частной филологии. Поэтому нам представляется более целесообразным читать общий курс «История языкознания» для всех групп филологического факультета университета. Такой общий курс должен занимать 36 учебных часов. После того как студенты прослушают его, очень желательно было бы организовать ряд спецкурсов (в размере 32 учебных часов каждый) уже по отдельным вопросам истории языкознания. В них нужно учесть специализацию студентов, выделив только те вопросы, которые ближе всего касаются изучающих данный язык и которые удобно рассматривать в связи с материалом данной частной филологии. При недостатке часов придется, разумеется, ограничиться постановкой только одного общего курса «История языкознания».

При построении курса «История языкознания» необходимо учитывать его органические связи с общественно-политическими дисциплинами, особенно с историей философии.

Само собою понятно, что хорошие знания слушателей в области марксистско-ленинской философии, логики, а также истории общества дают твердую почву для усвоения всех разделов науки о языке. Лектор, читающий курс «История языкознания», постоянно вынужден обращаться к дисциплинам общественно-политическим. Не зная истории философии, невозможно разобраться в различных точках зрения по вопросу о сущности языка, взаимоотношении его сторон, путях его исторических изменений, вообще во всех тех вопросах, которые по-разному решались представителями известных в истории языкознания школ и направлений. Такая важная тема общего языкознания, как отношение логических и грамматических категорий, предполагает знание не только специфики грамматики, но и законов логики. Решение вопроса о соотношении логических и грамматических категорий в истории науки о языке зависело не только от состояния изученности явлений грамматического строя языка, но и от тех воззрений, которые господствовали в тот или иной момент в области

логики, психологии, философии. Можно отчетливо проследить, как борьба различных философских направлений находила свое отражение в борьбе различных языковедческих теорий.

В приведенном выше примере из истории грамматических идей в Англии XVII—XVIII вв. мы уже видели, как философия рационализма определила создание универсальной грамматики и утверждение идеи о тождестве законов логики и законов грамматики. Такого рода иллюстрации можно легко продолжить. Положения французских материалистов XVIII в. обусловили механистическую теорию языка де Бросса, а представления В. Гумбольдта о саморазвитии духа, находящего свое претворение в различных формах языка, тесно связаны с кантианской философией.

Особенное значение имеет анализ философских корней той или иной языковедческой теории для критики современных идеалистических течений в науке о языке. Так, например, широко пропагандируемая в современном американском языкознании методика исследования «чистого языкового факта» основывается у Л. Блумфилда и его последователей на определении языка как бесконечного ряда стимулов и реакций⁴. А это определение базируется на установках прагматической философии. Такое понимание сущности языка представителями «физикализма» в языкознании накладывает отпечаток на методику лингвистического анализа, ими применяемого, и на самый выбор проблем, которыми они занимаются. Определяя язык как реакцию индивидуума на стимул, исходящий от среды, что в свою очередь стимулирует слушателя к последующей реакции, Блумфилд выделяет лишь два разряда явлений: звуки языка и последовательную цепь стимулов и реакций. Для Блумфилда язык — явление в своей основе биологическое; он исключает тем самым язык из разряда общественных явлений. Следствием этого оказывается, с одной стороны, стремление рассматривать как равноценные языку любые сигналы, являющиеся реакцией на идущие извне стимулы (почему для «физикалистов» человеческая речь, лай собаки, световые сигналы и гудок паровоза представляются совершенно однородными явлениями), и, с другой стороны, интерес только к структурной стороне языка, взятой в синхронном разрезе. Поэтому не случайно работы американских последователей Блумфилда ограничены вопросами фонологии и описаниями морфемного состава того или иного языка. Вопросы истории языка и тем более вопросы истории языка в связи с историей народа совершенно исключаются из поля зрения «физикалистов».

Таким образом, неверное понимание самой сущности языка влечет за собой все остальные ошибочные представления американских структуралистов и определяет методику анализа языковых фактов. Определение же сущности языка, как мы видели, непосредственно вытекает из метафизической и идеалистической основы американского структурализма. Поэтому в курсе «История языкознания» необходимо не только излагать различные лингвистические теории, выдвигавшиеся представителями того или иного лингвистического направления, но и вскрывать философские корни этих теорий. Следовательно, по времени прохождения курса «История языкознания» нужно координировать с курсом «История философии».

Курс «История языкознания» соприкасается с курсом «Общее языко-

⁴ См. критику положений школы Блумфилда в статьях: О. С. А х м а н о в о й «О методе лингвистического исследования у американских структуралистов» («Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 92—105) и М. М. Г у х м а н «Против идеализма и реакции в современном американском языкознании (Л. Блумфилд и „дескриптивная“ лингвистика)» («Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», М., 1952, № 4, стр. 281—294).

знание», который должен завершать всю систему общелингвистической подготовки. Нередко высказывается мнение, что курс «Общее языкознание» должен представлять собой как бы расширенное в смысле состава изучаемых вопросов повторение курса «Введение в языкознание». Однако это совершенно неверно. Курс «Введение в языкознание» является пропедевтическим курсом не только по отношению к «Общему языкознанию», но и по отношению ко всем другим общим и специальным лингвистическим дисциплинам; задача его — дать твердое знание основных лингвистических фактов и понятий.

Изложение всех вопросов в курсе «Введение в языкознание» должно быть предельно простым. Большое внимание следует обращать на усвоение лингвистической терминологии, связанной с изучаемыми в курсе фактами языка. Нам представляется, что с точки зрения количественного разнообразия затрагиваемых вопросов курс «Введение в языкознание» может быть даже шире курса «Общее языкознание»: в последнем дается систематическое изложение только центральных вопросов теории лингвистики. Сам принцип отбора тем для указанных двух курсов различен.

Как уже было сказано, в курс «Введение в языкознание» необходимо включить все основные понятия лингвистики с объяснением терминов, к ним прилагаемых. Критически освещая идеалистические и вульгарно-материалистические взгляды на то или иное лингвистическое понятие, лектор в курсе «Введение в языкознание» никоим образом не должен давать подробную историко-критическую оценку каждой проблемы, им излагаемой, и большую часть вопросов должен преподносить лишь в их позитивном решении. Так, необходимо кратко охарактеризовать основные признаки предложения и его состав в языках разных семей, отношение предложения к суждению, основные закономерности развития предложения, но совершенно нет нужды излагать в курсе «Введение в языкознание» всю сумму споров по поводу выбора критериев для определения предложения, об отношениях между предложением и словосочетанием, или о связи предикативности и глагольности. Изложение этих споров — задача соответствующей темы курса «Общее языкознание».

Если в курсе «Введение в языкознание» описываются средства передачи грамматических значений, которыми располагает язык, и сообщается терминология, с этим связанная, то в курсе «Общее языкознание» речь идет о проблеме грамматической формы с присущим ей содержанием и о различных мнениях, существующих по этому вопросу. Иначе говоря, курс «Введение в языкознание» содержит последовательное изложение целого ряда дробных вопросов, объединяемых вокруг некоторого числа общих проблем, а в курс «Общее языкознание» включаются только узловые проблемы лингвистики с их детализацией главным образом по линии показа сложности изучаемых явлений и критикой разных путей разрешения этих проблем.

Сообразно этому распределение даже однородного материала в указанных двух курсах не совпадает. Так, о морфологической классификации языков в курсе «Введение в языкознание» уместнее всего говорить в связи с анализом формы слова и грамматических средств языка, в то время как генеалогическая классификация дается в связи с описанием сравнительно-исторического метода и понятием родства языков. В курсе же «Общее языкознание» лучше приводить вместе все существующие системы классификации языков мира, давая критику принципов, положенных в их основу, и показывая вместе с тем «рациональные зерна», наличествующие в некоторых из них. При этом предполагается, что лингвистическая карта мира и возможные структурные черты, находимые в различных языках, уже известны слушателям из курса «Введение в языкознание».

В курсе же «История языкознания» классификация языков как самостоятельная тема, по нашему мнению, не должна иметь места. Лектор будет касаться ее, говоря о взглядах братьев Шлегелей, А. Шлейхера, В. Гумбольдта на историческое развитие морфологической структуры языка; он неизбежно затронет эту тему, раскрывая понятие семьи языков и реконструкции праязыка у ряда компаративистов. Но во всех этих случаях вопрос о классификации языков не будет для него центральным, ибо и сами идеи о распределении языков мира появлялись как результат воззрений на характер развития языка или языков. Таким образом, один и тот же вопрос, например, вопрос о классификации языков, может быть дан в трех лингвистических курсах совершенно по-разному, в зависимости от целевой установки курса; в курсе «Введение в языкознание» излагаются некоторые предварительные сведения о языках мира; в курсе «История языкознания» о классификации языков упоминается лишь в связи с характеристикой деятельности отдельных лингвистов; наконец, в курсе «Общее языкознание» эта проблема выступает самостоятельно во всей ее сложности.

Непосредственной задачей курса «Общее языкознание» является систематическое изложение центральных теоретических вопросов науки о языке в соответствии с марксистским пониманием природы, структуры и методов изучения языка. Чрезвычайно важно, чтобы основные лингвистические проблемы в курсе «Общее языкознание» были даны в связи с критическим анализом различных точек зрения на эти проблемы, существовавших или существующих в науке⁵. Именно это и сближает курсы «Общее языкознание» и «История языкознания». И тут возникает вопрос «о разумной дозе» сведений из истории науки в курсе «Общее языкознание», с одной стороны, и, с другой — о характере построения курса «История языкознания».

В самом деле, ведь «Историю языкознания» можно было бы строить «по проблемам», т. е. показывать, как в различные эпохи одна и та же проблема языкознания (например, проблема происхождения языка, проблема грамматической формы и т. д.) по-разному решалась учеными. Ведь существует, на первый взгляд, довольно много «вечных» проблем в науке о языке.

Подобное построение курса «История языкознания» в значительной мере приближало бы его к курсу «Общее языкознание», приближало бы даже с опасностью смешения этих двух дисциплин. Так, например, с нашей точки зрения, принятая ныне программа курса «Общее языкознание» несколько перегружена историческим материалом, хотя, как указывалось выше, критическое освещение «истории вопроса» иногда неизбежно входит в изложение той или иной темы курса. Однако не в опасности смешения двух курсов кроются минусы изложения «Истории языкознания» по отдельным проблемам. Основной аргумент против такого изложения — разрыв самой истории развития науки о языке, невозможность установить связи ее с историей философских направлений, что, как уже было показано нами раньше, является крайне важным. Нельзя забывать также, что система лингвистических взглядов в тот или иной период истории определяет не только пути решения спорных лингвистических проблем, но и самый состав этих проблем.

В каждую эпоху ставятся на первый план такие темы, интерес к которым обуславливается всей историей развития науки. С этой точки зрения выдвижение тем, актуальных для той или иной эпохи, отражая связи науки о языке с историей философии, одновременно отвечает запросам языко-

⁵ Это указано и в действующей программе по курсу «Общее языкознание», автором которой является проф. А. С. Чикобава.

ведческой практики. Не случайно споры по поводу норм английской грамматики между рационалистами и эмпириками — сторонниками «практики», описанные нами выше, велись в Англии именно в конце XVII — XVIII вв. в период стабилизации норм национального литературного английского языка и в период начала экспансии английского языка, связанной с колониальными захватами Англии.

Вопросы, на первый взгляд кажущиеся однородными, в различные эпохи решаются по-разному и приобретают различный смысл из-за иного подхода к ним и иных задач, которые ставит перед собой их исследователь. Так, например, не раз возникал в науке о языке вопрос о грамматической форме и о структуре слова. Но впервые по-настоящему он был поставлен лишь в конце XVIII и особенно в начале XIX в., когда, в связи со сравнительным изучением языков, появился интерес к структурным моментам в языке. До того времени подобная проблема не выдвигалась, так как схоластическая описательная грамматика тождество формы и содержания принимала как нечто само по себе данное.

Сравнительно-исторический метод в языкознании поставил на очередь иные задачи. Для Ф. Боппа исследование морфологии было связано с его интересом к вопросу генезиса морфологических форм. Он стремился восстановить ранние структурные образцы, чтобы понять источники возникновения древнейших засвидетельствованных форм индоевропейских языков. Для всех компаративистов первой половины XIX в. флективные формы представлялись наиболее совершенным типом структуры слова и, мало того, отсутствие флективности считалось показателем отсутствия какой бы то ни было формы; отсюда и возникала точка зрения на языки, лишенные флексии, как на «аморфные», т. е. бесформенные.

Младограмматики расширили понятие языковой формы, признав равноценными любые средства выражения грамматического значения (аффиксацию, ударение, порядок слов, чередование звуков, служебные слова и т. д.). Тем самым они признали возможность сосуществования различных средств выражения в системе одного языка, возможность превалирования одного из этих приемов в том или ином языке. Допустив мысль о существовании всех этих приемов в доисторическое время, они разбили представление А. Шлейхера об обязательной исторической смене одного морфологического строя языка другим. Однако младограмматики были далеки от разрешения проблемы соотношения грамматического значения и грамматической формы, и последствия этого не замедлили сказаться в дальнейшем развитии взглядов ученых, вышедших из лона младограмматической школы.

Если для старшего поколения младограмматиков (Остгоф, Бругман и другие) флексия все же продолжала оставаться показателем наиболее совершенной грамматической структуры, то О. Есперсен, стремясь утвердить превосходство языков аналитического строя, возводит распад флексий в закон развития всякого языка. Подобные точки зрения исключают возможность подлинно исторического рассмотрения строя языка на основе анализа внутренних законов, в нем действующих и зависящих в своем действии от системы данного языка и условий его исторического существования.

В то же время другие западноевропейские лингвисты, считая любые формы передачи того или иного значения равноценными, уничтожают специфику грамматики, стирают грани между грамматикой и лексикой: все описательные способы передачи того или иного содержания и всевозможные словосочетания они безоговорочно зачисляют в грамматику и ставят их в один ряд с грамматическими способами, существующими в данном языке. Психологизм, проникший в науку о языке вместе с младо-

грамматической школой, немало способствовал созданию подобных концепций.

Таким образом, решение частных вопросов всегда было связано с общей методологической позицией того или другого языковедческого направления. Вместе с тем каждая эпоха выдвигала и некоторые новые задачи в области языкознания. Все это говорит о том, что курс «История языкознания» надо строить как хронологически последовательное критическое описание отдельных школ и направлений. Такое построение курса обеспечит показ исторического развития взглядов по различным вопросам языкознания. Однако для того, чтобы понять, как по-разному решаются одни и те же языковедческие вопросы в разные эпохи, необходимо и при хронологически последовательном изложении материала выделять некоторые узловые проблемы науки о языке. Это поможет вместе с тем вскрыть преемственность отдельных школ и направлений, показать, как человеческая мысль стремилась глубже и полнее изучить языковые факты, как боролись материалистические и идеалистические воззрения на природу языка. Таковы проблемы структуры различных сторон языка — лексической, грамматической и звуковой, связанные с пониманием этих структур методы их изучения, проблема исторической изменчивости языка и взаимоотношений языков между собой, происхождения языка и связи языка и мышления, проблемы связи языка и общества.

Обращая внимание слушателей на то, какое разрешение находила себе та или иная из вышеперечисленных проблем в различных языковедческих направлениях, хронологически сменявших друг друга, и выделяя новые для каждой эпохи проблемы языкознания, лектор сможет показать развитие науки о языке. При этом необходимо избежать двух ошибок, часто имеющих место при преподавании указанной дисциплины. Первая — это превращение истории языкознания в историю сравнительно-исторического метода. Большая часть западноевропейских пособий по истории науки о языке представляет собой не столько историю языкознания, сколько описание возникновения и развития сравнительно-исторического метода. Таковы, например, работы Дельбрюка «Введение в изучение индоевропейских языков», Педерсена «Лингвистика в девятнадцатом веке», Схрейнена «Введение в изучение индогерманского языкознания»⁶. Здесь же следует отметить и постоянное, но тем не менее ошибочное деление истории языкознания на «донаучный» и «научный» периоды. Хотя появление сравнительно-исторического метода в языкознании сыграло большую роль, стало действительно поворотным пунктом в науке о языке, не следует забывать, что в языкознании, помимо вопросов методики исторического анализа, есть и другая проблематика и что само появление сравнительно-исторического метода было подготовлено всеми предшествующими периодами развития языкознания и смежных с ним наук. Кроме того, оценка языкознания XIX в. как «научного», а всего предшествующего ему как «донаучного» умаляет роль выдающихся ученых XVII и XVIII вв., например М. В. Ломоносова; и вместе с тем она внушает слушателям мысль о «безупречности» языкознания XIX в., о правильности его методологических принципов, тогда как ясно, что лишь на основе марксистской методологии может быть создано подлинно научное языкознание.

Периодизация истории языкознания является самостоятельной темой, которая не может быть полностью освещена в рамках данной статьи. Она

⁶ B. Delbrück, *Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen*, 6-e Aufl., Leipzig, 1919; H. Pedersen, *Linguistic Science in the nineteenth century*, Cambridge, 1931; J. Schrijnen, *Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft*, Heidelberg, 1921.

заслуживает самостоятельного обсуждения, тем более, что ряд языковедов затрагивает ее в связи с построением различных языковедческих курсов ⁷.

Вторая ошибка, тесно связанная с указанной выше, — это изложение истории языкознания как истории только западноевропейского языкознания. На этот путь малоопытного лектора толкают и существующие пособия по данному курсу (в первую очередь широко используемый у нас русский перевод работы датского лингвиста В. Томсена «История языковедения до конца XIX века» ⁸ под ред. Р. О. Шор, М., 1938), где история русской лингвистической мысли, а также высказывания ученых Ближнего и Дальнего Востока почти не представлены. Не говоря уже о методологических пороках указанных выше работ, даже сам объем фактического материала, в них приведенного, совершенно недостаточен для построения полноценного вузовского курса «История языкознания». Вместе с тем самостоятельная подготовка недостающих материалов превращается для лектора, читающего курс, в кропотливую научно-исследовательскую работу, которая, разумеется, не может быть сразу проведена по всем необходимым разделам курса.

Требуют обсуждения и организационные вопросы. Первый из этих вопросов: когда целесообразнее читать курс «История языкознания»? С нашей точки зрения, его следует ставить для студентов старших семестров, но обязательно до чтения курса «Общее языкознание». Получив критическую оценку эволюции лингвистических воззрений, студент сможет глубже и полнее усвоить основные проблемы науки о языке, излагаемые в курсе «Общее языкознание». Возможность постановки лекций по истории языкознания на старших курсах (III или IV) обеспечивается наличием у студентов не только элементарных знаний по языкознанию, полученных ими при слушании курса «Введение в языкознание» на первом году обучения, но и некоторого лингвистического опыта, приобретенного при овладении языком специальности.

Составление программы по истории языкознания для филологических факультетов университетов, на основе которой можно было бы впоследствии дать варианты дополнительных спецкурсов для лиц, изучающих различные языки, должно быть первым шагом в создании условий, обеспечивающих хорошую постановку этой важной дисциплины. Нужно также переиздать ряд ставших библиографической редкостью классических работ русских ученых, имеющих большое значение для понимания развития лингвистических идей, например, работы А. А. Потебни, Н. В. Крушевского, И. А. Бодуэна де Куртенэ, университетский курс Ф. Ф. Фортунатова, существующий только в литографированном издании. Кроме того, необходимо оказать помощь как слушателям, так и преподавателям, читающим курс «История языкознания», изданием специальных учебных материалов.

Нужна целая серия пособий по «Истории языкознания». Недостаточно написать учебник по этому курсу, тем более, что есть все основания сомневаться в том, возможно ли вообще создать хороший учебник без предварительной монографической разработки ряда вопросов по истории отдельных лингвистических школ и, в другом плане, по истории отдельных проблем языкознания. Нам кажется, что следует начинать именно с серии подобных монографий. Вместе с тем следует издать хорошо комментированные хрестоматии по истории языкознания, разработки отдельных тем

⁷ См. Р. А. Б у д а г о в, Несколько замечаний о построении программы и курса «Общее языкознание» в университетах, «Вестник Моск. ун-та», 1952, № 7, стр. 105—114.

⁸ W. T h o m s e n, Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des XIX Jahrhunderts, Halle, 1927.

курса в виде брошюр, критических статей о различных лингвистических теориях.

При создании всех этих пособий, так же как и в процессе чтения курса по истории языкознания, важным условием научной постановки вопроса является и с т о р и ч е с к и й подход к преподносимому материалу. Необходимо критически оценить то, что было сделано тем или иным ученым, показать его ошибки и вскрыть их корни, но вместе с тем показать, что ценного и прогрессивного для с в о е г о в р е м е н и содержалось в той или иной теории; осветить, как происходило накопление знаний в области науки о языке. Огульное отрицание, крикливое шельмование и беспредметная брань по поводу объекта критики, что было свойственно некоторым представителям «нового учения» о языке, ничему не научат; в вузовском курсе, призванном воспитывать студенческую молодежь, особенно важно дать образец научного анализа явлений на основе их исторического изучения.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КОРЕЕ

Изучение языка в Корее имеет свою историю и притом достаточно длительную: начало ее восходит еще к VI в. н. э. С этого времени языкознание в Корее прошло через два больших этапа своего развития: первый из них тянется с VI в. до середины XV в., второй — с середины XV в. до конца XIX в. С конца XIX в. наступил третий этап, продолжающийся и в наши дни.

Такая периодизация определяется содержанием языкознания; само же содержание в свою очередь обуславливалось спецификой тех фактов, которые пробуждали лингвистическую мысль и направляли ее развитие. На первом этапе это была письменность: в VI в. необходимость в письменности стала ощущаться с полной силой, что и привело к появлению так называемого письма «иду» — первой исторической формы письменности в Корее, но только в середине XV в. образовалась та система письма (так называемый «онмун»¹), которая существует и в наше время и которая по праву считается национальной системой корейской письменности. Именно в связи с этим длительным процессом выработки письменности зародилась и получила свое первоначальное развитие в Корее лингвистическая наука; вопросы письменности на этом этапе целиком определяли и границы этой науки, и ее конкретное содержание.

Наступление второго этапа обусловлено выходом лингвистических исследований за пределы вопросов, непосредственно соединенных с письмом. На этом этапе предметом внимания становится язык уже в более широком объеме. Окончанием второго этапа мы считаем конец XIX в. До этого времени лингвистическая мысль в Корее развивалась в общей орбите языкознания, как оно сложилось тогда в странах Восточной Азии, главным образом в Китае, где языкознание было развито больше, чем в остальной части Азии; с конца же XIX в. языкознание в Корее как в отношении проблематики, так и в отношении принципов и методов исследования вовлекается в общее русло мировой науки о языке. Рассмотрим историю развития языкознания в Корее.

1

Выработка первой системы письма в Корее целиком связана с историей распространения и ролью китайского языка в Корее. Как полагают корейские исследователи, проникновение китайского языка на полуостров становится заметным уже во II—I вв. до н. э. Китайский язык приносили с собой китайцы, появившиеся в прилегающих к Корейскому полуострову местностях в связи с распространением власти Ханьской империи на эти части Северо-Восточной Азии. Проникновение в Корею конфуцианства, а со второй половины IV в. буддизма, занесенного туда миссионерами-китайцами, пользовавшимися буддийской канонической литературой в китайском переводе, со своей стороны способствовало распространению среди корейцев знания китайского языка. Установившиеся еще во времена Ханьской империи политические и культурные связи древних корейских царств — Когурё, Пякче и Силла — с Китаем особенно усилились с конца VI в., когда после почти трех столетий владычества на севере Китая различных чужеземных завоевателей произошло новое объединение всей страны в одном государстве: империи дома Суй — в конце VI — начале VII в., дома Тан — в дальнейшем. Усиление Китая привело тогда к вмешательству его в разгоревшуюся в VII в. междоусобную борьбу на полуострове.

После объединения в конце VII в. одним из трех корейских царств — Силла — под своею властью всего полуострова установились прочные политические и культурные отношения с Танской империей, бывшей союзницей Силла в борьбе с Когурё и Пякче. Хлынувшая в этот период в Корею широким потоком китайская культура прочно прививалась в Корее, особенно среди корейских феодалов. Верхушечные слои правящего класса обычно даже получали в Китае свое образование.

В этих условиях и аппарат по управлению страной стал строиться по образцу государственного аппарата Танской империи. Образовался обширный слой чи-

¹ В настоящее время принято название «кунмун»

новничества, обслуживавший этот аппарат. Понадобился и язык для такого аппарата, язык управления, язык правительственной канцелярии. Им и стал китайский язык, в котором уже давно сложились формы, приспособленные к тексту закона, указа, к тексту делового документа, ведомственной переписки. Китайский язык стал и языком историографии.

Именно в этом языке правительственного аппарата и зародились первые элементы корейского письма. Они зародились в способе писания корейских собственных имен и географических названий: их пришлось по необходимости писать теми же китайскими иероглифами, но уже освобожденными от смысла того слова, которое в китайском языке этим иероглифом обозначалось, и сохранившими только свое чтение; иначе говоря, пришлось писать иероглифами как знаками фонетического письма. Иероглиф с чтением *ли*, например, мог в китайской письменности обозначать слово со значением «сазан», но в таком письме этот иероглиф был просто слоговой буквой *ли*.

С течением времени в обиходе правительственных учреждений выработался особый канцелярский слог корейского языка — так называемый «ичхаль». По своей лексике он был в подавляющей части китайским, так как терминология управления была почти исключительно китайской; по своему же грамматическому строю это был язык корейский, т. е. китайские существительные склонялись по нормам корейского склонения имен, глагольные же китайские слова оформлялись при помощи корейского служебного глагола *хада* «делать» как корейские глаголы. Этот слог стал применяться в правительственных документах и в деловой переписке.

В сфере именно этого канцелярского слога был сделан второй шаг на пути создания корейского письма. Корейский язык, как известно, по своему грамматическому строю коренным образом отличается от китайского: он имеет весьма развитую систему грамматических форм, в подавляющей части выраженных при помощи агглютинирующих элементов, в то время как в китайском языке грамматические формы слова образуются главным образом аналитическим способом или способом изменения интонации. Поэтому в канцелярском слоге иероглифами — с сохранением смысла обозначаемых ими слов — можно было написать корневую знаменательную часть слова, грамматическое же обозначение приходилось писать теми же иероглифами, но уже как знаками фонетического письма. Таким путем и создавалась исторически первая форма корейского письма — фонетического, но такого, где знаками были те же иероглифы. Это письмо вырабатывалось в обиходе правительственной канцелярии, в связи с чем оно и получило наименование «иду» — «чиновничье чтение» (иероглифов).

Старые корейские письменные памятники обычно связывают появление «иду» с именем Соль Чхона — ученого VII в., но роль Соль Чхона сводилась, вероятно, только к упорядочению фонетического письма, т. е. к установлению иероглифов, наиболее подходящих для фонетического транскрибирования звуков корейского языка, иначе говоря, к устранению существовавшего до этого времени в практике разноречия. Сам же способ такого транскрибирования возник несомненно раньше. Об этом свидетельствует сохранившаяся надпись на каменной стеле времен короля Чинхуна, т. е. относящаяся к VI в. Именно поэтому и правильнее считать, что начало процесса сложения этого первоначального корейского письма следует относить по крайней мере к VI в.²

История создания этой первой системы письма в Корее знакомит нас вместе с тем и с первыми шагами лингвистической мысли в Корее. Они могут быть прослежены в следующих направлениях.

Для того чтобы применить идеографический знак китайской письменности как знак фонетической транскрипции, необходимо было отрешиться от «значения» иероглифа, т. е. значения того слова, обозначать которое этот иероглиф был призван; необходимо было, следовательно, осознать различие между словом как выразителем какого-то значения и словом как определенным звуковым комплексом.

Далее, выбор того или иного иероглифа для транскрипции какого-либо слога в корейском слове мог быть сделан лишь при ясном осознании сходств и различий между звуковым составом слова в китайском и корейском языках. Иначе говоря, применение иероглифов как знаков фонетического письма было основано на изучении звуков корейского и китайского языков. «Открытие фонетики», таким образом, было первым достижением корейских языковедов.

Вместе с тем понимание фонетических явлений в эту пору не простиралось далее различения слогов в слове. Это объясняется тем, что как транскрипционный знак применялся китайский иероглиф, фонетически всегда обозначающий именно слог. Китай-

² Некоторые китайские памятники позволяют возводить начало «иду» к еще более раннему времени. Так, в «Истории Вэйского государства» («Вэй чжи») — историографическом памятнике, появившемся в конце III в., в разделе, содержащем описание Кореи, способом «иду» записаны корейские географические названия и собственные имена, причем отбор иероглифов для такого транскрибирования настолько устойчив, что можно предполагать, что транскрипция этого памятника отражает уже сложившуюся традицию в самой Корее.

ская письменность не могла тогда научить распознавать отдельные звуки в составе слога, и осознание фонетической стороны слова поэтому и ограничилось расчленением звукового состава слова только на слоги. Вследствие этого и первое в истории Кореи письмо — китайские иероглифы, используемые как фонетические знаки, — было слоговым.

Этой сферой осознание явлений языка и ограничивалось тогда, когда писали по-китайски и дело шло только о транскрибировании китайскими знаками корейских собственных имен и географических названий. На переход в новую сферу указывает второй этап в истории приспособления китайского письма к корейскому языку, когда иероглифами стали обозначать звучание служебных элементов корейского языка, т. е. когда стали писать по-корейски.

Факт обращения к фонетическому письму для передачи служебных элементов корейского языка означал очень многое. Когда это касалось служебных слов, т. е. лексических единиц, имевших самостоятельное существование (последлоги, союзы), фонетическое написание их свидетельствовало об осознании корейцами наличия в их языке слов, служащих лишь для выражения связи между словами и, следовательно, отличных от слов вполне самостоятельных. Это было уже началом осознания грамматического строя предложения. Когда же дело шло о служебных элементах в составе слова (морфемах), это означало уже некоторое умение распознавать в слове часть вещественную и часть формальную, т. е. начало осознания грамматической природы слова. Таким образом, второй шаг лингвистической мысли в Корее — шаг, вызванный необходимостью записывать целый текст на своем языке, состоял в «открытии грамматики» — в элементарном осознании грамматического строя своего языка. И, конечно, это было сделано на основе сопоставления грамматической природы слова и строя предложения в двух языках — корейском и китайском.

2

Следующим достижением корейского языкознания было создание в декабре 1443 года второй системы корейского письма — алфавита «онмун», опубликованного с падсжащими пояснениями в 1446 году как «Наставление для народа в правильных звуках» («Хунмин-чжонгым»). Традиция приписывает изобретение «онмуна» правившему тогда королю Сечжону, но на деле вся работа была проделана комитетом ученых, собранных по приказу Сечжона при дворе специально для выработки указанного «Наставления». Имена их перечислены в предисловии к нему³. Король же, несомненно интересовавшийся этим делом, был только их покровителем.

«Онмун», так же как и «иду», — письмо фонетическое, но знаки его призваны обозначать не слоги, как в «иду», а отдельные звуки. В связи с этим и форма знаков этого алфавита иная, чем в «иду»: там этими знаками служили те же китайские иероглифы, тут же иероглифы, как обозначавшие слоги, оказались непригодны, поэтому были изобретены особые знаки.

Первое, о чем говорит алфавит «онмун», — это об осознании языковедами наличия в слове отдельных звуков. Это было связано с необходимостью обозначать в письме такие слоги, для которых нельзя было подобрать иероглифы, точно соответствующие этим слогам по своему чтению. Подобное затруднение составляло основной недостаток «иду», в котором некоторые иероглифы приходилось принимать в условном чтении. Это и послужило одной из причин, почему не письмо «иду» легло в основу корейского национального письма. В новом же алфавите указанный недостаток устранялся возможностью дать особый знак для каждого отдельного звука.

Однако «Хунмин-чжонгым» дает не только знаки для каждого звука, но и полный список этих знаков, т. е. алфавит. Число знаков в этом алфавите — 28⁴. Это значит, что для создателей «онмуна» в корейском языке того времени было 28 отдельных звуков. Таким образом, появление «онмуна» свидетельствует не только об умении различать отдельные звуки в составе слога, но и о работе по установлению количества отдельных звуков в языке, т. е. фонетического состава языка.

Появление «онмуна» свидетельствует, однако, о гораздо большем. Если мы рассмотрим к графике знаков, мы увидим, что они, эти знаки, по своему графическому облику распадаются на две большие группы: графическую основу одной группы составляет прямая линия, другой — прямой угол. На основе прямой линии построены знаки | (i), — (u), ㅏ (a), ㅑ (e), ㅓ (o), ㅕ (u); нетрудно увидеть, что это — гласные. На основе прямого угла построена графика знаков ㅗ (k, g), ㅛ (n), ㅜ (t, d), ㅡ (l, r), ㅟ (m), ㅢ (p, b), ㅤ (s), ㅥ (z); нетрудно заметить, что это — согласные. Таким образом, сама графика знаков отражает наличие вполне точных представлений о двух группах звуков — гласных и согласных. Исключение из этих графических

³ Чон Рин Чжи, Цой Хан, Сен Сам Мун, Пак Пхён Нён, Син Сук Чу, Кан Хи Ан. Ли Гэ, Ли Сон Ро.

⁴ В дальнейшем это число было сокращено до 26. Последующее описание «онмуна» имеет в виду именно это число знаков.

правил составляют только три знака: $\cdot$ ($\check{a}$), $\circ$ (η), $\perp$ (h), но ими обозначались звуки, с точки зрения создателей «онмуна», выпадающие из общей системы гласных и согласных⁵. Этот факт также служит показателем большого внимания к качественной природе звуков языка.

Красноречива графика таких пар знаков: $\vdash$ (a) и $\models$ (ja), $\dashv$ ($\circ$) и $\dashv\circ$ ($j\circ$), $\perp$ (u) и $\perp\circ$ (ju). Эта графика свидетельствует, во-первых, о понимании того, что в языке имеются гласные простые и йотированные, во-вторых, об определенном представлении отношения между ними: йотированными гласными считаются простые, к которым добавлен впереди один и тот же элемент; в графике он во всех случаях обозначается черточкой, которая, таким образом, является в полном смысле слова диакритическим знаком.

Пары таких знаков, как $\sqcap$ (k) и $\sqcap\circ$ (kh), $\sqsubset$ (t) и $\sqsubset\circ$ (th), $\mathbf{u}$ (p) и $\overline{\mathbf{u}}$ (ph), λ ($\check{c}$) и $\star$ ($\check{c}h$), где вторые знаки отличаются от первых только одной добавочной черточкой, свидетельствуют о понимании наличия в языке согласных простых и придыхательных при определенном представлении об их отношении. Дополнительная черточка и в этом случае играет роль диакритического знака.

Изучение соотношения графики знаков «онмуна» с обозначаемыми этими знаками звуками языка — предмет особой работы; здесь же, приводя вышеуказанные примеры, мы хотим отметить тот факт, что графическая композиция знаков «онмуна» не безразлична к природе обозначаемых ими звуков, что сама эта композиция является наглядным показателем, насколько далеко продвинулось понимание фонетики языка в эпоху создания «онмуна».

О таком понимании свидетельствует и самый порядок, в котором расположены знаки в алфавите. Этот порядок не случаен: в нем знаки расположены по группам, определяемым известной общностью звуков, данными знаками обозначаемых. Если взять согласные, то на первом месте идут k , kh , η , по традиционному китайскому фонетическому учению, составляющие группу «крупно-зубных»; далее идут «язычные» — t , th , n , «губные» — p , ph , m , «мелко-зубные» — $\check{c}$, $\check{c}h$, s , «гортанные» — h , «полуязычные» — r / l . Гласные также располагаются группами: сначала — u , i , $\circ$, a , u , $\circ$, т. е. простые, затем — $j\circ$, ja , ju , $j\circ$, т. е. йотированные. Таким образом, порядок букв «онмуна» отражает существовавшее тогда представление о фонетической классификации звуков.

Понять существо фонетических представлений создателей «онмуна» можно и из самого способа письма, который был ими установлен. Для каждого различаемого в языке звука существовал свой знак, но писали не отдельными буквами, а слогами: слоги писались теми буквами, которые обозначают звуки, входящие в состав слога, но каждый слог, написанный таким образом, составлял особую графическую группу, отделенную от соседних слогов. Слово *сарам* «человек» писалось, следовательно, не $\lambda\vdash\circ\vdash\sqsubset$ (*с-а-р-а-м*), а 사람 (*са-рам*). Письмо не по горизонтали, а по вертикали делало графическую обособленность каждого слога особенно ясной.

Это свидетельствует о том, что наряду с понятием отдельного звука существовало прочное представление о слоге. Именно слог считался естественной фонетической единицей языка. Такой взгляд на слог можно усмотреть в том, что даже в случае, если слог состоял из одного звука — одного гласного, этот гласный в письме давался как бы членом слога, что достигалось помещением перед ним кружка $\circ$, должествующего указывать как бы на «ноль согласного». Таким образом, a в азбуке писалось как $\vdash$, но a в составе слога — $\circ\vdash$.

Если слог заканчивался согласным, последний писался не рядом с предшествующим гласным, а внизу. Например, слог *рам* в слове *сарам* писался не $\vdash\vdash\circ$, а 람 для того, чтобы показать, что при сочетании с последующим слогом, начинающимся на гласную, конечный m данного слога соединялся в произношении с последующим гласным, но сам этот m оставался все же принадлежностью своего прежнего слога. Именительный падеж от существительного *сарам* образуется добавлением окончания u , так что получается при произношении *сарам-и*, но написанные $\text{사람} \mid$ (*са-рам-и*) продолжало указывать, что деление на слоги в этом слове будет не *са-ра-ми*, а *са-рам-и*. Таким образом, самой графикой поддерживалось представление об основе и окончании.

Возникновение алфавита «онмун» было явлением не случайным: оно основано на длительном и тщательном изучении языков и письменности окружающих Корею народов. Средоточием этого изучения был правительственный «Переводческий приказ», учрежденный в 1411 г. В этом приказе изучались языки: китайский, японский, чжурчженьский, киданьский, монгольский, рюкюский. Соответственным образом изучалась и письменность этих народов. Среди членов упомянутого выше комитета по установлению алфавита были большие знатоки этих языков; несомненно, им известен был и санскрит.

⁵ В новейшее время знак $\cdot$ исключен из алфавита в связи с исчезновением звука, ранее им обозначавшегося.

Однако более всего лингвистическая мысль в Корее этого времени зависела от китайской. Об этом явственно свидетельствует «Хунмин-чжонгым»: все объяснения, которые даются в этом «Наставлении» по поводу приведенного в нем алфавита, основаны на учении о звуках языка, разработанном китайскими фонетистами. Составители «онмуна» поддерживали даже прямую связь с китайскими языковедами того времени: так, в предисловии к «Хунмин-чжонгым» специально указывается, что Син Сук Чу — один из членов упомянутого комитета — тринадцать раз выезжал в Ляодун для консультаций с проживавшим там в ссылке выдающимся китайским языковедом той эпохи Хуан Цзанем.

О том, что корейские языковеды того времени тщательно изучали фонетику китайского языка и китайскую фонетическую науку, свидетельствует факт появления многих работ корейских авторов по фонетике китайского языка. Такова, например, работа Син Сук Чу и Чой Хана «Тонгук чоньун» — трактат по китайской фонетике (1447 г.), а также работа Син Сук Чу «Сасён Тхонго» — специальное исследование так называемых «тонов» китайского языка (1449 г.). Таким образом, факт принадлежности корейского языкознания в XV в. к той системе представлений о языке, которая выработалась в Китае, не подлежит сомнению. И все же «онмун» свидетельствует и об известной самостоятельности корейских лингвистов, так как их фонетические представления, несомненно, создались на базе изучения ряда языков и почерпнутых из этого изучения их собственных наблюдений.

Фонетика оставалась и в дальнейшем главной областью корейского языкознания. Все же с XVI в. начинает развиваться и лексикология. Лексикология зародилась в связи с изучением китайского языка. Создавая пособия для его изучения, корейские языковеды должны были объяснять китайские слова корейскими, а такие объяснения вели к сопоставлению объема и характера значений сопоставляемых китайских и корейских слов. Поэтому корейская лексикология, так же как и фонетика, зарождалась на почве сопоставления двух языков и сводилась прежде всего к семантике. Очень важным памятником в этой области является «Хунмон чэхэ» (1527 г.) — исследование китайской лексики, работа одного из выдающихся корейских языковедов средних веков — Чой Се Чжина. В этой работе при объяснении китайских слов приведены и объяснены 3360 корейских слов того времени, что делает этот памятник исключительно ценным для историков корейского языка.

Вслед за вниманием к значению слов начинает проявляться интерес к происхождению этих значений; иначе говоря, вслед за семасиологией начинает развиваться этимология. Эта струя становится особенно заметной в XVIII в., причем также в работах, посвященных китайскому языку, т. е. опять-таки на почве сопоставления двух языков. Такова, например, работа «Аон гакби», автор которой Чон Да Сан помимо раскрытия этимологии обращает внимание и на изменения значений некоторых китайских слов, проникших в корейский язык. Большое значение имеет работа «Хваун паньон чамхэ», автор которой Хван Юн Сек для раскрытия этимологий корейских слов привлекает материал из ряда языков — китайского, монгольского, санскрита и др. В частности, в этой же работе содержится и исследование происхождения «онмуна» — как с точки зрения графики, так и со стороны тех фонетических представлений, которые легли в основу этого алфавита, причем автор находит, что источником «онмуна» был древнеиндийский алфавит — «деванагари». Этот факт свидетельствует о том, что представленная некоторыми представителями европейского востоковедения (Г. А. Джайлз, Г. фон Габеленц, М. Курап, Дж. Скотт, В. Дж. Астон) гипотеза об индийском происхождении корейского национального письма для языковедов Кореи далеко не нова и не оригинальна⁶.

Такое содержание корейского языкознания на втором большом этапе его истории — на том этапе, который наступил в середине XV в. вслед за окончательным установлением корейской письменности. Как было указано выше, характерным признаком этого этапа является выход корейского языкознания за пределы явлений, связанных с письменностью. Наряду с продолжавшей развиваться фонетикой зародилась и получила первоначальное развитие лексикология — в основном семасиология и этимология.

⁶ К «деванагари» возводили корейское письмо и другие старые корейские языковеды. Из европейских исследователей некоторые (Л. де Рони, Г. В. Галберт) выводят «онмун» из тибетского письма, другие (например, А. Ремюза) — из киданьского и чжурчженского; существует даже мнение о происхождении «онмуна» из сирийского письма (Дж. Эдкинс). Сами создатели «Хунмин-чжонгым» (ср. предисловие к «Хунмин-чжонгым», написанное Чон Рин Чжи) считали, что в основу графики знаков, обозначающих согласные, легло положение органов речи при произнесении соответствующих звуков, в то время как графика знаков, обозначающих гласные, установлена в соответствии с некоторыми положениями натурфилософии конфуцианства Сунской школы. Иначе говоря, они утверждали полную независимость изобретенного ими письма от каких-либо других видов письма.

3

Третий этап истории языкознания в Корее начинается в конце XIX в. Наступление нового этапа, влекущее за собой резкое изменение содержания языковедения и общего направления лингвистической мысли, связано при этом с крутым поворотом в самой истории корейского народа.

В конце XIX в. в Корее начинают развиваться капиталистические отношения. О наступившем кризисе феодального строя явственно свидетельствует так называемое «восстание тонхаков» — крестьянская война, вспыхнувшая в 1894 г. и нанесяшая серьезный удар по феодальной системе.

Необходимо отметить, однако, что это антифеодальное движение народных масс очень скоро соединилось с борьбой против подчинения страны иностранному капиталу, прежде всего — в лице Японии. Как известно, именно с конца XIX в. началось настойчивое проникновение японского империализма в Корею, приведшее в 1910 г. даже к прямой аннексии. Это вторжение японского империализма принесло корейскому народу режим жесточайшего национального угнетения.

Несмотря на то, что крестьянская война 1894 г. окончилась поражением восставших, все же она оказала огромное воздействие на формирование их классового и национального самосознания.

С развитием капиталистических отношений развернулся процесс складывания корейской нации, а вместе с этим и процесс превращения языка корейской народности в язык национальный. Одним из проявлений этого процесса была начавшаяся борьба за полноправие корейского языка, за утверждение его во всех сферах государственной и общественной жизни.

Выше было указано, что уже с давних пор языком правительственного аппарата, языком государственного управления был китайский язык. Такое положение продержалось до самого конца XIX в. Только в 1895 г. было разрешено применять корейский язык и в официальной документации. Правда, это был письменно-литературный язык, значительно отошедший от живого языка народа, но все же это был родной, а не чужой язык. Введение корейского языка в обиход правительственной канцелярии было одним из последствий того мощного национального подъема, который проявился в крестьянской войне 1894 г.

Развитие языка корейской народности в язык корейской нации отразилось и на корейском языкознании. Сразу же встали проблемы нормализации различных сторон языка. Первым проявлением этой новой линии в развитии лингвистической мысли была появившаяся в 1897 г. работа Ли Бон Уна «Кунмун чжонри» — «Основы корейского языка». В предисловии к этой работе автор указывал, что изучение корейского языка, в особенности же его грамматики, является важной задачей корейского народа. Наряду с этим Ли Бон Ун подчеркивал и необходимость составления словаря корейского языка. В своей работе Ли Бон Ун дал только описание фонетической системы корейского языка, учитывая при этом вопросы акцентуации; в области изучения грамматического строя он не дал ничего существенного. Все же его призыв к изучению грамматики сыграл в дальнейшем большую роль.

В первое время процесс нормализации больше всего коснулся орфографии. Можно сказать, что вопросы орфографии на этом этапе — на этапе утверждения национального языка — больше всего занимали внимание и корейских языковедов, и передовой корейской общественности. Это вполне понятно: надо было ответить на вопрос, поставленный перед всеми самой жизнью: как следует правильно писать?

Первый проект орфографии был выработан не языковедом, а медиком по специальности — Ти Сек Ёном (факт — характерный сам по себе: он показывает, какое широкое общественное значение имели тогда эти вопросы). Указанный проект, изложенный в работе «Новое исправление родного языка» («Син чжон кунмун»), был представлен правительству и привлек широкое внимание передовой общественности Кореи того времени.

В 1907 г. по инициативе министра просвещения Ли Дэ Гона было учреждено Корейское языковедческое общество (Кунмун ёнгухё), объединившее в своем составе всех занимавшихся изучением родного языка. Это общество также в первую очередь занялось вопросами орфографии и разработало свой проект орфографических правил, который и был представлен правительству для утверждения и введения в действие. Однако смена министра просвещения помешала проведению этого проекта в жизнь. Сохранились документы первого и второго заседаний этого общества, позволяющие судить о значительности задуманных мероприятий. На втором заседании с докладом выступил Чу Си Гён — один из выдающихся в то время знатоков родного языка. В его докладе содержится интересное высказывание о характере корейской письменности, об иноязычных элементах в корейском языке как об отражении исторических связей корейского народа с другими народами, о формировании общекорейского языка на базе центральных диалектов. Особого внимания заслуживает трактовка Чу Си Гёном вопросов грамматического строя корейского языка.

Именно с этого времени наряду с вопросами орфографии в центре внимания корей-

ских языковедов встали и вопросы грамматики. Следствием такого внимания было появление в 1908 г. грамматики, автором которой был Цой Кван Ок. Она состояла из двух частей: в первой излагалась фонетика и морфология, во второй — синтаксис. Это была первая корейская грамматика, составленная на основе тех грамматических представлений, которые были выработаны грамматической наукой на Западе.

В следующем же году появилась новая грамматика, написанная Ю Гиль Чжуном. Она представляет собой более значительный труд сравнительно с грамматикой Цой Кван Ока и состоит из трех частей: в первой части, которую автор называет «Введением», говорится о значении грамматики, излагается фонетика корейского языка и объясняется система письменности; во второй части, названной «Язык», делается обзор частей речи; третья часть посвящена синтаксису. Грамматика Ю Гиль Чжуна является дальнейшим шагом по пути изложения и объяснения грамматических явлений корейского языка на основе грамматических учений Запада. Достаточно взглянуть на список частей речи, которые он находит в корейском языке, чтобы убедиться в этом. Он находит в своем языке следующие части речи: существительное, местоимение, глагол, вспомогательный глагол, прилагательное, союз, наречие, междометие.

Наибольшее теоретическое значение для этого периода корейского языкознания имеют, однако, работы упомянутого выше Чу Си Гёна (1876—1914). Ему принадлежит ряд крупных работ: «Фонетика родного языка» (1908), «Грамматика родного языка» (1910), «Звуки речи» (1914). Из них наибольшее значение имеет «Грамматика родного языка». Она состоит из трех частей: фонетики, морфологии и синтаксиса. Автор анализирует фонетическую природу звуков корейского языка, устанавливает различие между монофтонгами и дифтонгами, говорит о геминантах. Ему принадлежит, в частности, заслуга в закреплении способа обозначения удвоенных согласных в начале слога двойным их написанием. Интересны и важны его экскурсы в историю корейской фонетической системы. Особенностью концепции Чу Си Гёна является то, что он находит в корейском языке не одну категорию прилагательного, а две: прилагательное, выступающее в функции сказуемого, и прилагательное, выступающее в функции определения. В самостоятельную категорию, включаемую в список частей речи, он возводит грамматические показатели имени (например, падежные суффиксы); такой же отдельной частью речи являются у него и грамматические показатели глагола.

Эта система частей речи в дальнейшем пересматривается автором. В работе «Звуки речи» он уже не помещает существительное и показатели грамматических форм существительного в один ряд; он делит части речи на «основные» и «второстепенные», относит показатели грамматических форм как имени, так и глагола к второстепенным; к второстепенным частям речи он относит и союзы.

Несмотря на ряд очевидных для нас недостатков, работы Чу Си Гёна имели большое значение в развитии грамматической науки в Корее; они сильно продвинули вперед изучение грамматического строя корейского языка. Поучительны даже сами его ошибки: так, например, за выделением им показателей грамматических форм имени и глагола в самостоятельную категорию скрывается мысль о невозможности полного отождествления типа грамматического формообразования в корейском языке с типом формообразования в индоевропейских языках. Этим самым он отошел от пути не критического перенесения на корейский язык всех категорий индоевропейских языков, как они излагались в школьных грамматиках этих языков в то время.

В последние годы жизни Чу Си Гёна работа языковедов над изучением родного языка сильно затруднилась. В 1910 г. Япония аннексировала Корею. С этого времени Корея официально была включена в состав Японской империи в качестве ее колонии. Японские колонизаторы с неслыханной жестокостью начинают проводить политику насильственной японизации корейцев. С этих пор корейский язык подвергается всеобщему гонению. Рассматривая школу как проводник своей ассимиляторской политики, японцы ввели в школах преподавание на японском языке, а с 1935 г. полностью запретили преподавание корейского языка как особого предмета в средних школах. Японский язык был объявлен государственным языком в Корее.

В течение 36 лет на пути развития и изучения корейского языка ставились почти непреодолимые препятствия. Однако японская политика насильственной ассимиляции потерпела крах: корейский язык, бережно хранимый всем народом, продолжал развиваться, а борьба за права родного языка слилась с национально-освободительным движением. Передовые, патристически настроенные ученые Кореи в тяжелых условиях продолжали дело, начатое Чу Си Гёном, заботясь о развитии и совершенствовании родного языка.

После смерти Чу Си Гёна не прекращалось тщательное изучение корейского языка его продолжателями и учениками во главе с Ким Ду Боном, Ли Гын Ро, Ли Юн Чже и другими. Особенно большая работа в области грамматики и фонетики корейского языка была проделана Ким Ду Боном.

Ким Ду Бон начал свою научную деятельность в самую тяжелую пору для корейского языка, в первые годы превращения Кореи в колонию японского империализма.

В 1916 г. он выступил с новой разработкой грамматики корейского языка. В своем труде «Грамматика корейского языка» («Чосон мальбон») он дал описание фонетики корейского языка и его грамматического строя: морфологии с классификацией всех частей речи и синтаксиса с классификацией членов предложения, описанием словосочетаний и типов простого и сложного предложений. В 1923 г., находясь в эмиграции, Ким Ду Бон издал в Шанхае свою более полную и совершенную грамматику корейского языка, заложив основы научной разработки грамматики корейского национального языка.

Следует также отметить работы по фонетике Ли Гын Ро, проделавшего экспериментальное исследование корейской фонетической системы, анализировавшего не только фонемы современного корейского языка, но и изучавшего также историческую фонетику его. Кроме того, Лин Гын Ро занимался также лексикографией и вопросами корейской орфографии. Над составлением корейского словаря он начал работать с 1929 г.

Ценными для изучения корейского языка являются также работы Хон Ги Муна по истории корейского языкознания, грамматике и орфографии, в особенности его статья о грамматике, помещенная в журнале «Современная критика» («Хёндэ пхён-нон») в 1926 г., и статьи «Исследование форм числительных», «Об орфографии» и «О фонеме *h*», помещенные в газете «Чосон».

Чон Мон Су, павший смертью храбрых во время войны против американских захватчиков, начал свою научно-исследовательскую деятельность еще в условиях колониальной Кореи. Представляют большой интерес его исследования лексики и истории корейского языка, а также этимологические исследования. Его статья «Исследование древней корейской лексики», напечатанная в журнале «Корейская письменность» («Хангыль») в 1937 г., как и другие его работы, играет большую роль при изучении истории корейского языка.

Помимо указанных работ, в журналах и газетах печатались статьи и других языковедов по грамматике, фонетике, истории языка и диалектологии. Все эти статьи относятся ко времени после 1926 г., когда было отмечено 480-летие корейской письменности.

О том, как корейская общественность боролась за изучение родного языка, говорит создание в 1921 г. в Сеуле Общества изучения корейского языка (Чосон'о ёнгухё), переименованного в 1931 г. в Научное общество корейского языка (Чосон'о хакхё), объединившее многих крупных корейских языковедов. Большое внимание в работе этого общества уделялось вопросам разработки норм корейского литературного языка, унификации корейской орфографии и словарной работе. Органом общества был журнал «Корейская письменность» («Хангыль»). Общество выработало проект унификации корейской орфографии, опирающийся на морфологический принцип; проект, правда, не лишен недостатков, особенно в рассмотрении понятия фонемы и чередования звуков речи в различных формах одного и того же слова. В 1943 г. японские власти арестовали многих членов этого общества и приговорили их к тюремному заключению.

С 1931 по 1934 г. издательство газет «Чосон Ильбо» и «Тон-а Ильбо» развернуло движение за обучение корейцев их родному языку, запрещенному в школе японцами, мобилизуя для своих целей студентов и школьников, уезжающих домой на летние каникулы. Движение это, несомненно, сыграло положительную роль в деле укрепления корейского литературного языка. Таким образом, несмотря на жесточайшую ассимиляторскую политику японского империализма, корейцы продолжали изучать свой родной язык.

Освобождение Кореи от ига японского империализма доблестной Советской Армией в августе 1945 г. открыло корейскому народу широкую возможность пользоваться своим родным языком во всех сферах общественной жизни, изучать его и способствовать его развитию и совершенствованию. На корейских ученых легла ответственная работа в области изучения языка, которая могла быть осуществлена лишь целым коллективом. В связи с этим в 1947 г. было создано Общество изучения корейского языка и письменности. С октября 1948 г. в связи с провозглашением Кореи народно-демократической республикой и образованием единого демократического правительства общество перешло в ведение Министерства просвещения.

Народно-демократическое правительство поставило перед языковедческим обществом, в состав которого входили крупнейшие корейские языковеды во главе с Ким Ду Боном и Ли Гын Ро, целый ряд больших и неотложных задач, таких, как создание нормативной грамматики корейского языка, толкового корейского словаря на 100 тыс. слов, установление новой орфографии (в связи с переходом на письменность без иероглифики с июня 1949 г.). Корейские языковеды с большим энтузиазмом приступили к выполнению всех поставленных перед ними задач и добились в этом отношении значительных успехов. Так, в сентябре 1949 г. была написана Ким Су Гёном нормативная грамматика корейского языка. Большое значение при этом имела работа по описанию фонетики и грамматики корейского языка, проделанная старшим поколением корейских языковедов — Чу Си Гёном и Ким Ду Боном.

Кровопролитная война, развязанная в Корее американскими агрессорами, затруднила работу корейских языковедов, но не смогла прекратить ее. Особенное значение для развития современного корейского языкознания имели результаты лингвистической дискуссии 1950 года в СССР и выход в свет работы И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Большую роль в распространении в Корее передовых идей марксистского языкознания сыграли и труды проф. Ким Су Гёна, заведующего кафедрой корейского языка Университета им. Ким Ир Сена. С 1952 г. лингвистические исследования в КНДР возглавляет созданный в системе Академии наук КНДР Институт языкознания (в связи с чем отпала необходимость в существовании особого Общества по изучению корейского языка и письменности). Главной задачей этого института является изучение проблем истории развития корейского языка, исторической грамматики и исторической фонетики, корейской лексикологии, а также проблем современного корейского языка.

Цой Ден Ху

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

J. Kuryłowicz. L'accentuation des langues indo-européennes («Prace Komisji językowej» Polskiej akad. umiejętności, № 37).— Kraków, nakładem Polskiej akad. umiejętności, 1952. 527 стр.

Фундаментальная работа выдающегося польского лингвиста Е. Куриловича «Ударение в индоевропейских языках» подводит итог его почти тридцатилетним исследованиям по этому вопросу, начатым еще в 1925 г. монографией об ударении в «Авесте». В своем труде Е. Курилович исследует ударение в индоевропейских языках с точки зрения его морфологической роли. Необходимо отметить, что подобного рода задача была поставлена еще основоположником современной фонологии И. А. Бодуэном де Куртене. Он указывал, что индоевропейское ударение имело «морфологическое значение», утраченное, например, в латинском языке¹. Глава казанской лингвистической школы дал блестящую характеристику ударения в различных славянских языках, показав, как в них были замещены «...утраченные противоположности (гласных долгих и кратких, ударенных и неударенных) для выражения морфологических противоположностей»². Но эти глубокие идеи Бодуэна были забыты (повидимому, они остались неизвестными и автору рецензируемой работы). Лишь много десятилетий спустя проблема взаимосвязи всех составных частей системы языка стала в центре внимания лингвистов.

Понимание взаимообусловленности фонетических и морфологических явлений — неоспоримое достоинство работ Е. Куриловича — позволяет ему по-новому осветить многие вопросы истории индоевропейских языков. Вопросы фонологии ударения не могли быть решены до тех пор, пока не изучались функции ударения по отношению к слову, пока ударение считалось признаком слога или моры³. Изучая морфологические функции ударения в древнеиндийском, древнегреческом и балтийско-славянских языках, Курилович исходит из того, что ударение в этих языках налагается на звуковую структуру всего слова в целом (стр. 3)⁴. Вследствие этого при изучении истории ударения устанавливаются ясные соотношения между древними и преобразованными формами, различающимися только ударением. Поэтому акцентологические исследования, по мнению Куриловича, могут много дать для теории морфологического развития языка. Сравнительная грамматика индоевропейских языков начинает все больше служить общему языкознанию (стр. 2). Эти мысли Куриловича представляют большой интерес для советских лингвистов. Нашими лингвистами отмечалось, что сравнительно-историческое изучение акцентологических явлений в родственных языках позволяет углубить понимание сущности грамматической аналогии⁵. Исследуя родственные языки, советские лингвисты руководствуются тем, что изучение языкового родства должно способствовать раскрытию законов развития языка. Но в трактовке закономерностей развития языка советские лингвисты не могут согласиться с Е. Куриловичем.

Согласно теории Е. Куриловича, единственным решающим фактором, который определяет направление действия грамматической аналогии, являются соотношения

¹ См. «Подробную программу лекций И. А. Бодуэна де Куртене в 1877—1878 учебном году», Казань — Варшава, 1881, стр. 133—134; ср. также стр. 139.

² Там же, стр. 144

³ В этом отношении показательна неудача Трэджера (см. G. L. Trager, The theory of accentual systems, сб. «Language, culture and personality. Essays in memory of Edward Sapir», Menasha, Wisconsin, 1941, стр. 131—145). Ср. работу П. С. Кузнецова «К вопросу о фонологии ударения» («Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», вып. 6, М., 1948, стр. 12—17), где излагается принципиально отличная от взглядов Трэджера концепция, близкая к точке зрения Куриловича (на это совпадение указывает и П. С. Кузнецов, см. стр. 15).

⁴ Здесь и далее в тексте в скобках указываем страницы рецензируемой книги.

⁵ См. Л. А. Булаховский, Значение славянских языков для реконструкции древнейшей системы родственных языков, «Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», вып. 1, М., 1946, стр. 8.

между элементами системы языка, их внутренняя иерархия (стр. 1, 496). В понимании Куриловичем системы языка сказывается воздействие мертвых схем глоссематики Ельмслева. Трудно понять, почему историк языка такого масштаба, как Курилович, мог увлечься идеей «изоморфизма» — параллелизма между «планом выражения» и «планом содержания» (согласно терминологии копенгагенского структурализма)⁶. Что может дать для понимания истории языка, например, такое утверждение в духе «изоморфизма»: слоги языков (ударные и безударные, с различным вокализмом) с немusыкальным ударением сравнимы со словами индоевропейских языков, где синтаксические функции слова отражены в окончаниях? (стр. 442). Такое понимание языка как совокупности параллельных «планов» по существу противоречит концепции языка как системы, все составные части которой взаимосвязаны. Поэтому возникают внутренние противоречия в работах Куриловича. Ценность конкретно-исторических исследований Куриловича, показывающих взаимосвязь развития фонетических и морфологических элементов системы языка, снижается вследствие влияния на талантливое польское ученого антиисторических концепций структуралистов. Правильному пониманию развития звукового строя языка препятствует стремление Куриловича противопоставить фонологию фонетике (стр. 13, 28, 41, 249—250 и др.). Если понимание функций ударения по отношению к слову отличает Куриловича от большинства зарубежных фонологов, то в анализе различных типов музыкального ударения он следует установившемуся шаблону, сводя все типы ударения к сочетанию ударной и безударной моры. Этот метод, явно недостаточный для анализа ряда языков (см. ниже о латышском), отличается большой искусственностью. По признанию одного из известных зарубежных фонологов, понятие моры (в смысле, употребляемом структуралистами) «...не соответствует никакой конкретной реальности»⁷, употребляется лишь для удобства описания. С помощью фонологической теории мор нельзя показать своеобразие отдельных языков, особенностей их развития.

Воздействие структурализма препятствует Куриловичу раскрыть закономерности развития языка. Он выдвигает несколько абстрактных формул развития языка, остающихся недоказанными, по признанию самого автора (стр. 2). Курилович отчетливо видит основной недостаток своих построений. Теоретическую работу об аналогии он заканчивает таким выводом: «Конкретная грамматическая система определяет, какие „аналогические“ преобразования являются возможными. Но только социальный фактор решает, осуществятся ли эти возможности и, если осуществятся, то в какой мере... Лингвистика, обязанная считаться с этими двумя различными факторами, никогда не может предвидеть, какие произойдут изменения. Кроме взаимозависимости и иерархии лингвистических элементов внутри данной системы, она (т. е. лингвистика) должна иметь дело с исторической случайностью социальной структуры. И хотя общее языкознание скорее склоняется к анализу системы как таковой, конкретные исторические проблемы находят удовлетворительное разрешение только тогда, когда одновременно учитываются оба фактора»⁸. Из этого рассуждения со всей очевидностью следует, что всякое конкретно-историческое исследование должно вскрыть связи развития языка с историей его носителей, с развитием общества. Но Курилович, по видимому, считает, что если учитывать социальный фактор, то невозможно будет установить строгие закономерности. Недаром он несколько раз в цитированной статье и в разбираемой монографии употребляет по отношению к «социальному фактору» выражение «историческая случайность» (*hasard historique*, стр. 2; *contingences historiques*, стр. 465). В действительности же подлинные законы развития языка могут быть поняты лишь тогда, когда он изучается в неразрывной связи с развитием общества. Непонимание этого принципа обуславливает ошибочность той теории развития языка, которой руководствуется Курилович в своем исследовании. Формулы, характеризующие направление языковых изменений⁹, на которые он постоянно опирается в рецензируемом труде, остаются абстрактными и безжизненными. Поэтому сравнительно-исторический метод в исследовании Куриловича не стал подлинно историческим, хотя критику Куриловичем антиисторизма традиционной сравнительной грамматики нельзя не признать очень сильной.

⁶ См. J. Kuryłowicz, *La notion de l'isomorphisme*, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», vol. V — «Recherches structurales», 1949, Copenhague, 1949, стр. 48—60. Ср. критику понятия «изоморфизм» в журн. «Вопросы языкознания» за 1953 г. в статьях О. С. Ахмановой «Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания» (№ 3, стр. 25—47) и А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой «О курсе „Общее языкознание“» (№ 4, стр. 74).

⁷ A. Martinet, *Où en est la phonologie?*, «Lingua», vol. I, 1, Haarlem, 1947, стр. 51.

⁸ J. Kuryłowicz, *La nature des procès dits «analogiques»*, «Acta Linguistica», Copenhague, 1945—49, vol. V, fasc. 1, стр. 37.

⁹ Эти формулы изложены в названной выше статье Куриловича «La nature des procès dits „analogiques“», стр. 15—37.

В своих ранних работах Курилович (как и Э. Бенвенист) выступил против распространения представления об индоевропейском языке-основе как языке без истории. Курилович поставил перед собой задачу установить относительную хронологию развития индоевропейского языка-основы: в тех фактах, которые реконструируются на основе сравнения индоевропейских языков, оказалось возможным выделить различные хронологические слои, отделить более древние явления от более новых¹⁰. К индоевропейскому языку-основе был применен метод так называемой «внутренней реконструкции» («метод фоно-морфологического анализа», по терминологии проф. А. И. Смирницкого¹¹). В последних работах Куриловича рамки применения этого метода значительно расширены: он служит уже не только для установления относительной хронологии развития языка-основы, но и для реконструкции этого языка. По мнению Куриловича, язык-основа в традиционной сравнительной грамматике представляет собой смесь разнородных фактов (стр. 3, 497), противоречащую пониманию языка как системы¹². Для того чтобы избежать этой ошибки, Курилович считает необходимым при восстановлении языка-основы опираться на один из родственных языков. В каждом языке существуют архаические явления, позволяющие частично реконструировать его доисторические черты. При помощи такого рода явлений (т. е. методом внутренней реконструкции) и следует восстанавливать язык-основу, причем в восстановленную таким способом систему языка-основы можно внести поправки на базе сравнения с другими родственными языками только в том случае, если эти поправки не противоречат системе. В каждом отдельном случае следует устанавливать, какой из родственных языков должен быть выбран в качестве основы для реконструкции. В частности, для восстановления системы индоевропейского ударения должен быть выбран в качестве основы древнеиндийский (ведийский), так как в ведийском ударении нет нововведений по сравнению с другими языками, тогда как другие языки, по мнению Куриловича, обнаруживают нововведения в области ударения по сравнению с ведийским. Следовательно, в соответствии с методом, предлагаемым Куриловичем, задача сравнения родственных языков друг с другом сводится к определению языка, который должен быть выбран в качестве основы для реконструкции; сама же реконструкция осуществляется, в основном, не при помощи сравнения, а на основе архаических элементов одного языка.

Признавая ценность метода внутренней реконструкции, следует тем не менее отметить, что в работах Куриловича возникает опасность разобщения этого метода с обычным сравнительным методом. Между тем исследовательская практика показывает, что наибольших результатов можно достичь при тесном сочетании этих двух способов сравнительно-исторического исследования (достаточно сослаться на опыт изучения индоевропейского гетероклитического склонения). С другой стороны, для удачного применения метода внутренней реконструкции необходимо строгое доказательство большей древности одних явлений по сравнению с другими. Курилович не дает бесспорной мотивировки выбора ведийского ударения в качестве основы для реконструкции индоевропейского; такой мотивировкой не может считаться его истолкование фактов древнегреческого и балтийско-славянских языков, так как при изучении системы ударения этих языков он исходит из системы индоевропейского, отождествляемого с ведийским (т. е. из того положения, которое само нуждается в обосновании). Это показывает, что необходимо разработать четкую методику такого рода исследований, которая помогла бы избежать произвольных допущений.

Индийскому ударению в соотношении с индоевропейским посвящается первая глава книги (стр. 6—120), которая следует за предисловием (стр. 1—5), излагающим задачи работы и общие установки автора. Первая глава состоит из 4 параграфов, посвященных соответственно именному склонению (стр. 6—31), именному словопроизводству (стр. 32—73), именному словосложению (74—104), личным формам глагола (105—120). Курилович доказывает, что «колонное» ударение в ведийских именных парадигмах, постоянно падающее на один и тот же слог (считая с начала слова), не является первичным. Для доисторического состояния Курилович предполагает подвижность ударения и обязательное ударение на слабых падежах во всех парадигмах. Пресобозначение древнего ударения Курилович объясняет воздействием факторов фонетических: исчезновением редуцированных гласных и изменением функций сонантов — и морфологических: взаимовлиянием противопоставленных друг другу баритонических (имеющих ударение не на окончании) и окситонических (конечноударных) парадигм. Последнему фактору в соответствии с общелингвистическими взглядами автора придается очень большое значение; поэтому некоторые явления получают чрезвычайно схематичное

¹⁰ См. J. K u r y ł o w i c z, *Études indoeuropéennes*, I («Prace Komisji językowej», Polskiej akad. umiejętności, № 21), Kraków, 1935.

¹¹ А. И. С м и р н и ц к и й, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 13—14.

¹² См. J. K u r y ł o w i c z, *Le degré long en indo-iranien*, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. 44, fasc. 1, Paris, 1948, стр. 42.

истолкование. В частности, это относится к объяснению сохранности архаического ударения в ряде слов. Курилович считает, что помимо слов типа *asṛk* «кровь», род. падеж *asṇh*, ударение которых не имеет доказательной силы ввиду гетероклитического характера парадигмы, в древнеиндийском было две баритонические основы, сохранившие древнее подвижное ударение: *pānthāh* «путь», род. падеж *pathāh*, и *pāmān* «мужчина», род. падеж *pumsih*. Архаичность ударения в этих словах Курилович склонен объяснять тем, что не существовало окситонических основ, которые противопоставлялись бы этим баритоническим основам и вызвали бы в них изменение ударения (стр. 15). Но в действительности слово *pānthāh* является гетероклитическим образованием и с исторической точки зрения¹³, и с точки зрения соотношений в самом древнеиндийском, где отчетливо выделяются падежи типа твор. падежа мн. числа *pathibhiḥ* с основой на *-i*. По ударению эти падежи объединяются с другими слабыми падежами (ср. *pathibhiḥ*: *pathiḥ* с «колонным» ударением) и противопоставляются сильным падежам. Что же касается слова *pāmāns*, то оно в санскрите стало восприниматься также как слово гетероклитического типа, о чем свидетельствуют формы «средних» падежей с отсутствием корневого *-s-*: твор. падеж мн. числа *pumbhiḥ* (ср. *pumsah* с *-s-*). Правда, в ведийском эти формы не засвидетельствованы, но единственная форма «среднего падежа» от этого слова в ведийском — форма местн. падежа мн. числа *pumsu* (вместо **pums-su*; ср. *mās-su* от *mās* «месяц»¹⁴) показывает, что уже могло произойти переосмысление этой формы (*pum—sū* вместо **pums-su*), вследствие которого стало возможным образование санскритских форм *pumbhiḥ* и т. п.¹⁵. Следовательно, в обоих случаях (*pānthāh* и *pāmāns*) сохранение древнего ударения оказывается связанным с особым характером самой парадигмы слова, а не с отсутствием противопоставленных ей парадигм.

Нельзя согласиться и с теми выводами, которые Курилович делает из подвижного ударения древнеиндийских корневых слов. При помощи этого факта Курилович доказывает, так сказать, «от противного», древнюю подвижность основ, состоящих из сочетания корня с суффиксом, например, *bhrāter* «брат» (стр. 16—18). Рассуждение Куриловича основано на одной из тех общих формул развития языка, о которых речь шла выше. Согласно этой формуле, корни «основаны» на сочетаниях корня с суффиксом и являются как бы сокращением этих сочетаний; поэтому развитие корней обусловлено развитием сочетаний корня с суффиксом. Верной является мысль о взаимодействии корня и производных от него слов¹⁶, но неправильно было бы делать на этом основании вывод о безусловной зависимости корневых слов от производных. Курилович, судя по его теоретической работе¹⁷, понимает, что нельзя механически применять положение о взаимодействии корня и производных слов. Но он неправильно освещает соотношения в системе языка, когда утверждает, что слова типа *bhrāter* в древности должны были иметь подвижное ударение, так как в противном случае неподвижность ударения в парадигмах этих слов привела бы к неподвижности ударения односложных корневых слов. Курилович не учитывает особого удельного веса корневых слов в лексической системе языка, их исключительной устойчивости. Как показывают рассмотренные примеры, общелингвистические взгляды Куриловича не дают ему возможности правильно понимать причины сохранения архаических черт в системе языка, между тем это очень важно именно для того метода реконструкции языка-основы, которым он пользуется.

Изложенная в работе Куриловича теория развития ударения в индоевропейском именном склонении, на основании которой Курилович объясняет и многие явления в словообразовании, вызывает некоторые сомнения со стороны относительной хронологии: Курилович, повидимому, предполагает, что «средние» падежи существовали еще до ослабления гласных (ср. на стр. 16 замечание об окончании *-bhyaḥ*). Но этот процесс относится к очень древнему периоду [как и все преобразование ударения именных парадигм (см. стр. 31)]. Между тем средние падежи возникли в сравнительно позднюю эпоху, как убедительно показал сам Курилович в одной из своих ранних работ¹⁸. Хеттский язык, показывающий следы давнего исчезновения безударных гласных (например, в чередующемся с *-tar* в гетероклитическом склонении *-nn- < *tn- < *t₀n*), в то же время в склонении отражает эпоху, предшествовавшую развитию средних па-

¹³ См. E. Benveniste, *Origines de la formation des noms en indo-européen*, I, Paris, 1935, стр. 62 и 6.

¹⁴ Ср. A. A. Macdonell, *Vedic Grammar*, Strassburg, 1910, стр. 221 (примеч. 9).

¹⁵ Ошибочно распространенное мнение о чисто фонетическом происхождении этих форм из *pums-bhiḥ* и т. п., так как в древнеиндийском не было соответствующей фонетической закономерности (ср. A. H. Humb, *Handbuch des Sanskrit*, Teil I, Heidelberg, 1930, стр. 232: «не совсем ясное фонетическое развитие»).

¹⁶ Ср. замечания А. А. Потебни («Из записок по теории словесности», Харьков, 1905, стр. 165 и 424).

¹⁷ См. J. Kurylowicz, *La nature des procès dits «analogiques»*, стр. 25—26.

¹⁸ См. раздел о средних падежах в его «*Études indoeuropéennes*», стр. 165—168.

дежей. Хотелось бы, чтобы Курилович, много сделавший для установления индоевропейской относительной хронологии, внес ясность и в этот вопрос.

В разделах книги, посвященных словообразованию в древнеиндийском и других индоевропейских языках, Курилович широко использует понятия «дифференциации» производных и непроизводных слов и «поляризации» двух типов производных (возникших из одного типа) посредством ударения. «Поляризацией» Курилович объясняет, в частности, известные соотношения типа греч. *τεμός* «режущий» и *τέμος* «отрезок». При изучении соотношений такого рода Курилович обращается к образованиям с суффиксом *-ti*, которые недавно подверглись специальному анализу в работе Бенвениста. Хотя Курилович и ссылается на эту работу, его выводы по существу противоположны заключениям Бенвениста. Последний устанавливает для баритонических основ с суффиксом *-ti* общиндоевропейское значение имени «автора действия» и называет их «quasi-причастными» образованиями¹⁹. По мнению же Куриловича, вторичное значение «имени автора» развилось потому, что эти формы «по крайней мере в индоиранском» были причастиями (стр. 62). Выводы Куриловича представляются более близкими к истине, чем теория Бенвениста, без достаточных оснований возводящего к общиндоевропейскому те значения форм, которые он при помощи тщательного филологического анализа устанавливает для древнейших текстов. Поэтому приходится высказать сожаление о том, что эти замечания Куриловича остались незамеченными и подробно не обоснованными, как и многие другие положения его книги, имевший вследствие этого несколько фрагментарный характер. Во многих случаях отсутствует детальный семантический анализ, который помог бы углубить исследование. Так, например, правильная мысль о том, что ведийское *aktū* является производным словом, давно уже семантически изолированным (стр. 65), приобрела бы больший вес, если бы автор проанализировал употребление этого слова в «Ригведе». Помимо значения «мазь» (*ak-tū* — производное от *añ-* «намазывать»), в котором это слово приводится Куриловичем, оно имеет вторичные значения «свет», «ночь» (ср. такое же развитое значений у *aktā* «помазанная = украшенная» > «украшенная светом, звездами»²⁰). Слово *aktū* употребляется в «Ригведе» 48 раз, из них только 4 раза в значении, приводимом Куриловичем, в остальных же случаях — в значениях, так далеко отошедших от первичного, что можно говорить о возникновении омонимов вследствие распада полисемии.

Соотношения между словообразовательными типами, объясняющие, по мысли Куриловича, их акцентологические особенности, в ряде случаев истолкованы в книге схематически. Нельзя признать вполне удовлетворительным объяснение исторической связи между сложными словами типа *bahuvrīhi* и сложными словами типа *tatpuruṣa*, данное на стр. 74—75. Курилович решает этот вопрос в общелингвистическом плане. Но сопоставление с живыми языками (к которому прибегает в данном случае сам Курилович, используя факты немецкого языка) показывает недостаточность его объяснения: то семантическое соотношение между *bahuvrīhi* и *tatpuruṣa*, о котором он говорит, соответствует в общих чертах соотношению в английском языке между *moonshine* в *moonshine night* «лунная ночь» и *moonshine* «лунный свет»; между тем возникновение сложных слов типа *moonshine* «лунный свет» никак нельзя объяснить тем, что первоначальный «семантический вариант» атрибута (например, в *moonshine night*) стал независимым. Для решения вопроса в каждом случае следует учитывать конкретные особенности развития данного языка. Для раскрытия причины необычайной продуктивности *tatpuruṣa* в классическом санскрите следует установить место этого явления в общем процессе изменения всей флексивной системы языка²¹. Тогда станет понятной глубокая ошибочность утверждения Куриловича о том, будто между *rājnah putrāḥ* «сын царя» (конструкция с родительным падежом) и *rāja-putrā* «царевич» (сложное слово) нет существенной синтаксической разницы (стр. 75). Такое утверждение не позволяет увидеть важного отличия ведийского от классического санскрита.

Наибольшие возражения вызывает раздел, посвященный ударению личных форм индоевропейского и древнеиндийского глагола, равно как и соответствующий раздел о древнегреческом глаголе. Безударность личных форм глагола в древнеиндийском и соответствующие факты, восстанавливаемые для дописьменного периода развития древнегреческого, Курилович объясняет как результат слияния глагола с приставками. Это, по существу, произвольное допущение приводит к ряду противоречий: слияние глаголов с приставками в «Ригведе» еще не осуществилось, а безударность глагола —

¹⁹ E. Benveniste, Noms d'agent et noms d'action en indo-européen, Paris, 1948, стр. 62, 11.

²⁰ H. Grassmann, Wörterbuch zum Rig-Veda, Leipzig, 1873, стр. 4—5.

²¹ Задолго до Л. Пену (см. Louis Renou, Observations sur les composés nominaux du Rgveda, «Language», Baltimore 2, Md., 1953, № 3, стр. 233) эта мысль в более общем виде была высказана акад. А. П. Баранниковым (см. А. П. Баранников, Флексия и анализ в новоиндийских языках, «Ученые записки ЛГУ», Серия востоковедческих наук, вып. 1, Л., 1949, стр. 10), видевшим в распространении сложных слов свидетельство влияния разговорного языка на санскрит.

совершившийся факт. Безударность бесприставочных глаголов Курилович объясняет на основании принципа, согласно которому развитие непроемных основ (имеющих «нулевую» приставку) обусловлено развитием производных. Больше того, Курилович утверждает, что хотя глагол был безударным не во всех положениях, ударные формы находились под влиянием безударных (стр. 112). Это утверждение, на котором основан ряд построений Куриловича, находится в явном противоречии с закономерностями, наблюдаемыми в живых языках. Курилович признал зависимость ударения глагольных форм от их положения в фразе (правда, только для начального положения, стр. 111), но не сделал из этого необходимых выводов, так как в его работе не использован известный в настоящее время материал хеттского языка, позволяющий по-новому осветить вопрос об индоевропейском глаголе и приглагольных приставках.

Данные хеттского языка подтверждают мысль Куриловича о раннем слиянии приставок с причастиями (стр. 111), так как слова, возникшие из такого рода сочетаний, в хеттском выступают уже в качестве имен рода: *antiñant* «зять, вошедший в дом родителей жены без своего хозяйства» из *anda iñant* «внутри вошедший»²². Вместе с тем хеттский язык показывает, что двоякая функция наречий — их способность выступать в качестве приставки и предлога в ведийском (или приставки и послелога в хеттском) — не обязательно свидетельствует об осуществившемся слиянии глагола с приставкой (вопреки мнению Куриловича, стр. 109). В хеттском грань между наречием, послелогом и приставкой очень зыбка, но именно это доказывает отсутствие слияния приставки с глаголом, так как в сочетании «существительное + послелог (наречие, приставка) + глагол» наречие может оказываться связанным то с существительным (в качестве послелога) то с глаголом (в качестве приставки). Вместе с тем хеттский язык обнаруживает поразительное сходство с древнеиндийской прозой в отношении обязательности конечного положения глагола в предложении. Для установления древнего порядка слов хеттской и древнеиндийской прозе нужно отдать предпочтение перед поэтическими текстами поэм Гомера, ведийских и авестийских гимнов, где метр оказывает большое влияние на расположение слов. Поэтому в настоящее время можно считать очень вероятным, что индоевропейской нормой было конечное положение глагола в предложении. Это делает правдоподобным давно уже высказывавшееся предположение (подтверждаемое древнеиндийскими и древнегреческими фактами) о том, что безударность личных форм глагола связана с их конечным положением в предложении²³.

Вторая глава книги, посвященная древнегреческому ударению (стр. 121—190), по объему значительно уступает двум другим главам. Глава состоит из семи разделов: происхождение греческих интонаций (стр. 121—129), именное склонение (стр. 130—144), морфологическая роль циркумфлекса (стр. 145—150), именное словообразование (стр. 151—167), именные сложные слова (стр. 168—176), личные формы глагола (стр. 177—184), диалектальные факты (стр. 185—190). Следует заметить, что уже существует монография, где исследуется древнегреческое ударение с точки зрения его грамматической роли; это — предсмертный труд Байи²⁴. Работа Куриловича отличается от исследования Байи в двух отношениях: во-первых, Байи стремился дать чисто синхроническое описание лишь с отдельными историческими экскурсами; во-вторых, как верный ученик де Соссюра, он старался тщательно разграничить «законы, относящиеся к обозначающему» (т. е. фонетические) и «правила, определяемые природой обозначаемого» (работа Байи делится на озаглавленные таким образом части). Курилович, напротив, изучает древнегреческое ударение не только в его функционировании в литературном языке, но и в его развитии. Фонетические явления он рассматривает в связи с грамматическими. Плодотворность такого рассмотрения сказалась в том, что некоторые явления, казавшиеся следствием трудно объяснимых фонетических законов, Курилович объясняет действием морфологических процессов.

В рецензируемой работе Курилович доказывает высказанную им еще в 1932 г. мысль о том, что греческие интонации не восходят к общеиндоевропейским, а являются результатом самостоятельного доисторического развития древнегреческого. По мнению Куриловича, древнегреческие интонации возникли в результате доисторических стяжений гласных. Их возникновение тесно связано с ограничением ударения. Случаи, в которых интонация не может быть объяснена как результат стяжения, рассматриваются как последствия морфологических процессов. Для доказательства тезиса о чисто греческом происхождении интонаций Куриловичу нужно было бы показать, что и морфологические процессы, вызвавшие появление циркумфлекса, относятся к периоду самостоятельного развития греческих диалектов. Это не всегда делается. В частности, среди случаев этого рода Курилович называет циркумфлекс односложной звательной формы *Zeü* «(о) Зевс (бог ясного неба)» (стр. 149, пункт 3). Циркумфлексивную интонацию этой формы Курилович правильно объясняет отступлением ударения в

²² J. Friedrich, *Hethitisches Wörterbuch*, Lief. I, Heidelberg, 1952, стр. 23.

²³ Cp. E. Polivanov, *Zur Frage der Betonungsfunktionen*, «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 6, Prague, 1936, стр. 81.

²⁴ Ch. Bailly, *Manuel d'accentuation grecque*, Berne, 1945.

звательной форме, подтверждаемым другими древнегреческими примерами. Но для строгого доказательства своей теории Курилович не должен был бы ограничиться этим объяснением; ему следовало бы показать, что рецессия ударения осуществилась в самом греческом. В данном случае это невозможно. Отступление ударения в звательной форме было явлением общеиндоевропейским, с чем соглашается и Курилович, как видно из других мест его работы (стр. 135 и 238); в частности, греческому *Zeū* соответствует ведийское *dyāus* «(о) небо» (где особая интонация указывает на происхождение этой формы из *dīaus*). На таких фактах Курилович должен был бы остановиться подробнее, так как они противоречат его теории.

В связи с проблемой ударения звательной формы нужно отметить остроумную гипотезу Куриловича относительно ударения древнегреческих собственных имен (стр. 134—135). Расхождение между ударением нарицательного имени и тождественного ему по происхождению собственного имени Курилович объясняет тем, что собственные имена сохранили и обобщили рецессивное ударение звательной формы, тогда как имена нарицательные преобразовали это ударение в соответствии с ударением всей парадигмы. Спорным в этой гипотезе представляется стремление Куриловича связать ее с доисторическими особенностями развития древнегреческого ударения. Ничего специфически греческого в этих явлениях нет: другие индоевропейские языки показывают и обобщение собственными именами звательных форм (в хеттском, в особенности в основах на *-u*²⁵), и влияние на интонацию звательной формы интонаций других падежей: в ведийском наряду с *dyāus* в функции звательной формы употребляется *dyāus* (с обычной интонацией именительного падежа), соответствующие литовские факты освещены и в работе Куриловича (стр. 257). Поэтому нет оснований считать процесс, предполагаемый Куриловичем, подтверждением его теории развития древнегреческого ударения.

Спорными являются данные в работе объяснения доисторического развития некоторых древнегреческих парадигм, в частности решение трудного вопроса об ударении в индоевропейском названии «собаки» (стр. 19, 141—142). Сопоставляя древнегреческое *κύων*. род. падеж *κύωνος*, и ведийское *ś(u)vā*, род. падеж *śunāḥ*, Курилович возводит их к **kūōb(n)*, род. падеж **kūnos*. Для объяснения древнегреческой формы Курилович предполагает мало вероятное **κύωνος*. Сравнение с литовскими формами (о которых Курилович умалчивает) — *šid* (в диалектах *šy*, *šivā*)²⁶, род. падеж *šin(ė)s* — заставляет усомниться в правильности предложенной Куриловичем реконструкции. Иногда создается впечатление, что он напрасно постоянно стремится найти в древнеиндийском ударении черты более архаичные, чем в древнегреческом и балтийско-славянском (в очень редких случаях Курилович и сам отказывается от этого принципа; ср. выше о *κύων*).

Третья глава, посвященная балтийско-славянскому ударению, составляет почти половину книги (стр. 191—422). Впервые за последние 30 лет (после выхода в свет в 1923 г. известной монографии Ван-Вейка) вопросы балтийско-славянской акцентологии подвергаются столь обстоятельному изучению. Понятно, что книга Куриловича по этой причине должна привлечь к себе внимание славистов.

Вопросы балтийского и славянского ударения решаются Куриловичем в соответствии с давно уже выдвинутой им теорией о самостоятельном развитии интонаций в балтийско-славянских языках, исторически независимом от развития древнегреческих интонаций. Еще двадцать лет назад Курилович указал на то, что противопоставление акута и циркумфлекса не могло быть фонологическим, если акут был присущ долгим гласным, а циркумфлекс — кратким. Их противопоставление могло стать фонологическим тогда, когда оказалось возможным произнесение долгих гласных как с акутовой интонацией, так и с циркумфлексовой. Согласно гипотезе Куриловича, это произошло вследствие передвижения ударения к началу слова в балтийско-славянском. При этом долгие гласные, на которые падало ударение до рецессивного передвижения, получили циркумфлексовую интонацию, а долгие гласные, на которые передвинулось ударение, приобрели акутовую интонацию.

Доказательства балтийско-славянского передвижения ударения к началу слова Курилович видит в ряде явлений литовского языка (стр. 193—194). Вслед за де Соссюром Курилович считает начальное ударение в литовском вин. падеже ед. числа *dūktėrį* «дочь» результатом рецессивного передвижения ударения. Но эта точка зрения многократно оспаривалась (ср., например, мнение Мейе о наличии в древности начального ударения у греческого **θυγάτηρ* «дочь»²⁷). Отнюдь не является бесспорным и принимаемое Куриловичем фонетическое объяснение начального ударения в литовских

²⁵ См. H. G. Güterbock, The vocative in hittite, «Journal of the American Oriental Society», New Haven, 1945, № 4, стр. 248—257, особенно стр. 249—250. Возражения Э. Стептеванта [E. H. Sturtevant and E. A. Hahn, A Comparative Grammar of the Hittite Language, vol. 1, rev. ed., New Haven—London, 1951, стр. 84 (примеч. 88) и стр. 12 (примеч. 4)] не могут опровергнуть всех фактов.

²⁶ J. Endzelīns, Baltu valodu skaņas un formas, Rīgā, 1948, стр. 139.

²⁷ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 324.

глагольных префиксальных образованиях: это ударение может быть объяснено и древним слиянием приставки с глаголом, при котором глагол становился безударным²⁸ (ср. взгляды Куриловича на ударение древнеиндийского и древнегреческого глагола, которые он, однако, не распространяет на балтийско-славянский, стр. 376). Гораздо более определенными являются факты славянских языков, на которые опирается Курилович. Речь идет о явлениях, охватываемых законом Шахматова (рецессивное передвижение ударения типа русского *на голову*). Но Курилович критикует обычное объяснение этих явлений воздействием интонации. В этом объяснении Курилович видит смещение фактов, характерных для современного сербо-хорватского языка, с причинами, обусловившими появление этих фактов (т. е. интонационных различий). Следует заметить, что отчасти сходные возражения против акцентологических теорий А. А. Шахматова в свое время выдвигал его ученик — выдающийся советский лингвист Д. В. Бубрих. По его мнению, источником некоторых заблуждений Шахматова являлось глубокое убеждение, что сербская интонационная система ближе всего отражает праславянское состояние²⁹. Подвергнув критическому разбору теории Шахматова, Бубрих пришел к следующему выводу: «Что же остается от тех сложных различий, какие устанавливаются А. А. Шахматовым, если не выходить из рамок того материала, которым он располагает? Остается лишь различие долготы и краткости, с одной стороны, и ударений устойчивого и рецессивного — с другой»³⁰. Эта формулировка Д. В. Бубриха соответствует тому, что предполагает Курилович для древнейшего балто-славянского состояния (до появления фонологических интонационных различий).

Ряд открытий и смелых гипотез Куриловича был предвосхищен или во многом подготовлен его предшественниками. По вопросам балтийско-славянской акцентологии существует множество работ. Понятно, что Курилович не мог снабдить свой труд библиографическими указаниями на всю огромную литературу вопроса, так как это непомерно увеличило бы размер его и без того весьма объемистого исследования. Но все же не следовало обходиться молчанием такие основополагающие работы в этой области, как труды Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова. Имя акад. Ф. Ф. Фортунатова необходимо было назвать в связи с вопросом о двояком отражении плавных слогаобразующих в литовском языке. Курилович по этому поводу говорит только о де Соссюре (стр. 197). Но в работе, на которую ссылается Курилович, де Соссюр, по его собственному признанию, исходит из открытий Фортунатова³¹.

Одним из веских доводов в пользу исторической независимости развития балтийско-славянских и древнегреческих интонаций Курилович считает несовместимость фонологических акцентуационных систем, которые он устанавливает для древнегреческого и общеславянского (стр. 200). Но надо сказать, что несходство фонологических систем не являлось бы еще доказательством различия по происхождению; оно только показывало бы, что невозможны делавшиеся раньше прямые сопоставления интонаций. В этом отношении решающее значение имеет вопрос о характере интонации последнего слога. По мнению Куриловича, в последнем слоге, где в древнегреческом осуществляется противопоставление акута и циркумфлекса, в балтийско-славянском противопоставление этих интонаций нейтрализовалось, была возможной лишь одна интонация — циркумфлексная; противопоставление интонаций осуществлялось лишь в начальном положении. Не все факты, относящиеся к этой проблеме, полностью соответствуют мысли Куриловича. Некоторые явления и славянских (полабского) и балтийских языков (латышского, где замена в безударном, т. е. не начальном, положении всех интонаций прерывистой до сих пор еще не осуществилась полностью) могут быть поняты как противоречащие его гипотезе, если их не удастся объяснить более поздним развитием. Но теория Куриловича заслуживает самого внимательного изучения.

Для объяснения развития индоевропейского ударения в балтийских и славянских языках Курилович считает необходимым прибегнуть к гипотезе балтийско-славянской общности. Но трактовка этого дискуссионного вопроса Куриловичем не отличается большой четкостью. Под «балто-славянским» автор понимает определенное состояние языка, характеризующее древними интонациями и определенной системой гласных, причем, по словам Куриловича, он не рассматривает вопрос о носителях лингвистических систем (стр. 262—263). Поэтому и остается до конца не выясненным, идет ли речь только о древних изоглоссах, объединявших две различные лингвистические группы (к этому пониманию Курилович склоняется на стр. 419 и 498), или же о древнем един-

²⁸ См. N. v a n W i j k, *Die baltischen und slavischen Akzent- und Intonationssysteme*, Amsterdam, 1923, стр. 41.

²⁹ Д. Б у б р и х, О трудах А. А. Шахматова в области славянской акцентологии, «Известия Отд-ния рус. языка и словесности Росс. Акад. наук» 1920 г., т. XXV, Пр., 1922, стр. 198.

³⁰ Там же, стр. 205.

³¹ F. de S a u s s u r e, *A propos de l'accentuation lituanienne*, «Recueil des publications scientifiques», Heidelberg, 1922, стр. 496—497 и примеч. 1 на стр. 497.

стве этих двух групп, т. е. о существовании балто-славянского языка-основы (такой вывод напрашивается из решения конкретных вопросов в книге Куриловича). Нельзя считать исчерпывающим объяснение, согласно которому разграничение индоевропейского, балтийско-славянского и самостоятельных балтийского и славянского делается «из практических соображений» (стр. 431).

Переход от балтийско-славянского состояния к самостоятельному балтийскому и славянскому Курилович объясняет действием закона Фортунатова-де Соссюра (который он называет «законом де Соссюра») в литовском и ослаблением редуцированных (еров) в славянском. Курилович предлагает новую формулировку закона Фортунатова-де Соссюра, объединяя его с законом Лескина. Явления, объяснявшиеся этими двумя законами, Курилович понимает как передвижение ударения на некоторые литовские окончания вследствие их сокращения. Если такая формулировка имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционной, то фонологическая интерпретация этих явлений на стр. 249—250 совершенно неубедительна. Здесь в особенности сказывается вред противопоставления фонетики и фонологии. Курилович считает возможным признать «фонетическую причину» звукового развития его «фонологическим следствием» (стр. 250). Многочисленные экспериментально-фонетические исследования (в особенности труды шведского лингвиста Р. Экблума) позволяют в настоящее время более точно изучить развитие литовских интонаций. Курилович не воспользовался этими достижениями современной науки. Мысль Куриловича о чисто литовском характере закона Фортунатова-де Соссюра не является новой³², но для обоснования этой гипотезы нужно было бы детально изучить показания других балтийских языков, в частности прусского, а также вопрос о времени ослабления гласных конечных слов в латышском. Между тем прусские факты, введенные в балтийско-славянскую акцентологию в классическом труде Фортунатова, в работе почти совсем не учитываются, а трактовка латышских явлений неубедительна. Недостаточное внимание к фактам других балтийских языков обесценивает и гипотезу Куриловича о связи закона де Соссюра с исчезновением рода в литовском (здесь Курилович и сам видит недостаточность используемого им материала, стр. 258).

Для выделения общеславянского из балто-славянского Курилович основным фактором считает ослабление редуцированных. Он говорит о необходимости отличать ослабление редуцированных (явление общеславянское) от их исчезновения, осуществившегося в различных славянских диалектах по-разному. Ослабление редуцированных привело к перемещению ударения со слога, содержавшего *ъ* или *ь*. Для критической оценки этой гипотезы нужно установить хронологическое соотношение между ослаблением редуцированных и (по Куриловичу, гораздо более древним) действием закона Шахматова (быть может, при этом окажется важным изучение таких старославянских примеров, как *на вѣчерѣ*, в которых некоторые ученые усматривали действие закона Шахматова³³). Славянская интонационная система, возникшая после ослабления редуцированных, согласно Куриловичу, характеризовалась противопоставлением новоакутовой и циркумфлексовой интонаций при исчезновении древней акутовой. Очень спорным является предположение Куриловича (выдвигаемое, правда, с некоторыми оговорками) о раннем сокращении древних акутовых долгот. Эта гипотеза приводит к мало правдоподобной догадке о вторичном происхождении чешских долгот, подтверждение которой Курилович видит в словенском. В некоторых отношениях действительно существуют общие черты в развитии чешского и словенского³⁴, но как раз те словенские явления, которые Курилович считает архаичными (односложные краткие формы типа *dim*), в чешском не находят аналогии (долгота в чешском *dýt* и т. п.). Курилович видит необоснованность этих построений, так как наряду с ними он выдвигает и другую, несовместимую с ними гипотезу (стр. 262), согласно которой сокращение долгот произошло только в известных условиях.

Композиция третьей главы книги определяется рассмотренной теорией развития балтийских и славянских интонаций. Глава начинается предварительными замечаниями о гипотезах автора (стр. 191—192). Общие балто-славянские явления рассматриваются в двух первых параграфах: происхождение балто-славянских интонаций (стр. 193—200) и именное склонение (стр. 201—241). В третьем параграфе (стр. 243—276) рассматривается дальнейшая судьба балто-славянских парадигм, «закон де Соссюра» в литовском, ослабление редуцированных (еров) в славянском. Самостоятельное развитие балтийского и славянского рассматривается в дальнейших параграфах, посвященных именному словопроизводству (стр. 277—360), именному словосложению (стр. 361—371), глаголу (стр. 372—401).

³² Ср. N. van Wijk, указ. соч., стр. 36 и сл.

³³ См. W. Vondrák, *Vergleichende Slavische Grammatik*, Bd. I, Göttingen, 1924, стр. 241 (примеч. 1).

³⁴ Ср. замечание по этому поводу Л. А. Булаховского («Акцентологический комментарий к чешскому языку», вып. 1, Киев, 1953, стр. 30).

Принятие гипотез, которые излагаются автором в разделах, посвященных балтийской и славянской морфологии, зависит от того, насколько можно считать доказанными те предпосылки, на которых они строятся: рассмотренные выше теории фонетического развития балтийско-славянского и гипотезы об индоевропейском ударении. Спорность этих гипотез усугубляется тем, что автор книги часто прибегает к очень сомнительным истолкованиям морфологических соотношений, например к гипотезе о воздействии согласных основ на гласные (стр. 206—207), которая противоречит реальным фактам балтийского и славянского именного склонения. В ряде случаев увлечение схематическими построениями приводит к серьезным ошибкам. Так, высказанное Куриловичем (стр. 232) положение о том, что основы среднего рода на *-и* уже в балто-славянскую эпоху стали основами мужского рода, противоречит фактам прусского языка. Я. М. Эндзелин с полным основанием говорит, что «в прусском языке есть и основы на *-и* с р е д н е г о рода»³⁵. В частности, приводимым Куриловичем для доказательства своего тезиса старославянскому *олъ*, литовскому *alūs* «пиво» в прусском языке соответствует слово среднего рода *ali* «мед (напиток)». В некоторых случаях формы, древнее ударение которых неясно, приводятся без достаточных обоснований в качестве иллюстрации той или иной мысли автора, например кашубская форма твор. падежа мн. числа на *-у*³⁶ (стр. 265).

Очень схематично излагаются вопросы истории отдельных славянских языков. Так, о русском языке сообщается лишь, что условия утраты в нем интонации и долгот неизвестны (стр. 268). Можно было бы подробнее остановиться на этой проблеме, используя существующую литературу³⁷. Непосредственный переход, который делает Курилович от общеславянских фактов к современным русским, говоря, что вследствие исчезновения интонаций в русском языке древние сочетания с начальным ударением типа *pōd ruku* сохранились лишь в «окаменевших оборотах», искажает перспективу развития языка. Как показывают новейшие исследования, сочетания этого рода были очень распространенными долгое время после исчезновения интонаций — вплоть до XIX в.³⁸. Замечания Куриловича об ударении в современном русском языке развивают мысли, заключавшиеся в его известной советским ученым работе «Система русского ударения»³⁹. Приходится пожалеть об исключительной краткости этих замечаний, не всегда позволяющей оценить аргументацию автора. Так, Курилович указывает на то, что морфема *-ā* в формах множественного числа типа *gorodā* не всегда имеет характер «чистого и простого окончания». Ссылаясь на то, что *-ā* «во многих случаях» чередуется с *-ы*, Курилович делает вывод, что эта морфема находится на пути между словопроизводственным суффиксом и падежным окончанием (стр. 270). Повидимому, Курилович имеет в виду соотношения типа *хлебā* — *хлебы*; но такое значение окончания *-ā* нехарактерно для преобладающего большинства случаев его употребления⁴⁰. Курилович касается здесь очень существенного вопроса о лексико-грамматическом характере категории числа имени существительного⁴¹, но не делает должных выводов из своих наблюдений.

Большое внимание уделяется в работе относительной хронологии дописменного развития балтийско-славянского. Для этой цели используется анализ древних заимствований (стр. 275—276). В то время как Курилович использует этот прием только для установления относительной хронологии, в последних работах советских лингвистов выдвигается задача анализа заимствований для выяснения абсолютной хронологии изменений языка, что дало бы возможность приблизиться к изучению связей истории языка с историей его носителей⁴².

Последний параграф третьей главы книги посвящен латышскому ударению (стр. 402—422). Обнаружение Я. М. Эндзелином связи между латышской прерывистой интонацией и подвижной акутовой интонацией в литовском позволило начать

³⁵ J. E n d z e l i n s, Baltu valodu sąrašas un formas, стр. 134.; ср. стр. 69.

³⁶ Ср. об этой форме у Л. А. Булаховского («Акцентологический комментарий к польскому языку», Киев, 1950, стр. 65).

³⁷ Ср. А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 187—192.

³⁸ См. материал, собранный у Л. А. Булаховского («Курс русского литературного языка», т. II, Киев, 1953, стр. 251—252). Ср. критику Л. А. Булаховским взглядов Мейе, ошибку которого повторил Курилович (Л. А. Булаховский, Акцентологический закон А. А. Шахматова, сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.—Л., 1947, стр. 402).

³⁹ См. Ю. Р. Курилович, Система русского ударения, «Науч. записки Львов. гос. ун-та им. Ив. Франко», т. III, Серия филол., вып. 2, Львов, 1946, стр. 75—84 (на рус. языке).

⁴⁰ См. В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 163.

⁴¹ См. там же, стр. 156.

⁴² См. П. С. Кузнецов, Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков, «Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 44.

исследование истории латышской системы ударения, но многие вопросы остаются неясными. Не так давно Бонфанте писал: «Третья латышская интонация (^ прерывистая) до сих пор остается загадочной...»⁴³. Объяснение, предлагаемое Куриловичем, вносит мало нового. Еще Ван-Вейк предположил, что установленное Я. М. Эндзелином соотношение между литовскими и латышскими интонациями можно рассматривать как свидетельство происхождения латышской прерывистой интонации из древней акутовой интонации окситонных парадигм⁴⁴. Не ссылаясь в данном случае на Ван-Вейка, Курилович по существу повторяет его очень правдоподобное предположение.

Фонологический анализ латышских интонаций в работе Куриловича совершенно неудовлетворителен. Неверно утверждение, будто прерывистая интонация (которую Курилович на протяжении всей своей работы называет «гортанным взрывом», что противоречит экспериментально-фонетическим данным⁴⁵) является не интонацией, а особым способом произнесения «неинтонируемых» слогов. В действительности прерывистая интонация принадлежит к категории особого рода гортанных тонов (ср. датский «толчок», китайский пятый тон), играющих, как показывают новейшие работы⁴⁶, очень важную роль в некоторых языках. Система политонического ударения (т. е. ударения, которое фонологически характеризуется не только местом, но и качеством ударяемого слога) необязательно характеризуется только различиями музыкальных тонов; фонологические функции в языках с политоническим ударением может исполнять и сжатие гортани. Курилович не смог установить функции этого фонологического средства в латышском языке, как и «толчка» в датском (стр. 476—477), так как он руководствовался порочной фонологической теорией мор. По мнению Куриловича, слог с прерывистой интонацией не делится на моры (стр. 417). Между тем распадение слога с прерывистой интонацией на две части, отделяемые друг от друга «сжатием гортани», является наиболее характерной чертой этой интонации в латышском (в диалектах это подчеркивается при дифтонгизации долгого гласного, например литературному *riits* «утро» в диалекте *Ves- Gulbene* соответствует *re'its* с гортанным сжатием между составными частями дифтонга).

В приложениях к книге Куриловича рассматривается ударение в древнеиранских (стр. 438—451), латинском и романских (стр. 452—462) и скандинавских (стр. 463—477) языках. Для исследования изменения древней флексивной системы в иранских языках большое значение может иметь делаемый в работе вывод о доисторическом закреплении ударения в иранском на предпоследнем слоге (стр. 445). Замечания о латинском и романском ударении носят очень общий характер; в частности, хотелось бы видеть освещенным более подробно вопрос о древних диалектальных различиях, в особенности в связи с вопросом о словах с ударением на третьем слоге, считая с конца (стр. 458). В разделе о скандинавских языках предлагается очень поздняя датировка (XIII—XV вв.) возникновения музыкального ударения. Принятие этой датировки вело бы к выводу, что исландский язык не знал музыкального ударения; это следовало бы мотивировать (по существующей концепции исландский язык утратил древнее музыкальное ударение). Предлагаемая датировка нуждается в проверке и с другой точки зрения: Курилович правильно указывает, что постпозитивный артикль в скандинавском превратился в суффикс (стр. 473); эта мысль подтверждается такими шведскими формами, как род. падеж мн. числа *flik-or-na-s* «девочек», где *-na-s* суффикс определенной формы, *-s* падежное окончание. Но музыкальное ударение, как об этом свидетельствуют двусложные определенные формы, имеющие древнее ударение односложных, должно было развиваться задолго до превращения артикля в суффикс, осуществлявшегося, как показывает датский, уже в XII—XIV вв. (исландский язык и в этом отношении стоит особняком). По этим соображениям датировка, предложенная Куриловичем, представляется слишком поздней.

Выводы, излагаемые в заключении (стр. 423—437), написанном, как и вся работа, по-французски, повторяются затем (с некоторыми вариациями) в обширных резюме на польском (стр. 478—495) и русском (стр. 496—512) языках.

В настоящей рецензии оказалось возможным коснуться только некоторых вопросов, рассматриваемых в очень содержательной книге Е. Куриловича. Подробный анализ его теорий должен быть дан в специальных акцентологических исследованиях. Приходится пожалеть о том, что непреодоленное увлечение «панхроническими» схемами структурализма помешало талантливому польскому ученому раскрыть все свои

⁴³ G. Bonfante, *L'accento lèttonne gestossen (^) e l'«acuto mòbile» lituano*, «Studi baltici», vol. IV, Roma, 1935, стр. 123—124.

⁴⁴ См. N. van Wijk, указ. соч., стр. 20 (примеч. 4).

⁴⁵ Такую же ошибку в свое время совершал Е. Д. Поливанов, которому принадлежит, однако, заслуга установления фонологической роли прерывистой интонации (см. его «Введение в языкознание для востоковедных вузов», Л., 1928, стр. 85).

⁴⁶ См. M. Durand, *Le système tonal du tahitien*, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», Paris, 1951, fasc. 1, стр. 126—127; ср. там же, стр. XXVIII—XXIX.

творческие возможности. Но все же при большой спорности (порою и парадоксальности) некоторых гипотез Куриловича специалисты по индоевропейским (в частности, славянским) языкам найдут в этой работе много для себя полезного. Книга Е. Куриловича показывает, как много еще работы предстоит в области сравнительно-исторической акцентологии. В своих исследованиях, посвященных этой дисциплине, советские лингвисты используют и основательный труд Куриловича.

Вяч. Вс. Иванов

ЯЗЫКОЗНАНИЕ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР, ПО ДАННЫМ «КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ»*

«Краткие сообщения Института востоковедения» издаются по мере накопления материалов. Отдельных публикаций по языкознанию в рецензируемых выпусках всего четыре, причем три из них помещены во II выпуске, а четвертая — в VIII. Рассмотрим эти статьи.

В отделе «Материалы и сообщения» выпуска II напечатана информация Д а м д и н с у р э н а «О принципах новой монгольской орфографии» (стр. 31—37), которая дает представление о новой монгольской письменности (на основе русского алфавита) и о ее научных, отчасти и культурно-исторических предпосылках. К сожалению, автор иногда забывает, что он пишет не для монголов и не для монголистов, а для русских. Отсюда, например, нечеткость в изложении правил написания редуцированных гласных. Даваемая формулировка, может быть, и понятна для специалиста, но для человека, впервые знакомящегося с предметом, необходимы прежде всего указания, какое явление звуковой речи нормируется данным правилом орфографии. Так, в правилах 2, 3, 4 на стр. 34 читатель только из примеров и из приведенных автором ранее соображений по поводу редукации гласных может понять, идет ли речь о гласном, предшествующем согласному, или о гласном, следующем за ним.

В основе возражения автора Г. Д. Санжееву, утверждающему, что *ө* в монгольском языке (в заимствованных словах) является лишь вариантом *б*, лежит интересное и важное наблюдение над тем, что из двух вариантов единой фонемы в современном языке стало преобладать именно *ө*. Но в своем возражении автор не раскрывает взаимоотношения между фонемой и позиционным вариантом. Некоторый перевес одного из позиционных вариантов еще не делает последний отдельной фонемой, как полагает автор, говоря о самостоятельном, качественно новом значении звука *ө* (стр. 35). Совершенно аналогично отношение между *b* и *v* в испанском, где, кстати, также представлены две графемы для одной фонемы, что, как и в монгольском языке, поддерживается иностранными словами.

Статья А. П. Р о г а ч е в а «Идиоматика китайского языка, отображенная в устойчивых словосочетаниях (чэн-юй) (По материалам произведений Сун Ят-сена и Мао Цзэ-дуна)» (вып. II, стр. 52—56) является авторефератом кандидатской диссертации. Возможно, что диссертация, одобренная Ученым советом института, имеет известное значение для китаистики, но автореферат ее автору явно не удался. Цели исследования, как их формулирует автор, заставляют вспомнить выражение «ломиться в открытую дверь», а исключительно интересные проблемы, действительно заслуживающие внимания, затрагиваются в автореферате лишь вскользь. Так, например, никто не станет возражать против положения, «что раздел об изучении чэн-юй в общем плане изучения китайского языка должен занимать не меньшее место, чем любой другой» (стр. 52), а между тем автор считает доказательство этого целью своего исследования. Нам кажется также, что не нужно было исследования и для того, чтобы «показать, что чэн-юй представляет собой существенную часть богатейшего словарного запаса китайского языка» (стр. 56). Ведь для этого достаточно было бы взять сборники китайских идиом и познакомиться с содержанием китайских словарей. Но А. П. Рогачев считает такой показ своей основной задачей. Автор пишет: «...в силу специфики китайского языка, объясняющейся в основном односложным составом корней и иероглифической письменностью, по сути дела почти весь словарный состав китайского языка, или во всяком случае большая часть его, вполне может рассматриваться как идиоматическое творчество» (стр. 53). Но в автореферате он показывает только, что значение сложных слов и словосочетаний совершенно не соответствует значению их компонентов (что видно и из словарей). Остается неясным, какую роль играет односложный корень и иероглифическая письменность в развитии идиоматики, как ставятся и разрешаются эти вопросы в диссертации.

*См. «Краткие сообщения Ин-та востоковедения [АН СССР]», выпуски I—IX, М., Изд-во АН СССР, 1951—1953.

Относя к чэн-юй почти весь словарный состав китайского языка, автор, естественно, хотел ограничить себя определенным кругом вопросов. Так, он отмечает в китаистике тенденцию к выделению преимущественно четырехсложных идиом. Но он не вскрывает причин этого выделения, и, следовательно, читатель не получает ответа на свой естественный вопрос: а законно ли, правильно ли, научно ли такое выделение?

А. П. Рогачев добросовестно перечисляет названия всех глав диссертации и дает их аннотации, но получить определенное представление о ценности самой диссертации из автореферата читатель не может. До некоторой степени это вызвано тем, что большая часть автореферата посвящена тому, что собственно выходит за рамки темы — характеристике словарного состава китайского языка.

Лучшей из лингвистических работ, помещенных в «Кратких сообщениях», является рецензия Н. А. Сыромятникова (вып. II, стр. 64—70) на «Краткий русско-японский словарь», составленный А. Е. Глускиной и С. Ф. Зарубиным (М., 1950). Эту рецензию охотно прочтет каждый языковед, особенно интересующийся лексикологией и лексикографией. Она дает ясное представление о том, каким достижением является указанный словарь по отношению к своим советским и зарубежным предшественникам, характеризует и оценивает его состав, стилистические пометы, переводы, транскрипцию, грамматический очерк.

Рецензент вносит и ценное рационализаторское предложение: если японские аффиксы пишутся слоговой азбукой без всяких орфографических трудностей, то их написание следует оставлять лишь в транскрипции, ограничиваясь приведением из национальной графики только иероглифов, передающих основы или корни. Он показывает и на примере, как это выглядит (стр. 65). Дельны замечания рецензента по поводу размещения лексикализованных сочетаний (стр. 67). Очень ценны при всей своей краткости замечания по поводу взаимоотношения между русской практической транскрипцией, фонетической транскрипцией и японской государственной латиницей (стр. 68). Эти замечания имеют общее значение, и сущность их следовало бы усвоить работникам издательства, имеющим дело с текстами на иностранных языках в учебных пособиях, энциклопедиях, словарях и прочих изданиях.

Положительное впечатление производит рецензия Ю. А. Шоломова «Малайская лексикография» (вып. VIII, стр. 54—57). Автор делит малайские словари на три группы, исходя из того, на какой лексический материал они опираются: на лексику населения Британской Малайи, Индонезии или обеих этих крупнейших частей малайского языкового мира. Каждая из указанных групп представлена в рецензии одним словарем. Правда, эти словари имеют разное назначение: один имеет в виду потребности английской колониальной администрации, другой является толковым словарем для учащихся средних школ Индонезийской республики, а третий призван обслуживать вооруженные силы США в Индонезии и Малайе; автора прежде всего интересует, насколько полно и правильно они учитывают всю лексику. Словари, рецензируемые Ю. А. Шоломовым, оцениваются им еще с точки зрения даваемой фразеологии и идиоматики, а также грамматико-стилистических помет. Одно требование, хотя и очень интересное для лингвиста, едва ли, однако, с полным правом может быть предъявлено к любому словарю, это — требование, чтобы давалось указание, из какого языка заимствовано данное слово иностранного происхождения.

В двух словарях автор отмечает наличие правил об ударении, но, несколько не характеризуя эти правила хотя бы с точки зрения их сложности, он ставит в вину всем трем словарям то, что они не обозначают места ударения. Но если правила эти несложны и даются, то вполне оправдано в целях удешевления книги отсутствие знаков ударения в словаре, предназначенном для коренных носителей языка.

Автор приходит к справедливому заключению о необходимости создать в ближайшее время полный малайско-русский словарь. К сожалению, редакция не делает никакого примечания о том, включена ли такая работа в план института или словарного издательства.

Критико-библиографический отдел «Кратких сообщений» питается, повидимому, случайным материалом. В нем не освещаются даже имеющие важное значение работы. Нет, например, рецензии на выпущенную в Москве переводную грамматику корейского языка¹. Не было рецензий и на книгу А. А. Драгунова², на учебник А. Ринчина³ и т. д.

В отделе «Хроника» вместо освещения повседневной жизни института помещаются отчеты о публичных дискуссиях и торжественных заседаниях. Институт пережил две реорганизации, но почему-то ни об одной из них по существу ничего не сказано.

¹ См. Г. Рамстедт, Грамматика корейского языка. Перевод с англ., М., Изд-во иностр. лит-ры, 1951.

² См. А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, I — Части речи, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952.

³ См. А. Р. Ринчинэ, Учебник монгольского языка, М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1952.

Отсутствует информация о работе родственных учреждений по всему Советскому Союзу. Но и вообще этот отдел имеется не в каждом выпуске.

В «Кратких сообщениях» много опечаток, имеющих место не только при сложном наборе, но даже и в самых элементарных случаях. Дело доходит до того, что опечатки попадают в заглавие и, например, русско-японский словарь наших дней датируется одиннадцатым веком (вып. II, стр. 64). Иногда при исправлении одной опечатки делается новая: так, в статье Н. В. Пигулевской (вып. IV) на стр. 6, строка 23 снизу, исправляется распадение арабского слова на две части в одном месте, а при исправлении делается новая ошибка такого же рода. Кстати, в большинстве случаев арабский и греческий шрифты в статье совершенно не оправданы существом дела и вполне могли быть заменены транскрипцией. Немало опечаток и ошибок в транскрипции имеется и в последнем (IX) выпуске.

Редакция «Кратких сообщений» считает допустимым ограничиваться переводом заглавия книги, напечатанной на иностранном языке, не давая оригинального заглавия ни в национальной графике, ни в транскрипции. Это делается и в ссылках и даже в рецензиях на иностранные книги. Так поступают монголисты П. П. Старицина и И. Г. Юрьев, китаистка Л. А. Сикирянской, арабист Д. И. Юсупов (см. статьи П. П. Старициной в вып. V и VI, автореферат Л. А. Сикирянской в вып. III, рецензии И. Г. Юрьева в вып. V, Д. И. Юсупова в вып. IV). Из рецензии Юрьева вообще нельзя понять, на каком языке написана книга, ведь в Улан-Батаре, который указывается как место ее издания, могла быть выпущена книга и на русском языке.

В вып. I рецензируемого издания помещен без подписи некролог И. Ю. Крачковского. Там есть ляпсус, вероятно, редакционный. «Крупнейшим открытием академика Крачковского, — читаем мы на стр. 69, — было открытие современной арабской литературы, о существовании которой до появления его работ в Европе не было известно». Вместо этого неверного утверждения нужно было сказать, что работы И. Ю. Крачковского ввели современную арабскую литературу в научный обиход России и Запада. Перечень трудов покойного академика с рецензиями и откликами на них помещен в книгу: «Игнатий Юлианович Крачковский» [М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949 (Материалы к биобиблиографии ученых СССР)]. Странно, что эта книга не упомянута в некрологе.

Впрочем упрек в отсутствии ссылок на библиографические указатели (поскольку полной библиографии в них не приводится), а также в том, что по большей части не указываются названия журналов, в которых помещены цитированные труды, надо предъявить всем библиографическим материалам, напечатанным в «Кратких сообщениях». Таковы отчеты о чествовании Н. И. Конрада (вып. II), Е. Э. Бертельса и покойного А. П. Баранникова (вып. I), наконец, некролог А. П. Баранникова (вып. VII).

В «Кратких сообщениях» большая часть материалов касается истории и экономики (63%), на втором месте идет литературоведение (31%) и на последнем — лингвистика (6%). Эти цифры показывают, что или лингвисты института игнорируют свой журнал, или, наоборот, он игнорирует их. Казалось бы, что при ведущем положении историков в издании должны быть в почете те филологические приемы, которые особенно важны для истории. На деле оказывается, однако, что, например, автор информации «Новые архивные источники по истории Средней Азии» М. Ю. Юлдашев (вып. I, стр. 35—41), неоднократно ссылаясь на рукопись сочинений Баяни по истории Хорезма, не приводит ее подлинного заглавия, не указывает языка, на каком она написана, собрания, в котором она имеется, и шифра рукописи. Мы не считаем себя в праве возлагать всю вину за это упущение на автора: ведь его статью при ее издании должны были внимательно прочесть по крайней мере четверо лиц, имена которых помещены на второй и последней страницах выпуска.

Итак, сотрудничество между лингвистами-востоковедами и востоковедами других специальностей не оказало положительного влияния даже на филологический уровень «Кратких сообщений». В связи с этим возникает вопрос: как отражается это сотрудничество на организации дела изучения восточных языков? Место языкознания в советском востоковедении определяется перспективным планом работы института (см. статью «Перспективный план работы Института востоковедения Академии наук СССР в ближайшее пятилетие», вып. I, стр. 3—16).

Полуофициальным обоснованием этого плана является статья «Востоковедение», помещенная в томе 9 второго издания «Большой Советской Энциклопедии» (стр. 193—203), которая написана коллективом сотрудников института под редакцией И. С. Брагинского. Обсуждение плана и проверка проведения его в жизнь освещаются в отделе «Хроники». Этих материалов достаточно для предварительного ответа на поставленный вопрос. Полный ответ на него может дать только оценка всей работы института в области языкознания в сравнении с задачами, которые возникают в связи с потребностями жизни и развитием науки и которые и должны определять план.

Перспективный план исходит из постановления Президиума Академии наук СССР от 1 июля 1950 г., в котором было отмечено, что Институт востоковедения (в Ленинграде) и Тихоокеанский институт (в Москве) за последние годы не дали стране «...крупных научных трудов по актуальным вопросам востоковедения». Казалось бы, что эта

оценка должна толкнуть руководство Института востоковедения на всесторонний самокритический анализ прежней работы с учетом развития каждой из наук, входящих в круг востоковедных, со всей их спецификой, со всеми их достижениями и недостатками, и притом не только как составных частей востоковедения. Такого самокритического ретроспективного обзора нет ни в статье, посвященной плану, ни в названной статье «Востоковедение». Авторы статьи о плане говорят о коренной перестройке всей работы реорганизованного Института востоковедения, но совершенно умалчивают о принципах новой организации труда и недостатках прежней. Вместо всего этого в предисловии к перспективному плану находим одни лишь глаголы «углублять», «улучшать», «изучать», «основываться», «сосредоточить внимание» и т. п.

Исходя из столь же бесспорного, как и бесплодного, положения о том, что востоковедение является исторически сложившимся кругом научных дисциплин, авторы статьи о востоковедении в «Большой Советской Энциклопедии» не делают и попытки обосновать целесообразность такого объединения столь разнородных дисциплин на сегодня, считая это, повидимому, самоочевидным. Не разделяя подобного взгляда, мы не считаем, однако, уместным и своевременным оспаривать это мнение. Необходимо лишь отметить, что существующее разделение труда в области изучения восточных языков между Институтом языкознания и Институтом востоковедения ведет к дроблению научных коллективов, изучающих родственные языки.

Авторы статьи о перспективном плане ссылаются на труды И. В. Сталина по вопросам языкознания (см. вып. I, стр. 4). По мнению авторов, работы И. В. Сталина имеют для советского востоковедения важнейшее значение в деле разоблачения ошибок последователей Н. Я. Марра среди востоковедов, в деле внедрения марксизма в языкознание и в деле теоретического изучения восточных языков. Остановимся на разоблачении ошибок марровского характера. Нам кажется, что, вместо ожидания покаянных выступлений по всякому поводу на собраниях и в статьях, гораздо лучше было бы составить подробную рецензию той работы, которая содержит ошибки, и напечатать ее, предоставив возможность автору ответить в печати. При вдумчивом подборе рецензентов это очень оживило бы научную работу и создало бы атмосферу самокритики, стоящей на высоком уровне. Не спорим, что это хлопотливо и потруднее, чем повторять на каждом собрании и в каждой резолюции, что такой-то не кается в своих ошибках, как будто в подобных повторениях заключается организация самокритики в науке.

Формулировка относительно «внедрения марксизма в языкознание и в теоретическое изучение восточных языков» явно ошибочна, потому что нет никаких научных оснований противопоставлять языкознание теоретическому изучению восточных языков.

Перспективный план намечает создание и опубликование ряда трудов по китайскому, монгольскому, японскому и турецкому языкам. Работа «Вопросы китайского языкознания» (см. вып. I, стр. 6) должна стать своеобразной энциклопедией китайского языкознания. В плане говорится об этой работе, что она должна содержать «освещение основных вопросов изучения китайского языка», историю формирования китайского языка и его современное состояние.

Чем же поможет китайцам в этом огромном деле сотрудничество с историками, литературоведами, экономистами? Не будет ли это сотрудничество фикцией и не гораздо ли полезнее было бы для китайцев сотрудничество других языковедов, хотя бы в такой скромной форме, как прочтение отдельных частей этого труда до печати и их обсуждение с авторами? Это же замечание следует отнести и к «Очеркам истории японского языка» (см. вып. I, стр. 7) и к статье «Монгольские языки и диалекты» (см. там же, стр. 6).

С удовлетворением отмечая, что план предусматривает составление грамматик корейского, вьетнамского, а также афганского языков, мы считаем, что в такой же мере нужна и грамматика малайского языка.

Нетерпимо дальнейшее отставание в области экспериментальной фонетики. Востоковедам особенно нужно заменить свои часто импрессионистские характеристики звуков и звуковых явлений (вроде «зычные», «помутнение») характеристиками, основанными на физиологии звуков и других экспериментальных данных. Лаборатория по экспериментальной фонетике нужна всем лингвистам, и, конечно, ее легче создать при Институте языкознания [ср. предложение Н. А. Сыромятникова в отчете о заседании Ученого совета института (вып. IV, стр. 72)].

В сентябре 1951 г. на Ученом совете обсуждался вопрос о лингвистической работе в институте. «В принятом решении Ученый совет отметил недостаточное развертывание в институте работы в области лингвистики за истекший год и отсутствие в печати острой критики ошибок лингвистов, стоявших в прошлом на порочных марксистских позициях» (вып. IV, стр. 73). В отчете нет указаний на то, чтобы кто-нибудь из выступавших говорил о ненормальности такой организации научной работы, когда ряд родственных языков изучается в разных институтах. Указывалось, что необходима более тесная связь с Институтом языкознания, и даже нашли нужным ввести в состав Ученого совета Института востоковедения трех представителей Института языкознания. Но это более

похоже на перестраховку от возможной критики в будущем, чем на серьезное отношение к делу.

Ученый совет счел нужным провести ряд дискуссий и сессий с опубликованием отчета о них в изданиях института. Однако в вып. V и VI никаких сообщений о лингвистических дискуссиях не было. Уместно указать, что лингвистическим дискуссиям по докладам Г. Д. Санжеева в январе 1951 г., Н. И. Конрада в мае 1951 г., А. Н. Кононова в июне 1951 г. «Краткие сообщения» уделяли по несколько строк в «Хропике» (вып. I, стр. 64; вып. II, стр. 72; вып. III, стр. 66). Зато обсуждению книги Я. А. Певзнера «Монополистический капитал в Японии («дзайбацу») в годы второй мировой войны и после войны» в вып. III «Кратких сообщений» было посвящено 8 страниц (стр. 57—64). Следовательно, налицо еще и недооценка дирекцией института вопросов языкознания.

Нам представляется нецелесообразным, а в свете перестройки советского языкознания просто недопустимым раздробление между двумя институтами коллективов по изучению языков тюркских, иранских и монгольских. Если необходимо разделить изучение этих языков между двумя институтами, то надо, чтобы, например, коллектив тюркологов вошел целиком в состав Института языкознания, а коллектив иранистов — в состав Института востоковедения, и т. п.

Не нашло своего места в плане и изучение египетского языка, некогда представленного в нашей стране блестящими именами. Что касается современных африканских языков, преимущественно языка банту, то до войны работа по этим языкам велась. Теперь ими не занимаются ни Институт языкознания, ни Институт востоковедения. Известно, что языки, например, Армении и Грузии изучаются в академиях этих республик. Однако из этого никак не следует, во-первых, что является нормальным отсутствие систематической информации об этой работе, а во-вторых, что нет русских переводов важнейших и наиболее удачных работ по этим языкам. Может быть, в том, что нет таких переводов, равно как и элементарных научных пособий по этим языкам на русском языке, и виноваты отчасти грузинские и армянские языковеды, но большая доля вины падает и на Институт востоковедения, и на Институт языкознания. Каждый из этих институтов должен позаботиться о том, чтобы на русском языке были такие книги, и сделать соответствующие заявки в Совет по координации.

Подводя итоги обзора «Кратких сообщений Института востоковедения», мы можем сделать следующие выводы о положении языкознания в этом учреждении Академии наук СССР.

1. Лингвистическая работа в институте не только не перестроена в соответствии с указаниями И. В. Сталина о сравнительно-историческом языкознании, но ни из плана, ни из других материалов рецензируемого издания не видно даже, чтобы была осознана и необходимость такой перестройки. Единственным исключением является плановое исследование проф. Г. Д. Санжеева по сравнительной грамматике монгольских языков, уже вышедшее в свет. Одной из существенных помех в деле поворота к сравнительно-историческому языкознанию является неправильная организационная структура института.

2. Имеется целый ряд заброшенных участков, по которым ранее проводилась работа, иногда очень значительная. Это — семитские, африканские, индийские языки и древние языки Востока. Дело чести института возродить работу в этих областях.

3. Повидимому, не ведется работы над языками Юго-Восточной Азии, между тем как исследования, посвященные, например, малайским, бирманским, сямским языкам, были бы весьма актуальны. Эту работу надо начать.

4. Разделение труда по изучению восточных языков между Институтом востоковедения и Институтом языкознания приводит к тому, что дробятся коллективы монголистов, тюркологов и иранистов. Оба института должны найти лучшее решение этого вопроса.

5. Вопросы организационной структуры, повидимому, не изучаются с должным вниманием всем коллективом института (в «Кратких сообщениях» им вовсе не уделяется внимания), вследствие чего за короткий срок Институт востоковедения переживает вторую реорганизацию, вновь не учитывая выше отмеченных моментов. Надо серьезно продумать вопросы реорганизации института.

6. Вместо того, чтобы помогать академиям союзных республик и местным филиалам в деле изучения языков Советского Востока и руководить соответствующей работой в вузах Москвы и Ленинграда, Институт востоковедения оказывается изолированным как от тех, так и от других. Необходимо обеспечить соответствующую информацию в печати, рецензирование выходящих на местах работ, издание лучших из них, издание необходимых элементарно-научных пособий по основным восточным языкам, чтобы обеспечить их нормальное изучение в вузах. Большая роль в деле разрешения этих важных задач может принадлежать «Кратким сообщениям» или какому-нибудь другому академическому журналу, который будет выходить регулярно и в большем тираже.

«Против вульгаризации марксизма в археологии». [Сб. статей.] Ин-т истории материальной культуры АН СССР.— М., Изд-во АН СССР, 1953. 192 стр.

Вышедший в свет сборник статей (частично уже опубликованных в других изданиях) «Против вульгаризации марксизма в археологии» представляет интерес и для языковедов, поскольку в нем так или иначе ставятся вопросы, связанные с изучением древних этапов развития языков.

Сборник открывается кратким предисловием (стр. 3—8)¹, в котором в общих чертах отмечается большой вред, нанесенный археологии Н. Я. Марром и его последователями, ставятся некоторые общие задачи, связанные с изучением древнейшей истории народов нашей страны. Поскольку статьи сборника посвящены различным темам, во многих отношениях не связанным друг с другом, следовало бы ожидать от предисловия более развернутого и более конкретного анализа общего состояния советской археологии, особенно по вопросам этногенеза.

Сборник состоит из статей А. Д. Удальцова («Роль археологического материала в изучении вопросов этногенеза в свете работ И. В. Сталина о языке», стр. 9—18), П. Н. Третьякова («Произведения И. В. Сталина о языке и языкознании и некоторые вопросы этногенеза», стр. 19—50), А. В. Арциховского («Пути преодоления влияния Н. Я. Марра в археологии», стр. 51—69), П. И. Борисковского и А. П. Окладникова («О преодолении вульгаризаторских псевдомарксистских концепций Н. Я. Марра в изучении ранних этапов развития первобытно-общинного строя», стр. 70—93), А. Я. Брюсова («К критике ошибок археологов при истолковании древних петроглифов», стр. 94—103), Т. С. Пассек («О марровских ошибках в изучении трипольских племен», стр. 104—118), Б. Б. Пиотровского («О некоторых ошибках археологов в связи с учением Н. Я. Марра о семантике», стр. 119—128), С. В. Киселева («О недостатках и новых задачах в изучении бронзового века», стр. 129—140), Е. И. Крупнова («Об этногенезе осетин и других народов Северного Кавказа», стр. 141—164) и Н. Я. Мерперта («Против извращений хазарской проблемы», стр. 165—190).

В нашу задачу не входит обзор всех этих статей по существу, поскольку это должно быть сделано специалистами-археологами. Поэтому ниже мы рассмотрим лишь те вопросы, которые имеют непосредственное отношение к проблемам языкознания и решению которых связано с данными языка.

Можно сказать, что в сборнике хорошо и убедительно раскрыты ненаучные «концепции» Н. Я. Марра в вопросах этногенеза, археологии и ранних этапов развития первобытно-общинного строя. Впрочем в тех случаях, когда авторы статей касаются лингвистических воззрений Н. Я. Марра, читатель-языковед не найдет для себя чего-либо нового. Развернутой критике подвергаются работы последователей Н. Я. Марра — В. И. Равдоникаса, В. И. Абасава и М. И. Артамонова. И все же читатель сборника, имеющего обобщающее название «Против вульгаризации марксизма в археологии», остается не вполне удовлетворенным.

Как в редакционном предисловии, так и в статьях проводится одна мысль: ряд археологов в разной степени оказался под влиянием «нового учения» о языке Н. Я. Марра, на их работах сказывалось воздействие Н. Я. Марра, «новое учение» о языке нашло свое отражение в археологии и освещении проблем этногенеза и т. д. Однако ограничивалось ли дело только «влияниями», «отражениями» и «заимствованиями»? Нет, этим дело не ограничивалось.

Среди археологов и этнографов были ученые, которые не только пассивно воспринимали теорию Н. Я. Марра, но и активно «развивали» ее на археологических и этнографических материалах, пресекали малейшие попытки критиковать марристские «концепции» в археологии и этнографии. В сборнике мы в общем не находим сколько-нибудь развернутой критики марристских ошибок, допущенных археологами в процессе их настоячивых и многолетних попыток «развить» дальше археологию на основе «учения» Н. Я. Марра (исключение составляет подробный разбор работ В. И. Равдоникаса и М. И. Артамонова). Авторы статей сборника, «отразившие» во многих своих работах установки Н. Я. Марра (к ним в предисловии отнесены А. Д. Удальцов, П. Н. Третьяков, П. И. Борисковский, А. П. Окладников, Т. С. Пассек, Б. Б. Пиотровский, С. В. Киселев), о собственных ошибках говорят очень мало и по большей части неконкретно. Так, например, в статье А. Д. Удальцова имеется лишь только одно очень неопределенное самокритическое упоминание: «Некоторые историки и археологи (и я в том числе), используя антимарксистскую языковую теорию Марра, внесли и в археологические и исторические наши построения ряд положений, искажающих, помимо освещения процессов языкового развития, процесс развития материальной культуры» (стр. 10). В чем конкретно выразилось искажение А. Д. Удальцова процесса развития материальной культуры — для читателя остается неизвестным. Вряд ли можно полностью «искупить» свою глубокую вину перед отечественной наукой (стр. 10), оставляя в сто-

¹ Здесь и далее в тексте в скобках указываются страницы рецензируемого сборника.

роне подробный и принципиальный разбор собственных ошибок, ограничиваясь лишь самыми общими заявлениями.

П. Н. Третьяков в своей статье пишет, что больше всего марристских ошибок было допущено в вопросах этногенеза, добавляя: «Речь идет при этом не только о работах последователей Н. Я. Марра, но и о значительной части тех исследований по этногенезу, авторы которых не признавали „теорий“ Н. Я. Марра, но тем не менее не сумели полностью уберечься от их пагубного влияния» (стр. 20). Такая неопределенная формулировка мысли, естественно, вызывает вопрос, относит ли себя автор к последователям Н. Я. Марра или к тем ученым, которые, не признавая «теории» Н. Я. Марра, все же делали ошибки марровского характера. Правда, на стр. 23 автор как будто склонен признать себя последователем Н. Я. Марра, поскольку он сообщает, что им и другими археологами «...были некритически восприняты некоторые общие, так сказать, „теоретические“ положения Марра, которые рассматривались в качестве марксистских, находящихся якобы в полном соответствии с трудами В. И. Ленина и И. В. Сталина по национальному вопросу», а ведь восприятие теоретических положений равнозначно следованию им.

Однако когда дело доходит до конкретного анализа марристских ошибок в работах по этногенезу, П. Н. Третьяков вновь делит исследователей на две упомянутые группы, фактически относя себя ко второй. К тем ученым, которые наиболее последовательно применяли «теорию» стадиальности Н. Я. Марра, он относит акад. Н. С. Державина. Конечно, верно, что Н. С. Державин в освещении славянского этногенеза широко использовал «теорию» стадиальности. По ошибочному мнению Н. С. Державина, славяне якобы сложились в результате «стадиальной трансформации», «перевоплощения» из фракийцев и других племен древности, находившихся «на яфетической стадии культурного развития». У других историков и археологов, — продолжает П. Н. Третьяков, — занимающихся вопросами этногенеза, наблюдалось стремление ввести в марровскую «теорию» значительные коррективы, которые бы позволили так или иначе примирить марровскую «теорию» стадиальности с истинным ходом исторического процесса» (стр. 30). В качестве примера приводятся работы А. Д. Удальцова, который руководствовался «работами И. В. Сталина по национальному вопросу», но в вопросе о происхождении современных этнических групп стоял на позициях Н. Я. Марра, считая, что все они образовались на основе перехода от «яфетической стадии развития» к «новой стадии» (стр. 30—31). Сам П. Н. Третьяков не вводил термина «яфетическая стадия», но все же рассматривал скифов, фракийцев, илирийцев, кельтов и других как непосредственных предков славян (стр. 31—32).

В таком (соответствующем действительности) изложении вряд ли можно усмотреть какое-либо существенное различие между взглядами по основному вопросу этногенеза акад. Н. С. Державина, с одной стороны, и А. Д. Удальцова и П. Н. Третьякова, с другой. И если Н. С. Державин прямо называл вещи своими «яфетическими» именами, а А. Д. Удальцов и П. Н. Третьяков по возможности избегали марристской терминологии и даже пытались «примирить» марровскую теорию с подлинным историческим развитием, то вред от завуалированных и несколько затухевших марристских взглядов А. Д. Удальцова и П. Н. Третьякова был не меньший, а больший, чем от откровенного яфетидизма акад. Н. С. Державина.

Странным и непонятным кажется такое настойчивое подчеркивание «тени и света» между отдельными группами последователей Н. Я. Марра, когда речь идет о критическом разборе ошибочной концепции по вопросам этногенеза. Этим самым, конечно, мы вовсе не хотим сказать, что в работах названных археологов имелись только одни ошибки, и умалить их значительные достижения, основанные на анализе больших конкретных материалов.

Не менее неопределенно и в самых общих словах, без подлинного разбора собственных ошибок, делаются самокритические замечания и другими авторами сборника, в свое время пропагандировавшими, как правильно указано П. И. Борисовским и А. П. Окладниковым, «культ Марра» (стр. 71). Нужно согласиться со словами С. В. Киселева, который пишет: «Непреодоленной до конца остается совершенно неправильная мысль о том, что ошибки в археологической работе стали сами собой очевидны в свете трудов И. В. Сталина и, следовательно, все усилия надо сосредоточить только на работе по-новому, ограничившись общим признанием старых ошибок» (стр. 129). Авторы сборника, специально посвященного критике вульгаризаторских взглядов в археологии, ограничились всего лишь самым общим признанием своих собственных ошибок и тем самым не пожелали встать на путь подлинной самокритики. А «ведущий» в недавнем прошлом последователь Н. Я. Марра С. П. Толстов, как отмечается в сборнике, и вовсе уклонился от самокритики.

В сборнике поднят очень важный вопрос, имеющий большое значение и для исторического языкознания: о комплексном изучении происхождения современных этнических групп, о месте языковедных, археологических, этнографических и иных материалов в определении этнического состава древнего населения.

Главная и пока не преодоленная трудность не только решения, но даже основательной постановки проблем этногенеза заключается в том, что до сих пор еще не вы-

работаны какие-либо надежные методы соотнесения, увязки данных истории материальной культуры и данных исторического языкознания. Археология получает все больше и больше возможностей воссоздать особенности развития производства, производительных сил, быта, искусства и т. д. населения отдаленных эпох, начиная с самых ранних этапов истории первобытно-общинного строя. Она совершенствуется в определении территории распространения тех или иных «материальных культур» и времени их существования, проливает некоторый свет на направление тех передвижений населения из одной местности в другую, о которых нет никаких свидетельств письменных источников и народных преданий. Благодаря значительным успехам советских археологов серьезно расширены и углублены наши сведения о многих локальных культурах на территории нашей страны, открыты новые культуры и т. д. Археология имеет в своем распоряжении то, что еще очень слабо представлено в языкознании: относительную хронологизацию и локализацию изучаемых ею объектов. Однако язык является основным, решающим (хотя и не единственным) признаком этнической принадлежности тех или иных групп древнего населения. Археологические культуры доисторических эпох, не соотнесенные с данными языка, этнически всегда будут безликими, «немыми», и какие бы предположения ни делались насчет их этнического характера, эти предположения больше будут относиться к фантастике (может быть, и очень увлекательной), чем к науке.

Известно очень много случаев, когда та или иная археологическая культура совершенно не совпадает с какой-либо этнической единицей. Полагают, например, что дьяковские городища Средней России с их очень однородным археологическим материалом частью принадлежали предкам восточных славян, частью же древним финно-угорским племенам. Никому еще не удалось, как пишет А. В. Арциховский (стр. 68), разграничить археологические остатки иранцев-алан и тюрков-хазар в салтовской культуре. Мы решительно ничего не знаем об этническом характере населения IV—II тысячелетий до н. э., занимавшего обширные пространства Восточной и Средней Европы и оставившего много обширных и локально ограниченных, неоднократно сменявших друг друга археологических культур, хотя по этому поводу высказано и высказывается огромное количество всевозможных недоказуемых гипотез (не только археологами, но и языковедами). Несовпадение археологических культур с языковой принадлежностью населения вполне понятно, поскольку язык не тождествен культуре как в узком, так и в широком смысле.

В отличие от археологии историческое языкознание, имея в своем распоряжении сравнительно-исторический метод, как правило, четко устанавливает этническую принадлежность племен и народов, родственные семьи и группы языков, то более, то менее правдоподобно реконструирует последовательный ход развития родственных языков, начиная с древнейшего языка-основы, выясняет сложные взаимосвязи и взаимодействия между языками, прежде всего родственными и затем неродственными, на различных ступенях их истории. Однако историческое языкознание само по себе, без материалов смежных дисциплин, не может ответить на ряд весьма существенных вопросов. Прежде всего оно почти не располагает средствами определять хронологию развития языковых явлений дописьменной эпохи. То, что называется относительной хронологией в сравнительно-исторических исследованиях, представляет собою главным образом установление (во многих случаях спорное и гипотетическое) последовательности тех или иных языковых изменений без конкретного определения их во времени. Лишь в частных случаях удастся определить более или менее хронологически точно какое-либо изменение в языке (так, например, на основании заимствования нескольких слов общеславянским языком из германских языков считается, что дорсальное смягчение заднеязычных согласных в общеславянском языке в III—IV вв. н. э. было действующим фонетическим законом).

Большие затруднения возникают при попытке определить время начала распада индоевропейского языка-основы, возникновения общеславянского языка-основы и обособления его от других индоевропейских языков и вообще при локализации древних языковых общностей. Лингвистическая география дописанных этапов развития языков находится еще в пеленках.

Совершенно очевидно, что только на основании языковых материалов нельзя решить основных проблем этногенеза, и вместе с тем язык является решающим признаком этнической характеристики племен и народностей. Из этого следует, что данные языка должны быть фактическим стержнем этногенетических исследований. Не случайно, что до засилия марристов в языкознании ведущими исследователями по вопросам этногенеза являлись лингвисты. Историческое языкознание накопило огромный фактический материал, значительная часть которого, особенно в лексике, но только при условии широкого использования достижений смежных дисциплин, может быть хронологизирована и локализована. Историко-лингвистических опытов с комплексным использованием данных истории, археологии, этнографии и т. д., как известно, было очень мало. И если эти опыты еще не дали определенных выводов, то на это есть свои причины.

Здесь не место касаться недостатков историко-лингвистических исследований по

вопросам этногенеза. Укажем лишь, что соотнесение языковых фактов с данными исторической материальной культуры должно идти прежде всего и главным образом по линии раскрытия исторического содержания явлений языка, определения их во времени и пространстве. В этом заключается основная линия работы по этногенезу. Отправным пунктом (в методическом смысле) этногенетических исследований должны быть данные языка, поскольку признается, что язык — главный признак этнической общности.

Эта методическая посылка, конечно, вовсе не предопределяет исключительного, главенствующего положения языковедов в разработке проблем этногенеза. Данные сравнительно-исторического языкознания пока что плохо поддаются хронологизации и локализации. Более того, вероятно, многое в истории развития языков древнейших (дописьменных) времен останется в хронологическом и локальном смысле не определенным и не определимым. Нужно также всегда иметь в виду, что языковедам принадлежит исследование (своими специальными лингвистическими методами) важнейшей, но все же одной стороны этнического единства. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что правильное решение этногенетических проблем возможно лишь при условии выработки подлинно комплексного метода, создание которого диктуется всем ходом развития современной науки.

Возьмем для примера вопрос о территории поселения новгородских словен. Границы территории новгородских словен археология очерчивает прежде всего на основе географического расположения погребальных памятников в виде высоких курганов округло-конической формы. Если бы не сохранилось древней новгородской письменности и исторических сведений о словенах, то можно было бы сказать, что археология обнаружила локальную культуру погребений, этническая принадлежность которой является неизвестной или гадательной. Однако данные языкознания (в этом случае русской диалектологии) определяют этническую сторону строителей округло-конических погребальных курганов. Граница распространения указанных курганов почти полностью совпадает с изоглоссой характерного для современных новгородских говоров (в конечном счете восходящих к племенному диалекту словен) слова *сопка* «древний могильный курган». Древнерусское *съль* «насыпь» очень прозрачно в этимологическом отношении, являясь именным образованием от общеславянского глагола *сыпати*. Характерно, что расширительное значение *съль* «любой холм округлой формы» фиксируется в письменных памятниках по крайней мере с XIII в., и это является прямым указанием на то, что исходное значение (могильный курган как искусственная насыпь) этого слова образовалось гораздо раньше XIII в. Исторические сведения о словах совпадают с данными археологии и языкознания, и, таким образом, вопрос о локализации словен в главных своих чертах является окончательно решенным.

Приведенный выше пример показывает, чего нужно добиваться в комплексной работе по этногенезу. Конечно, когда объектом исследования являются этнические общности более ранних эпох, дело обстоит гораздо сложнее из-за скудости, а то и полного отсутствия каких-либо определенных данных, позволяющих давать этнические характеристики обнаруживаемых археологами древних материальных культур. Но все же мне представляется, что в перспективе мы можем надеяться на то, что и для более или менее обоснованного решения проблем этногенеза отдаленных дописьменных эпох будут добыты необходимые материалы. Из числа этих проблем очень важным для нас является вопрос о локализации и хронологизации древней общеславянской этнической общности. Одним из объектов (но, разумеется, не единственным) комплексного исследования древнего славянского этногенеза должны явиться материалы общеславянской лексики, исконной и заимствованной.

Реконструируемый сравнительно-историческим методом общеславянский язык имеет в своем словарном составе значительное количество слов, а также значений слов и особенностей словообразования, свойственных только этому языку или известных также лишь в отдельных, чаще всего соседних родственных языках. Реалии, обозначающие некоторую часть этих слов, имеют прямое отношение к археологии, этнографии, палеозоологии, палеоботанике и другим научным дисциплинам. Ср., например, из названий металлов и минералов: *жельзо* (славяно-балт.), *олово* (славяно-балт.), *свинец*, *кремень* (возможна связь с германскими языками, где слово выступает в интересном значении: др.-сев. *skrāma* «топор») и др.; из названий орудий труда и построек: *гумно*, *кльть*, *стѣна* (готск. *stains* «камень»), *долото* (<**dolbto*), *неводъ*, *нозѣ* (др.-прус. *pagis* «кремень»), *игла*, *острога*, *свердыло* и т. п.; из названий растений и деревьев: *блѹщъ* «плющ», *вѣзь*, *дѣбъ*, *ель* (<**jedlъ*) (славяно-балт.), *липа* (славяно-балт.), *малина*, *осина* (славяно-балт.-герм.), *грибъ*, *попынь*, *посконъ*, *просо* (др.-прус. *grassan*), *пышеница*, *рожъ* (славяно-балт.-герм.), *горохъ* (<**gorcho*), *Ачьмень*, *хмель*, *хрипъ* и т. д.; из названий животных: *волъ*, *кромъ*, *куница* (славяно-балт.), *ласица* «ласка», *Авѣзъ* «барсук», *лиса*, *заАць*, *пѣсъ* «пес» и т. п. Изучение специфики общеславянской лексики позволит установить обширный круг различного рода особенностей и новшеств (в сравнении с древним индоевропейским языком-основой). Предстоит еще критически проверить этимологии этих слов, обобщить материалы, проследить закономерности развития словообразования и значений слов. Конечно, попытки приурочивать древних славян к определенному месту и времени при помощи использования словарных при-

меров делались неоднократно. Однако, во-первых, исследователи исходили не из общеславянской лексики в целом, а привлекали лишь единичные, обычно случайно (или тенденциозно) подобранные слова, во-вторых, реалии слов в подавляющем своем большинстве оказывались неизученными представителями смежных специальностей.

В предисловии и в некоторых статьях сборника усиленно подчеркивается, что разработкой проблем этногенеза занимаются археологи, а языковеды должны им «оказывать помощь» в создании комплексного метода изучения явлений этногенеза. Конечно, поднимать спор о том, кто должен вести основную, а кто вспомогательную работу в этногенетических исследованиях, совершенно неуместно. Занятия проблемами этногенеза определяются самой спецификой предмета и личными интересами и подготовкой отдельных исследователей — представителей смежных дисциплин. Впрочем нельзя считать нормальным, что в настоящее время изучение этногенетических проблем у нас находится почти в безраздельном ведении археологов. В этом повинны прежде всего языковеды. Археологи же, в свою очередь, пытаются «подменять» языковедов и решать такие вопросы, которые без основательной подготовки в области сравнительно-исторического языкознания не разрешимы. В связи с этим коротко остановимся на разборе других существенных недостатков сборника.

П. Н. Третьяков в своей статье, помещенной в сборнике, разбирает некоторые марристские ошибки по вопросам этногенеза, а затем ставит вопрос о характере процессов языкового скрещивания в доклассовом обществе. По его мнению, в доклассовом обществе в процессе скрещивания не происходило победы одного языка над другим, а имела место своего рода «неполная ассимиляция»: «...язык более слабого племени либо сохранялся, но испытывал на себе очень сильное влияние языка более сильного племени, или же слабое племя получало новый язык, сохраняя в нем многочисленные элементы старого языка» (стр. 42). «Такие же явления наблюдались и в области культуры. Другими словами, нам кажется, что теория субстрата и суперстрата, разработанная в лингвистике, в наибольшей степени применима именно к эпохе первобытно-общинного строя» (там же). Автор не настаивает на своем предположении, считая его только гипотезой. Однако и как гипотеза это предположение не может быть приемлемым, поскольку такого рода своеобразное «неполное скрещивание» или «полускрещивание» нельзя подкрепить какими-либо языковыми фактами.

В истории языков, в том числе у отсталых племен, засвидетельствована своеобразная «неполная ассимиляция» (если употреблять этот термин) лишь при взаимоотношениях друг с другом близко родственных диалектов. Что же касается теории субстрата и суперстрата (кстати, мало разработанной и по-разному трактуемой), то к вопросу о «неполной ассимиляции» она не имеет никакого отношения. Тем более неосновательно приравнивать к «полускрещиванию» неродственных или разошедшихся в своем развитии родственных языков к явлениям культуры, хотя бы и первобытной.

Между тем П. Н. Третьяков на основании своей неправильной гипотезы, говоря об огромном культурном влиянии на местное население вторгшихся с Дуная или Балкан трипольцев, полагает, что «их язык, несомненно, также должен был оказать серьезное влияние на местное население» (стр. 43). О языке (или языках?) трипольцев науке пока что ничего не известно, но даже и чисто гипотетически нельзя думать, чтобы огромное (так ли?) хозяйственное и культурное влияние этих племен обязательно сопровождалось серьезным языковым воздействием на языки (тоже неизвестные) старого местного населения. Кстати заметим, что в статье А. В. Арциховского определенно говорится о том, что образование семей языков происходило «на основе каких-то языков-победителей» (стр. 66). Это не единственное существенное противоречие между авторами различных статей сборника, которое ответственный редактор А. Д. Удальцов оставил без внимания.

В статье П. Н. Третьякова теория «неполной ассимиляции» перекликается с теорией «главных и второстепенных» предков славян. П. Н. Третьяков правильно критикует марристские измышления насчет «перевоплощения» в славян разнородных племен и народностей древности, которые будто бы были равноценными предками славян. Но он делает странную, на наш взгляд, поправку к тому, чего нельзя поправить. Относя к главным предкам славян неvroв, лугиев и венедов, П. Н. Третьяков считает, что у славян были и второстепенные предки — скифы, сарматы, фракийцы и ряд других более поздних причерноморских племен и народностей, в том числе и тюркоязычных (стр. 32—35). Очень вероятно, что какая-то часть скифов, сарматов и других племен утратила свои языки и влилась в славянскую этническую общность. Однако что же изменили эти древние племена и народности в славянской этнической общности, в каком смысле их следует считать «строительным материалом при возникновении славянских народов»?

Сам П. Н. Третьяков правильно считает, что древние языки этих племен и народностей «при встрече со славянским языком потерпели поражение и исчезли почти без остатка». Следовательно, скифы, сарматы и др. в языковом отношении не могут считаться ни второстепенными, ни третьестепенными предками славян. У нас нет основания полагать, что в результате ассимиляции части скифов, сарматов и иных племен и народностей произошли какие-либо существенные изменения и других (второстепенных)

признаков этнической славянской общности. Нам представляется, что теории «неполной ассимиляции» и «главных и второстепенных предков» представляют собою неудачную попытку установить генетические связи (пресмщенность) как между древнеславянскими археологическими культурами и более ранними археологическими культурами, «немыми» в этническом отношении, так и культурами, одновременными древнеславянским. Такого рода попытки и «поправки» прежних ошибочных взглядов легко могут привести к той же путанице понятий об этногенезе, которая господствовала у археологов-марристов.

В статье Т. С. Пасека «О марровских ошибках в изучении трипольских племен» также поднимается общий вопрос о соотношении археологических культур с этническими общностями применительно к трипольцам. Автор считает, что дальнейшее изучение локальных вариантов археологической культуры населения, условно называемого трипольским, даст возможность выявить своеобразие родственных трипольских племен. Однако тут же указывается, что вопрос, можно ли в археологических культурах, в том числе и трипольской, видеть реальное отражение этнической общности племен или родственных племен, остается еще нерешенным (стр. 113). Если этот вопрос для археологов является нерешенным, то какими же способами археологические исследования могут привести к определению этнической принадлежности «трипольцев» и даже к выяснению своеобразия среди них родственных племен? На стр. 113 Т. С. Пасек пишет: «При современном состоянии наших знаний у нас пока нет оснований утверждать о принадлежности древнейших племен Днепровско-Дунайского бассейна к какой-либо из групп народов, говоривших на индоевропейских или доиндоевропейских (? — Ф. Ф.) языках». Очевидно, что этническую принадлежность трипольцев можно было бы определить только на основании лингвистических данных (если бы таковые оказались). Но, к сожалению, ни Т. С. Пасек, ни авторы других статей сборника не отвечают на вопрос, какие же особенности этих культур могут служить объективными показателями этнических общностей.

С этим кругом проблем частично перекликается статья А. В. Арциховского. Однако вряд ли можно пройти мимо следующего, чересчур категорического утверждения автора: «Древняя множественность (поскольку древних родов было много) принадлежит к основным положениям марксистского языкознания...» (стр. 65). Во-первых, требует пояснения так называемая древность, ибо неясно, что под нею подразумевается: период ли родовых языков в эпоху матриархата или патриархата, или период первоначального возникновения различных языковых групп. Во-вторых, поскольку дело касается эпохи существования первоначальных родов и, следовательно, родовых языков, то не может считаться доказанным, что древних родов в количественном отношении якобы было больше, нежели более поздних племен и даже народностей, ибо в глубокой древности вследствие крайне низкого уровня условий материальной жизни народонаселения на земле, несомненно, было очень мало. В-третьих, было бы наивным считать, что положение о родовых языках означает наличие у каждого рода своего отдельного языка, генетически совершенно не связанного с другими языками: данные этнографии и языкознания свидетельствуют о том, что несколько родов обычно говорит на диалектах одного и того же языка или на близко родственных языках.

Б. Б. Пиотровский в своей статье на конкретных материалах убедительно показывает порочность взглядов Н. Я. Марра и его последователей в вопросе о содержании и назначении различных символических знаков на памятниках древней материальной культуры, в том числе в вопросе о пиктографическом письме. Впрочем статью Б. Б. Пиотровского нельзя считать бесспорной, а одно место в ней вызывает явное недоумение. Автор пишет: «...Марр, взяв схему развития средств передвижения, установленную в археологии, пытался ее перенести в языкознание и обосновать языковым материалом... Таким образом, он установил переход названия на функции тяглового животного — от собаки, оленя, быка и до лошади, расположив эти термины в ряд, который можно довести до „парового коня“. Но этот правильный ряд элементов одинаковой функции, расположенных в исторической последовательности, не может быть просто иллюстрирован языковым материалом, т. е. переходом термина с собаки на оленя, с оленя на быка и т. д.» (стр. 123—124). Как указывает Б. Б. Пиотровский, дело обстоит гораздо сложнее: коптское *hro* «лошадь» восходит к древнеегипетскому *htr htf* «запряжка лошадей», первоначально — «запряжка быков». В данном случае нет перехода термина «бык» на «лошадь», а налицо только переход значения по линии парной запряжки. Что же касается ряда *собака—олень—бык*, то автор не приводит (вероятно, и не может привести) соответствующих примеров. Но верно ли, что археология установила исторически последовательный и правильный ряд смены тягловых животных: собака — олень — бык — лошадь?

А. В. Арциховский по этому поводу пишет в рецензируемом сборнике: «Поэтому даже марристам было трудно привести примеры археологических выводов, полученных на основе теории Марра. Пример всегда приводился один и тот же: замечания Марра о средствах передвижения... Домашние животные интересовали Марра, как средства передвижения. Основываясь на все тех же четырех элементах, он доказывал, что таким средством сначала были собаки, а затем их сменили лошади... Однако этнография,

изучившая много примитивных племен, знакомых с собаками и незнакомых с лошадьми, знает ездовых собак только в Арктике, применение их в условиях умеренного климата затруднительно, а собачья сбруя археологам неизвестна. Предшественниками лошадей у Марра являются также олени. Эта гипотеза не столь оригинальна, Марр здесь следовал за Сирелиусом и Таном-Богоразом, но они говорили лишь о странах холодного климата, да и то неубедительно, а Марр чрезмерно обобщил их предположения» (стр. 52—53).

Таким образом, Б. Б. Пиотровский, признавая правильной марровскую схему развития средств передвижения, идет вразрез с данными археологии и этнографии и повторяет домыслы Н. Я. Марра в сборнике, посвященном критике вульгаризаторских концепций Н. Я. Марра, попутно приписывая археологии то, чего она никогда не устанавливала!

Как видно из вышесказанного, сборник статей «Против вульгаризации марксизма в археологии» имеет существенные недостатки, которые значительно снижают его научную ценность.

Ф. П. Филин

А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. Перевод с французского В. В. Бородин. Под ред. и с предисл. В. Н. Сидорова.— М., Изд-во иностр. лит-ры, 1952. 447 стр.

Среди оригинальных трудов по старославянскому языкознанию, вышедших на русском языке за последние три-четыре года, мы имеем в виду труды крупнейших славистов нашего времени, ныне уже покойных: советского ученого А. М. Селищева и французского языковеда А. Мейе¹— работа известного французского слависта А. Вайана занимает особое место. В то время как основным содержанием трудов А. М. Селищева и А. Мейе является сравнительно-историческое изучение фонетики и грамматического строя старославянского языка — изучение, в ходе которого старославянские языковые факты рассматриваются не только по отношению к общеславянскому языку-основе, но и по отношению к языку общиндоевропейскому, труд А. Вайана посвящен собственно старославянскому языку, поскольку о нем можно судить по данным дошедших до нас памятников этого языка.

Сам автор характеризует свой труд как «чисто описательную грамматику», в которой он отказывается от сравнения старославянского языка не только с другими индоевропейскими языками, но даже и со славянскими. Автор использует только внутриязыковые сравнения. «Исторические объяснения посредством праславянского языка... заменены здесь... наблюдениями над чередованиями и вариантами форм, существующими в языке» (стр. 13)². Однако было бы ошибочным заключить из сказанного, что А. Вайан вовсе отказывается от исторического освещения фактов старославянского языка. «Старославянский язык IX—XI вв., — пишет он далее, — эволюционирует к языку среднеславянскому, к состоянию, значительно отличающемуся от предыдущего. Поэтому в этой грамматике много элементов истории и сравнений». Таким образом, чисто описательный характер грамматики А. Вайана своеобразен. Она является не описательной грамматикой старославянского языка в обычном значении этих слов, а, в сущности, исторической грамматикой, однако такой, которая охватывает период продолжительностью всего около трех столетий и составлена исключительно на основании данных памятников старославянской письменности.

Указанными особенностями книги А. Вайана и определяется положение и значение этого труда среди названных выше и других трудов по старославянскому языкознанию. Избранное А. Вайаном направление в построении «Руководства по старославянскому языку» не только вполне правомерно в научном отношении, но на том уровне науки о старославянском языке, которого она в наши дни достигла, это направление является и очень актуальным. Создание исчерпывающей описательной грамматики старославянского языка является одной из важнейших и первоочередных задач науки о старославянском языке.

В книге А. Вайана, кроме «Введения» (стр. 15—25), содержатся следующие четыре части: I. «Фонетика» (стр. 27—102), II. «Именные формы» (стр. 103—245), III. «Глагольные формы» (стр. 246—388), IV. «Фраза» (стр. 389—413). В разделах по

¹ А. М. С е л и щ е в, Старославянский язык, М., Учпедгиз: ч. I—1951; ч. II—1952; А. М е й е, Общеславянский язык, перевод с второго франц. изд., просмотренного и дополненного в сотрудничестве с А. Вайаном, М., Изд-во иностр. лит-ры, 1951.

² Здесь и в дальнейшем в тексте в скобках даем ссылки на страницы книги А. Вайана

морфологии автор уделит внимание и словообразованию. Последнему посвящены: глава XI «Образование имен» (стр. 227—238) и глава XV «Глагольное словообразование и вид» (стр. 350—376). Таким образом, в отношении программы «Руководство» не оставляет желать ничего лучшего.

Полнота и научная основательность освещения различных сторон старославянского языка в книге неодинаковы. С наибольшей полнотой и обстоятельностью изложена морфология, занимающая две самые большие части книги (почти 300 страниц из 446). В разделе, посвященном именным формам, читатель найдет не только характеристику соответствующих грамматических категорий, полные образцы различных склонений, но много ценных и интересных сведений о вариантах отдельных форм, об их истории и употреблении. С не меньшей, если не большей тщательностью и обстоятельностью рассмотрены в книге глагольные формы. В этой части «Руководства» читатель найдет богатый материал, относящийся к описанию личных, именных и сложных форм глагола, подробную классификацию глаголов, а кроме того, главы, посвященные виду (в связи с словообразованием) и употреблению глаголов.

Интересные и ценные сведения содержатся и в главе «Фонетика». В частности, с большим интересом читаются разделы о фонетике заимствованных слов. В целом, однако, эта часть удалась автору меньше, чем части по морфологии. Освещение некоторых вопросов фонетики не только спорно, но, на наш взгляд, и неприемлемо (см. об этом ниже). С меньшей полнотой, чем фонетика и морфология, освещен в книге старославянский синтаксис, о чем отчасти предупреждает читателя и сам автор, называя этот раздел книги — «Фраза». Впрочем нельзя не согласиться с В. Н. Сидоровым (автором «Предисловия»), во-первых, в том, что синтаксическими являются в сущности и главы X «Употребление именных форм» (стр. 195—227) и XVI «Употребление глагольных форм» (стр. 376—388), включенные в морфологию, а во-вторых, также в том, что синтаксис старославянского языка остается мало изученным.

«Руководство по старославянскому языку» представляет собой труд, оригинальный по материалу и по освещению отдельных вопросов старославянского языка. В отдельных своих частях «Руководство» является результатом исследований, принадлежащих самому автору (см. об этом в предисловии редактора). Специалисты по старославянскому языку прочтут эту книгу с интересом, а преподавателям старославянского языка наших вузов она принесет большую пользу.

Тем не менее далеко не со всем, о чем в «Руководстве» говорится в утвердительной форме, можно согласиться. Указанные выше, как и многие другие, достоинства этого труда отнюдь не освобождают читателя от необходимости критического отношения к нему. В краткой рецензии нет ни возможности, ни необходимости входить в подробный разбор книги А. Вайана, однако на освещении некоторых как общих, так и частных вопросов следует остановиться.

В начале «Введения» дается определение старославянского языка: «Термин „старославянский язык“, — читаем мы здесь, — имеет двойной смысл: во-первых, он обозначает древнейший славянский язык IX—X вв. в отличие от среднеславянского (среднеболгарского, древнечешского и др.) и новых славянских языков; во-вторых, он обычно (? — В. Ч.) обозначает древний болгаро-македонский язык, потому что именно этот язык является единственным известным с древнеславянского периода» (стр. 15). Эти определения, взятые и по отдельности и вместе, не создают у читателя ясного представления о предмете, руководство по изучению которого он взял в свои руки. Определение старославянского языка как «древнейшего славянского языка IX—X вв.» — двусмысленно. Оно может быть понято, во-первых, в том смысле, что старославянский язык является древнейшим среди славянских языков IX—X вв., а во-вторых, в том смысле, что старославянский язык является самым древним славянским языком и относится к IX—X вв. Согласно последнему пониманию выходит, что других славянских языков в IX—X вв. не существовало. Рассматриваемое определение не может быть принято не только потому, что оно двусмысленно, но и по существу. Подобно тому как не существовало никакого «среднеславянского» языка, а существовали языки среднеболгарский и др., так не существовало и «древнейшего славянского языка IX—X вв.», а существовали в указанное время языки древнеболгарский, древнерусский и др. Старославянский язык является древнейшим литературным языком славян. Именно об этом и следовало сказать прежде всего при его определении.

Двусмысленно само по себе и второе определение старославянского языка как «древнего болгаро-македонского». Оно может быть истолковано, во-первых, как определение, указывающее на славянский народ, живым языком которого был язык старославянский. А, во-вторых, в том смысле, что это был язык, который употреблялся в качестве письменного языка в Македонии и в Болгарии. Первое из этих пониманий не может быть принято потому, что в основе старославянского языка, как известно, лежит язык македонских славян IX в. Впрочем автор такого понимания термина «древний болгаро-македонский» язык и не придерживается. В параграфе 4 «Диалекты старославянского языка» А. Вайан пишет: «Создатели письменного языка Кирилл и Мефодий происходили из западной Македонии (г. Салоники); там же (в районе Охрида) действовала и школа Климента; таким образом, можно сказать, что старославянский

язык — это прежде всего язык древнемакедонский. Однако поскольку столицей болгарского государства Симеона и Петра был Преславль, в Восточной Болгарии, то старославянский язык, естественно, получил здесь несколько иную форму и стал древнеболгарским литературным языком. Позднее, когда центр болгарского государства переместился в Охрид, древнемакедонский язык одержал верх» (стр. 17—18).

Из приведенной цитаты следует, что А. Вайан называет старославянский язык «болгаро-македонским» потому, что одно время язык этот употреблялся в качестве письменного в Македонии, а затем — в Восточной Болгарии. И такое определение старославянского языка не может быть принято: в таком случае старославянский язык времени деятельности Кирилла и Мефодия в Моравии пришлось бы определить как язык моравский, а старославянский язык памятников древнерусской редакции — как язык древнерусский!

Определение старославянского языка, принятое в советской науке, согласно которому этот язык является первым (древнейшим) литературным языком славян, т. е. тем славянским языком, на который во второй половине IX в. были сделаны переводы с греческого, — яснее очерчивает сущность предмета, а вместе с тем и точно определяет основное направление, в котором должно идти изучение этой дисциплины.

Непоследовательно и нечетко рассматриваются в «Руководстве» факты старославянского языка в историческом отношении. Выше уже было сказано, что автор отказывается в своем труде от исторических объяснений «посредством праславянского». Однако удалось ли ему избежать таких объяснений? Думается, что не всегда. Например, описывая систему гласных в старославянском, автор различает в ней четыре группы звуков (см. стр. 33): сверхкраткие (ъ, ѣ), краткие (о, е, ъ, и), долгие (а, ѡ, ѡу; ѣ, ѡ, ѡ, ѡ) и носовые (ж, ж, ѡ). Спрашивается: на основании показаний каких памятников устанавливается эта классификация? Известно, что памятники не содержат прямых указаний на краткость или долготу старославянских гласных. На основании косвенных показаний памятников может быть установлено, что гласные ѡ и ѡ были гласными более короткими, чем гласные полного образования, но что можно сказать с уверенностью о количественных различиях, существовавших между этими последними? Принимаемая автором классификация гласных может быть обоснована лишь при помощи данных сравнительно-исторического изучения славянских и других индоевропейских языков, и при этом только для эпохи общеславянской («праславянской»), которая, конечно, не совпадала со старославянской эпохой в понимании автора. Таким образом, избежать исторических объяснений «посредством праславянского» автору не удалось.

Непоследовательно проводится в книге и принимаемое автором различие эпох собственно старославянского языка и позднего старославянского (см. стр. 32—33) — различие, без которого действительно трудно разобраться в фактах старославянского языка. Если при рассмотрении одних явлений, например структуры слова (см. стр. 33), автор исходит из собственно старославянского языка, а затем говорит о позднем старославянском, то при рассмотрении других явлений ранние и поздние факты не разграничиваются. Например, в парадигме склонения существительных, имеющих в именительном падеже -ѡ, а в родительном -ѡу (стр. 109), приводятся, с одной стороны, формы, относящиеся к тому периоду, когда редуцированные еще произносились: сънѡма, сънѡми, а с другой стороны, приводятся формы: сънѡмѡ, сънѡмѡ, сънѡхѡ, которые могут относиться и к периоду «позднего старославянского языка». Форма с(ѡ)нѡхѡ приводится автором, во всяком случае, только из Синайской псалтыри, где, как известно, отражена замена сильных ѡ и ѡ гласными полного образования о и ѡ; формы с -ѡмѡ, -ѡмѡ здесь не приводятся вовсе. Сам же автор об окончании -ѡмѡ, например в таких случаях, как спѡтѡмѡ, мѡрѡмѡ, пишет, что «по своему происхождению это окончание свойственно типу склонения на -ѡ с род. п. на -ѡу (§ 58)» (стр. 109), между тем окончание это в параграфе, на который ссылается автор, не рассматривается, если не считать ссылки на то, что оно встречалось в русском церковнославянском языке и со временем «перестало... быть особенностью склонения типа сънѡ» (стр. 111).

В парадигме кѡстѡ и пѡтѡ (стр. 120) твор. падеж. ед. числа муж. рода приводится в виде: пѡтѡмѡ (-ѡмѡ); местн. падеж мн. числа — в виде кѡстѡхѡ (-ѡхѡ), пѡтѡхѡ (-ѡхѡ); дат. падеж мн. числа в виде кѡстѡмѡ (-ѡмѡ), пѡтѡмѡ (-ѡмѡ). И здесь в качестве основных показаны формы более позднего происхождения, а в скобках — более древние. Сам же автор в комментарии к этому склонению пишет, что древнеболгарский язык «сохранил довольно хорошо окончания, свойственные склонению на ѡ, тогда как в древнемакедонском они были заменены окончаниями -ѡмѡ и т. д. склонения типа мѡжѡ» (стр. 121). Как бы ни решался вопрос о происхождении окончаний -ѡмѡ, -ѡмѡ, в парадигме следовало поставить на первом месте формы более древние, хотя бы в скобках (при отсутствии в памятниках тех или иных форм для данного слова), соответствующим образом разъяснив значение этих скобок.

Критического отношения заслуживает и освещение в «Руководстве» специальных вопросов. Неубедительно, хотя и по-новому, излагается здесь, например, во-

прос о гласных и и ъ. В таблице старославянских гласных (стр. 33) различаются два вида и и ъ: долгие (автор обозначает их буквами ѡ и ѣ) и краткие (автор обозначает их буквами ѡ и ѣ). Краткие ѡ и ѣ помещены в таблице рядом с ѡ и ѣ, следовательно, по мнению автора, это гласные полного образования. В комментарии к таблице о кратких ѡ и ѣ говорится следующее: «старославянский язык обладал... и и ѡ, которые отличались от долгих и и ѡ тем, что могли сокращаться в ѡ и ѡ, следовательно (? — В. Ч.), были краткими; ср. нѣ и после предлога въ ѣѣ; ѣдѣна и ѣдѣна, трѣ и трѣ, книж и книж, нѣѣ и нѣѣ и др.» (стр. 35). Согласиться с тем, что в приведенных в цитате примерах буквами и и ѡ обозначены гласные в количественном отношении одинаковые, а именно «краткие», не представляется возможным. Дело в том, что на стр. 42 автор сам указывает на произношение ѡ в начале слога как *jъ* или «как *ju* (краткое)». Следовательно, буква и в нѣ обозначает сочетание звуков, а не простой гласный. Ведь «сокращение» в форме въ ѣѣ обусловлено определенными фонетическими условиями. Иное звуковое значение имеет буква и в слове ѣдѣна, где она находится между согласными и, конечно, не обозначает сочетания *jъ*. Отличное значение от обоих рассмотренных случаев имеют буква и, а также буква ѡ в словах книж, нѣѣ и т. п. Здесь эти буквы падают в середине слова после букв, обозначающих согласные, и перед йотированными буквами или и. Звуковое значение их прекрасно определено самим автором в § 25, где говорится, что «краткие и и ѡ» являются по существу «видоизменением ѡ и ѡ в соседстве с *jъ*» (стр. 51). Соседство с *jъ* не изменяло этих гласных в количественном отношении, не превращало их из редуцированных в гласные полного образования, а изменяло лишь качественную окраску этих гласных. Они произносились как редуцированные и и ѡ. Следовательно, в таблице их следовало бы поместить не рядом с гласными ѡ и ѣ, а рядом с гласными ѡ и ѡ.

Не можем мы согласиться и с описанием истории «кратких и и ѡ» в старославянском. В «Руководстве» по этому поводу говорится: «В дальнейшем краткое и удерживалось в начале слова...; после гласной оно сохранялось лишь графически (? — В. Ч.), обозначая на письме *jъ*... а в конце слога, когда не происходило стяжения с последующим и... краткое и переходило в ѡ, краткое ѡ в ѡ. Эти новые «еры» вели себя точно так же, как и обычные, и вокализовались или исчезали при тех же условиях» (стр. 51).

По поводу сказанного в этой цитате позволим себе заметить следующее. Во-первых, нет никаких оснований говорить о начальном и в слове нѣ, что оно «удерживалось», ведь оно обозначает сочетание *jъ*, обычное для славян в начале слова. Во-вторых, утверждение, что буква и после гласной обозначала *jъ*, следовало бы подтвердить соответствующими данными; в § 19, на который ссылается автор, таких данных также не содержится. В-третьих, с утверждением о переходе кратких и и ѡ в конце слога в ѡ и ѡ согласиться нельзя. Это стоит в противоречии не только с описанным выше пониманием написаний и и ѡ перед йотированными буквами и перед и, но и с тем, что говорится об этих гласных в той же книге. Описывая образование определенных форм прилагательных (§ 79), автор говорит: «Определенные формы нѣѣ, нѣѣ и т. д. сначала еще легко разлагались на нѣѣ-и, нѣѣ-и и т. д.» Из этих слов следует, что гласный ѡ в форме нѣѣ является по результатам «сокращения» ѡ в форме нѣѣ, а, наоборот, источник, из которого развился гласный ѡ в этой последней форме. Полагаем, что именно в этом направлении и протекала история интересующих нас гласных, а именно: ѡ с последующим *jъ* изменялся в и редуцированное, а ѡ при тех же условиях изменялся в ѡ редуцированное. Судьба этих редуцированных в позднем старославянском в известных отношениях была такой же, как и судьба редуцированных ѡ и ѡ.

Мало убедительно изложен в «Фонетике» вопрос «о твердых, смягченных и палатализованных согласных». Не представляется достаточно оправданной прежде всего ссылка на русский язык: «Согласные в старославянском языке имели в целом двойное произношение — твердое и смягченное, в соответствии с природой последующей гласной, твердой или мягкой: т, = *ta* и т. = *me*, как в современном русском языке, как известно, существует один вид мягкости согласных, тогда как в старославянском языке их существовало два вида, о чем пишет на стр. 73 и сам автор. Если мягкость согласного в старославянском т. считать одинаковой с мягкостью согласного в русском *те* (например, в *тебе*), то как понять тогда мягкость согласных, например, в старославянских словах *кѣѣ*, *вѣѣ*?

Ниже, на стр. 74, приводится таблица твердых, мягких и палатализованных согласных. В ней приводятся, например, такие группы: *а—а'—â*; *р—р'—â*; *н—н'—â*; *т—т'—шг*: *а—а'—жâ*; *с—с'—ш*; *з—з'—ж*; *к—(к)*, *в', ц'—в' и др.*

По мнению автора, «все эти три ряда согласных имеют значение одновременно как для звуковой системы старославянского языка, так и для его морфологической системы чередований» (стр. 74). Оставляя подробное рассмотрение этой таблицы в стороне, отметим, что в первых трех из этих групп представлены согласные,

действительно отличающиеся друг от друга в отношении твердости или мягкости. Однако в последующих группах согласные отличаются друг от друга уже не только в отношении указанного признака. В самом деле, разве *шт'*, *жд'*, *ш'*, *ж'* отличаются от *т'*, *д'*, *с'*, *з'* только тем, что они имеют большую степень мягкости? Конечно, нет. Они в одних случаях представляют собой согласные иного качества, а в других — группы согласных. Каким же образом они могут быть поняты как мягкие и палатализованные формы звуков: *т*, *д*, *с* и *з*?

Таблица, составленная А. Вайаном, не может служить и таблицей «морфологической системы чередований» согласных, так как в рядах чередующихся звуков оказываются одни и те же звуки. Для правильного понимания системного характера старославянского консонантизма вряд ли стоило вносить в таблицу, даже в скобках, согласные, встречающиеся только в заимствованных словах. То обстоятельство, что согласные эти употреблялись только в заимствованных словах, ясно указывает, что звуки эти хотя и встречались в славянской речи, однако они находились за пределами славянской фонетической системы. Таким образом, опыт построения трех рядов согласных по их твердости и мягкости, имеющих значение как одновременно для звуковой системы старославянского языка, так и для его морфологической системы чередований, представляется нам неудачным.

Одной из наиболее обстоятельных и интересных в книге Вайана является часть, посвященная глаголу. Основные в этой части — первые две главы (по общей нумерации — XIII и XIV). В первой из этих глав, как уже говорилось выше, даются общие сведения о глаголе, подробно говорится о личных, именных и сложных формах глагола, приводятся парадигмы. Во второй главе этой части представлена классификация глаголов; для устанавливаемых здесь глагольных типов также приводятся парадигмы.

Описанное расположение основных глав этой части вряд ли можно признать целесообразным и научно обоснованным, особенно для книги, предназначенной служить руководством. Прямым следствием принятого расположения явилось, во-первых, то, что автору приходится классифицировать глаголы фактически дважды: первый раз при рассмотрении личных форм глагола (см. стр. 247), второй раз — специально, в главе «Классификация глаголов». Во-вторых, это привело к повторению одного и того же материала: например, парадигма для глагола *молити* находится и в первой главе этой части (см. стр. 247, 252, 255), и во второй (см. стр. 284). В-третьих, и это самое важное, изложение центральных вопросов глагольной системы — личные, именные и сложные формы глаголов — оказывается оторванным от классификации глаголов. Между тем именно классификация глаголов должна была явиться организационной и направляющей основой этого рассмотрения, тем более что, и по мнению самого автора, классификация глаголов «ставит своей задачей выделить наиболее значительные типы глаголов и расположить как можно удобнее особые типы» (стр. 283).

Для читателя остается не вполне ясным также применение принимаемых автором принципов классификации глаголов. На стр. 246—247 читаем: «Формы глагола образуются чаще всего от двух основ: основы настоящего времени и основы инфинитива, например: *зѡѣтъ*, повел. накл. *зѡѣи* и *зѡѣати*, аор. *зѡѣа*; эти основы, однако, могут совпадать: *молѣтъ*, *молѣти*». На стр. 283 говорится, что «в старославянском языке существует пять классов глаголов: с настоящим временем на *-и-*, *-ѣ-*, *-и-*, *-ѣ-* и с нетематическим настоящим временем». Спрашивается, к какому из этих классов относится глагол *зѡѣати*? Основа настоящего времени, выделенная на основании сопоставления форм *зѡѣтъ* и *зѡѣи*, не подходит ни к одному из классов, перечисляемых автором.

Небезупречна и структура самой классификации. Из приведенной выше цитаты следует, что классы глаголов в старославянском различаются по виду основы настоящего времени, а подклассы — по виду основы инфинитива. Однако при описании одного из наиболее продуктивных классов, с настоящим временем на *-ѣ-*, принцип описания глаголов по основе инфинитива применяется непоследовательно. В указанном классе глаголов автор различает следующие подклассы (см. стр. 290):

Основа инфинитива	Основа настоящего времени	Примеры
а) <i>-ѣ-</i>	<i>-ѣѣ-</i>	<i>сѹмѣти</i> , <i>сѹмѣѣ-</i>
б) <i>-а(и)-</i>	<i>-аѣ(иѣ)-</i>	<i>копати</i> , <i>копаѣ-</i>
в) <i>-ѡа(ѣѡа)-</i>	<i>-ѡѣ(иѡѣ)-</i>	<i>вѣрѡати</i> , <i>вѣрѡѣѣ-</i>
г) <i>-а-</i>	<i>-ѣ-</i>	<i>глаголати</i> , <i>глаголаѣ-</i>
д) <i>-и-</i> , или <i>-ѣ(и)-</i>	<i>-ѣ-</i> , или <i>-ѣѣ-</i>	<i>дѣлати</i> , <i>дѣлаѣ-</i>
е) <i>-и-</i> , <i>-иѣ-</i> , <i>-ѡѣ-</i>	<i>-иѣ-</i> , <i>-ѣѣ-</i> , <i>-ѡѣѣ-</i>	<i>кѣти</i> , <i>кѣѣ-</i>
ж) неправильные глаголы.		

Нетрудно заметить, что эта группировка подклассов основана не только на инфинитивах. Если бы при выделении подклассов автор исходил только из них, то подклассы б), в), г) образовали бы одну группу. Различия между названными подгруппами устанавливаются фактически по виду основы настоящего времени, причем во внимание принимается не тематический гласный, а звуковой комплекс: -аѣ-, -оуѣ- и т. д.

Имются в книге и другие места, содержание которых остается для читателя неясным. Например, по мнению автора, чередования звуков в старославянском «имеют морфологическое значение» (стр. 93). С этим, в основном, нельзя не согласиться. Однако как понимать слова автора, что в случаях *члѣкъъ*, *члѣкъци*, *члѣкъѣ*, *члѣкъѣѣ* «основа *члѣкъъ*» представлена при определенных условиях» и в то же время представляет собой «явление чисто морфологическое» (стр. 93)? Что называет здесь автор «определенными условиями»? Морфологический характер выше приведенных чередований автор доказывает указанием на то, что «фонетически и перед мягкими гласными *ѣ*, *и*, *ѣ* выступает в эпоху старославянского языка в виде мягкого *ѣ*, как это показывают заимствования» (стр. 93—94). Это доказательство не представляется убедительным. Произношение заимствований, конечно, может отражать правильно состояние старославянской фонетической системы, однако в заимствованиях могут сохраняться, по крайней мере до известной поры, и особенности фонетической системы языка, из которого это заимствование сделано. Наличие в старославянской фонетической системе мягкого *ѣ* не может быть доказано. При чтении главы IV «Чередования» (стр. 93—102) возникает также вопрос о том, почему чередования — «явление чисто морфологическое» — рассматриваются автором в разделе, посвященном фонетике.

Во второй части книги «Именные формы» числительным уделено меньше внимания, чем другим именам. В таблице количественных числительных счет доводится до 10 000. Следовало бы указать, что счет мог идти и дальше; ср. в Мариинском кодексе: *съ двѣма десѣтъма тысящѣма*. Ср. также из памятника русской редакции: *Тысяща тысячъ сѣдѣахъ ѿсѣ* («Книга пророка Даниила») ³. Замечания о некоторых числительных очень лаконичны. Например, на стр. 194 говорится, что *1/2* (половина.— В. Ч.) выражается существительным *полъ*..., представляющим собой несклоняемую форму в *до полъ цѣсарьстѣѣ моего*. Следовало бы привести примеры, в которых *полъ* выступает и как склоняемая форма. Такие формы имеются и в книге, например на стр. 240: *полоу дѣне* и *полоу ношти*. Ср. также: *въ полоу евангелии* («Шестоднев Иоанна Экзарха»); ⁴ *не полѣмъ сръдѣца, нѣ въсѣмъ мѣслинѣ* (Константин Болгарский. Поучения XII в.) ⁵. Следовало бы указать, что *полъ* могло входить и в состав сложных слов. Ср.: *плѣдѣнь*, *плѣдѣньѣ*, *плѣдѣньѣ* ⁶.

Несколько кратких замечаний к разным разделам книги.

Звук *j* приводится в таблице согласных (см. стр. 74), между тем в тексте на стр. 35 говорится: «Краткое *и* встречается... в начале слова и перед мягкой гласной, т. е. перед *ѣ*». Выходит, что мягкая гласная и «йот» — это одно и то же.

На стр. 37 говорится: «Установить произношение носовых гласных старославянского языка трудно... Надо полагать, что носовые гласные были дифтонгами с вторым носовым элементом...» Непонятно, что понимает здесь автор под дифтонгами и как это связать с тем, что в старославянском языке все слоги были «исконно открытые» (стр. 32).

На стр. 48 автор объясняет написание *ствѣрѣти* (без *ѣ*) как результат влияния «употребительного суффикса -ствѣ». Непонятно, как суффикс мог повлиять на орфографию *ствѣрѣти*.

В образцах склонения определенных прилагательных формы отдельных падежей приводятся в таком порядке: *новѣаго*, *новѣаго*, -аго; или: *новѣуѣуѣмоу*, *новѣуѣмоу*, -ѣуѣмоу (стр. 145). Этот порядок не соответствует последовательности фонетических процессов, отражающихся в приводимых формах, а вместе с тем и истории самих форм.

На стр. 35 по ошибке говорится, что буква *и* называется *и* (союз), а буква *і* — *иже*.

В заключение несколько слов об издании книги. В общем она издана хорошо. В начале помещено очень содержательное, но, к сожалению, очень краткое «Предисловие», написанное В. Н. Сидоровым. Заканчивается книга «Словарем старославян-

³ И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. III, СПб., Изд. Отд-ния рус. языка и словесности Имп. Акад. наук, 1903, стр. 1073.

⁴ «Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики», т. 6—«Словарь церковнославянского языка А. Х. Востокова», т. 2, СПб., изд. Второго Отд-ния Имп. Акад. наук, 1861, стр. 143.

⁵ И. И. Срезневский, Материалы ..., т. II, СПб., 1902, стр. 1142.

⁶ Там же, стр. 949—950 и стр. 953.

Книга напечатана хорошими — русским и кирилловским — шрифтами. И внешнее оформление книги удовлетворило бы читателя, если бы при переплете не были так сильно срезаны поля книги, особенно — боковые.

⁷ Нельзя не отметить, что, к сожалению, указатели не составляются и к изданиям типа «руководств» нашего отечественного происхождения. Например, не так давно издательством Московского университета были изданы два очень важных учебных пособия: одно — по современному русскому языку, другое — по исторической грамматике русского языка, и ни одно из них не имеет указателя. Несколькими страницами бумаги, сэкономленных таким образом, обойдутся студентам в тысячи часов напрасно загубленного времени.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ ПРОФ. А. И. ЕФИМОВА «ЯЗЫК САТИРЫ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА»*

2 марта 1954 г. состоялось заседание секции русского языка Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященное обсуждению книги доктора филол. наук проф. А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина». Открывая заседание секции, заместитель директора Института доктор филол. наук проф. В. И. Боровский отметил большое значение, которое имеют работы, посвященные языку писателя. Рассмотрение как положительных сторон книги А. И. Ефимова, так и ее недостатков может оказаться полезным и для других авторов, исследующих язык писателя, так как они должны будут в какой-то мере считаться с теми критическими замечаниями, которые касаются вопросов, связанных не только с изучением языка Салтыкова-Щедрина, но и вообще с изучением языка художественных произведений.

Во вступительном слове член-корр. АН СССР проф. С. Г. Бархударов отметил, что книга А. И. Ефимова является первой обстоятельной монографией о языке писателя, вышедшей после дискуссии по вопросам языкознания. В ней автор стремится реализовать те положения об изучении языка художественной литературы, которые разработаны в советском языкознании за последнее время. Массовый интерес к вопросам изучения языка художественных произведений вызвал широкое общественное внимание к книге А. И. Ефимова. Являясь попыткой исследования лексики и фразеологии крупнейшего русского писателя, книга А. И. Ефимова оказывает определенное воздействие на практику научной работы в этой области, а также на практику учебной работы в вузе и в школе. Это возлагает на автора работы большую ответственность, так как широкое распространение получают не только правильные, ценные мысли, но и ряд содержащихся в книге ошибочных утверждений. Необходимо определить те положительные стороны монографии А. И. Ефимова, которые подлежат пропаганде и распространению, и те ее отрицательные стороны, которые должны быть подвергнуты серьезной критике, чтобы предупредить использование методов изучения языка писателя, не соответствующих научным требованиям, предъявляемым к лингвистическим исследованиям в данной области.

Основная цель обсуждения книги А. И. Ефимова заключается в выяснении принципиальных теоретических вопросов, определяющих методы изучения языка писателя.

Проф. С. Г. Бархударов указал на то, что спорность ряда положений книги А. И. Ефимова определяется состоянием той области научного исследования, представителем которой является А. И. Ефимов. Эта область науки молодая, методы и приемы исследования языка писателя спорны, основные понятия, которыми она должна оперировать, не выяснены, отсутствует более или менее устойчивая терминология.

В обсуждении книги А. И. Ефимова приняли участие канд. филол. наук В. Н. Хохлачева, В. Д. Левин, И. С. Ильинская, И. А. Осовецкий, доктор филол. наук Н. С. Поспелов, аспиранты А. Т. Кунгурова и В. М. Григорян. Все участники обсуждения признали основной заслугой автора книги наличие в ней большого фактического материала, полезного не только для исследования языка одного из крупнейших художников русского слова, но и для изучения литературного языка второй половины XIX в. Однако метод интерпретации этого материала вызвал серьезные возражения у большинства выступавших. Отсутствие твердых теоретических основ обусловило ряд методологических ошибок автора, нечеткость в определении задач исследования, неустойчивость используемой автором терминологии, пестроту имеющихся в книге классификаций и значительное количество фактических ошибок, связанных с анализом конкретного материала.

* А. И. Ефимов, Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, М., Изд-во Моск. ун-та, 1953. 496 стр.

Канд. филол. наук И. А. Оссовецкий отметил, что автор не положил в основу книги определенной «рабочей гипотезы», не дал единой концепции, которая позволила бы высветить понимание основных категорий, используемых автором, и отражалась бы в точной терминологии. Термин «язык» многозначен и в применении к языку писателя требует специального раскрытия. Название книги «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина» предполагает прежде всего обоснование понятия «язык писателя», однако понятие это остается нераскрытым, и термин «язык» безразлично и без достаточной мотивировки употребляется в разных значениях. Отсутствие ясности и определенности в понимании этой основной категории не могло не отразиться на характере всего исследования. Название книги неправомерно, так как в ней освещаются только вопросы лексики и фразологии.

Участники обсуждения признали общим методологическим недостатком монографии смешение языковых явлений с явлениями, стоящими вне языка. Подробно остановилась на этом вопросе канд. филол. наук В. Н. Хохлачева, отметившая, что в книге большое место занимают рассуждения, не имеющие отношения к языку, например, рассказ о цензурных условиях в период творческой деятельности Салтыкова-Щедрина (стр. 21 и сл.), характеристика отношения Салтыкова-Щедрина к реакционным журналам и газетам, примеры из безграмотных лекций профессоров университета того времени (стр. 135) и т. д. В. Н. Хохлачева привела ряд высказываний А. И. Ефимова, которые раскрывают его основные методологические позиции, определяющие направление в анализе материала. Автор не проводит четкой грани между анализом языка писателя и анализом взглядов и суждений писателя, во многих случаях анализирует идейное содержание слова, идеи, выражаемые словом. Такой анализ не может быть признан лингвистическим. Установка автора, ставящего знак равенства между идеологией и языком, считающего, что «идеологическая зрелость сатирика нашла отражение в его языке» (стр. 11), не соответствует положению марксистского языкознания о том, что язык безразличен к классам и так же хорошо обслуживает пролетариат, как и буржуазию.

Канд. филол. наук И. С. Ильинская отметила, что основная методологическая ошибка автора, смешивающего языковые явления с явлениями, стоящими вне языка, находит отражение в каждом разделе, почти на каждой странице книги. Например, А. И. Ефимов приписывает Щедрина роль лексикографа своего времени, исходя из замечаний Щедрина, касающихся в большинстве случаев не самих слов, а того содержания, которое заключается в этих словах. Оценки Щедрина, представленные А. И. Ефимовым как оценки лингвистические, на самом деле являются оценками тех явлений окружающей действительности, с которыми сталкивался Щедрин. Автор пишет, что «прежние градации и рамки словарных категорий не удовлетворяют больше Щедрина, и он дает собственную классификацию общественно-политического словаря» (стр. 38). Перечисляются категории слов, оцениваемые Щедриным в отрицательном смысле (*пустопорожие выражения, накатные клички, мудреные слова* и т. д.), которым Щедрин противопоставляет другие, интерпретируемые уже в положительном смысле, — «забытые слова» (*стыд, совесть* и др.). Совершенно ясно, говорит И. С. Ильинская, что *стыд* и *совесть* — не забытые слова, а забытые понятия. Указанная методологическая ошибка автора проявляется также в неправомерном отождествлении понятия «просторечные речевые средства» с понятием «подоплечный словарь». Многие слова из «подоплечного словаря» выражают отношение Щедрина к тому или иному явлению действительности, являются характеристикой, оценкой этого явления и к языку как к таковому отношения не имеют. И. С. Ильинская привела ряд других примеров, иллюстрирующих не лингвистический, а предметный подход автора к изучаемым явлениям. А. И. Ефимов относит слово *взятка* к административно-канцелярской лексике, повидимому, только потому, что в этой среде процветало взяточничество. Слова *мед* и *ручи* включаются в лексику крестьянского обихода на основании отнесения данных предметов к соответствующей сфере бытования.

Ряд фактов, говорящих о смешении в книге Ефимова лингвистического анализа с анализом содержания, был приведен канд. филол. наук В. Д. Левиным. Так называемый «прием „синонимических“ сближений» (*член... клуба... то бишь, земства...*; параллель *сотрудники—прихлебатели* и др.) представляет собой оценку тех или иных явлений действительности путем наименования их другими словами. Не имеет отношения к анализу языка писателя сопоставление текстов Щедрина в окончательной и первоначальной редакции, измененной в результате цензурных правок, и т. д.

Внимание участников обсуждения привлекла также проблема изучения языка писателя в связи с языком эпохи, к которой относится творчество данного писателя. На материале языка Салтыкова-Щедрина, сказал И. А. Оссовецкий, необходимо решать не только частные вопросы, не выходящие за рамки изучения индивидуального своеобразия языка Салтыкова-Щедрина, но и более общие вопросы, разрешение которых внесло бы определенный вклад в историю русского литературного языка. Эта проблема не находит широкого освещения в книге А. И. Ефимова. Язык Щедрина представлен автором как самодовлеющая система, не соотношенная с литературным языком его эпохи.

В. Н. Хохлачева указала на то, что автор признает правомерность двух аспектов изучения языка писателя — решение вопроса о соотношении языка писателя и языка эпохи и вопроса о языке и стиле писателя. Однако в книге нет глав, посвященных характеристике языка эпохи. Отдельные замечания, касающиеся этого вопроса, носят декларативный характер и не сопровождаются описанием конкретных языковых фактов. Отказ от изучения языкового фона, на котором выступает творчество Салтыкова-Щедрина, помешал автору раскрыть в полной мере новаторство Салтыкова-Щедрина, несмотря на то что в книге постоянно встречаются термины, связанные с этим понятием («речетворчество», «фразеологическое новаторство», «новообразование», «словообразование», «словотворчество», «неологизмы», «семантическое новообразование», «сатирическое новообразование», «суффиксальное новообразование» и т. д.). Автор те или иные факты языка писателя рассматривает обособленно от общих лексико-семантических и грамматических процессов, происходящих в языке. Это позволяет ему видеть «речетворчество» там, где Салтыков-Щедрин использует средства, уже существовавшие в языке (например, в разделе «Словотворчество Щедрина» встречаются слова *абстрактность, аккуратность, подозрительность, начальство, удалство, буйство* и т. д.). Термин «новообразование», по мнению В. Н. Хохлачевой, употребляется в очень широком смысле, объединяя самые разнообразные явления — от образования новых слов (*пенкосниматели*) до иронического употребления формул газетных корреспонденций (*из Егорьевска пишут*). Новообразованиями признаются и новые слова, созданные Салтыковым-Щедриным, и новые слова в языке, и индивидуально-стилистическое использование ряда языковых фактов.

Постоянное смещение А. И. Ефимовым индивидуального и общезыкового в языке Щедрина, связанное с тем, что язык эпохи не был в полной мере изучен автором, отметил В. Д. Левин. Задача, которую ставит перед собой автор исследования, — показать вклад Щедрина в развитие русского литературного языка, осталась неразрешенной. В книге приводится большое количество фактов, ничего не дающих для характеристики языка Щедрина и не имеющих отношения к основной задаче работы, например, указание на то, что у Щедрина встречаются военные термины (*эскадрон выступил в поход против турок; мы, офицеры; полковничий* и т. д.); слова: *мастерские, кладовые, приказчик, кучер*; слова, относящиеся к административно-чиновничьей сфере: *заседатель, председатель, столоначальник* и т. д. Приводя ряд фактов, представляющих собой индивидуальное словотворчество Щедрина, А. И. Ефимов не разграничивает различных по своему характеру случаев (ср. *ваше существо, лаятели, кусатели*). Не прослеживается автором и дальнейшая судьба новообразований Щедрина в литературном языке.

Автор ставит перед собой задачу раскрыть новаторство Щедрина в области публицистической лексики. Однако указание на то, что Щедрин включает в публицистический жанр лексику просторечия, не имеет, по мнению В. Д. Левина, прямого отношения к поставленной задаче, так как просторечная лексика от этого не становится публицистической. Щедрин просто расширяет возможность использования этой лексики в разных жанрах литературы. Нельзя считать, что Щедрин обогащает публицистическую лексику словами *вислоухие, безголовые*, которые также рассматриваются А. И. Ефимовым в связи с характеристикой публицистической лексики.

И. С. Ильинская высказалась за необходимость разграничения общезыкового фона щедринской эпохи и собственного языкотворчества писателя. Но осуществить это требование, по мнению И. С. Ильинской, А. И. Ефимов не мог, так как нет достаточного количества работ, на которые А. И. Ефимов мог бы опереться, чтобы показать этот фон и определить то, что создано Салтыковым-Щедриным.

Разрешение автором книги вопроса об использовании Салтыковым-Щедриным элементов разных стилей общенародного языка также было признано участниками обсуждения неудовлетворительным. И. А. Оссовецкий отметил, что термин «стиль» у А. И. Ефимова отличается такой же многозначностью и неопределенностью, как и термин «язык». В употребляемой автором терминологии сказывается отсутствие единого принципа стилистической классификации языковых фактов и теоретической обоснованности тех понятий, которыми автор оперирует.

Об отсутствии стройной и строгой стилистической системы, по которой классифицируется языковой материал, говорила и В. Н. Хохлачева. Она также отметила, что остается неясным понимание А. И. Ефимовым ряда терминов. Например, возникает вопрос: какое содержание вкладывается в термин «жаргон», если в качестве элементов дворянского жаргона упоминаются слова *любимые и постылые, девка*, а также вся бранная лексика — *балбес, чорт, ведьма, бесструнная балалайка* и т. д. Содержание терминов «профессионализм», «просторечие» и ряда других также не находит удовлетворительного разъяснения. Об этом же говорил и аспирант В. М. Григорян.

В. Н. Хохлачева подчеркнула и отсутствие единого критерия в разграничении стилей общенародного языка. Говоря о «публицистических стилях», «стилях философских работ» и т. д., автор, повидимому, кладет в основу их разграничения жанровый признак.

Однако, замечает В. П. Хохлачева с жапровым признаком в основе стилей трудно связать выделенную А. И. Ефимовым книжно-беллестристическую лексику: критерии выделения ее остаются неясными для читателя, тем более что автор соединяет с ней представление о риторизме и сочинительстве; но ни риторизм, ни сочинительство не имеют отношения к стилю языка. Вследствие отсутствия четкости в стилистической квалификации фактов языка стилистическая схема, разработанная автором книги, не может представлять собой образца для подобных работ.

Разрешение вопроса об индивидуальном стиле Салтыкова-Щедрина в книге А. И. Ефимова не стало предметом всестороннего обсуждения, и большой круг проблем, связанных с методами анализа «слога» писателя, остался за пределами внимания участников обсуждения. Проблемы освещения в книге А. И. Ефимова стиля сатиры Салтыкова-Щедрина вскользь коснулась В. Н. Хохлачева, считаящая, что эта задача разрешена А. И. Ефимовым неудовлетворительно. По мнению В. Н. Хохлачевой, в книге нет стройной системы описания индивидуальных средств художественного выражения; отдельные замечания о стилистических приемах Салтыкова-Щедрина разбросаны по всей книге. Не показана А. И. Ефимовым и эволюция стиля Салтыкова-Щедрина.

Выступавшие признали наиболее удачными те разделы книги А. И. Ефимова, в которых речь идет о фразеологии об эзоповском языке Щедрина, о средствах художественной изобразительности. Часть книги, посвященная лексике Салтыкова-Щедрина, дала повод к многочисленным замечаниям, касающимся как метода лексического анализа, так и целого ряда частных вопросов. Был отмечен ряд недостатков в лексическом анализе. И. С. Ильинская обратила внимание на смещение автором значения слова с его образным употреблением. Например, А. И. Ефимов утверждает на стр. 27, что слово *почва* приобрело новое «публицистическое значение» — «народ». В примерах, иллюстрирующих это положение, слово *почва* не имеет значения «народ». Образное употребление этого слова в соответствующем контексте в значении «основание», «опора» наталкивает нашу мысль на предположение о народе, но такого значения это слово иметь не может. И. С. Ильинская привела и другие многочисленные примеры ошибок в лексическом анализе.

И. С. Ильинская и И. А. Оссовецкий указали на чрезмерное доверие А. И. Ефимова к филологическим оценкам Салтыкова-Щедрина. Салтыков не был лингвистом, сказал И. А. Оссовецкий, и его утверждения, его классификацию тех или иных языковых фактов необходимо было прокорректировать с точки зрения языковеда, стоящего на уровне современного состояния науки о языке. В частности, А. И. Ефимов при определении состава и функций просторечия отправляется непосредственно от понимания этой категории Салтыковым-Щедриным. Этим объясняется анахронизм и странная терминология, используемая в авторском тексте там, где речь идет о просторечной лексике и фразеологии.

С. Г. Бархударов отметил, что А. И. Ефимов в своей работе некритически принимает данные словаря 1847 г., не учитывая принципов его составления. Общеизвестно, что этот словарь не отражает состояния русского языка той эпохи. Если он и дает какие-то нормы — то это нормы 20-х, а не 40—50-х годов. А. И. Ефимов не учел это обстоятельство, что привело его к целому ряду необоснованных выводов.

А. Т. Кунгурова замечает, что автор книги вкладывает слишком широкое содержание в понятие просторечной лексики, включая в состав просторечия и разговорную лексику со всеми ее разновидностями, и областную лексику, которую словарь 1847 г. именует лексикой «простонародной». Термин «просторечие» у А. И. Ефимова объединяет разные по происхождению и по эмоциональной окраске слова (например, *стянуть*, *брякнуть*, *кляуза* — с одной стороны, и *гурьба*, *загода*, *шугать* — с другой). Вывод А. И. Ефимова о том, что просторечие в языке сатиры Щедрина играет роль оценочно-характеристическую, вследствие такого расширения границ просторечия, нельзя считать полностью оправданным, поскольку областные слова не выполняют этой функции. А. Т. Кунгурова полагает также, что каких-то особых «просторечных значений» слов, устанавливаемых А. И. Ефимовым, не существует. Те слова, которые, по мнению А. И. Ефимова, обладают особыми «просторечными» значениями, на самом деле представляют собой экспрессивно окрашенные синонимы к словам стилистически нейтральным (например, слово *лохань* в значении «лицо»).

Большое внимание участников обсуждения привлекло в работе А. И. Ефимова отсутствие единого принципа классификации материала, отсутствие устойчивого содержания употребляемых автором терминов, стиль изложения. В. Д. Левин указал на то, что слова в книге иногда классифицируются по значению, иногда по суффиксам; в отдельных случаях вообще трудно определить принцип классификации.

И. С. Ильинская отметила недопустимую небрежность в подаче материала. На стр. 52—56 публицистическая лексика подразделяется А. И. Ефимовым на шесть

разрядов в зависимости от происхождения и структуры. В последующем изложении шестой разряд совсем не представлен, о пятом разряде имеются некоторые сведения в характеристике первого разряда, третий разряд влит во второй разряд в виде отдельных замечаний. Подобные факты говорят о шаткости предложенной классификации.

Доктор филол. наук Н. С. Поспелов сравнил метод изложения материала проф. А. И. Ефимовым с той эзоповской манерой, о которой говорит сам автор, характеризуя стиль Салтыкова-Щедрина. В книге имеются яркие примеры полисемантизма словоупотребления и того, что Щедрина называет «фигурой умолчания». Это «умолчание» касается ряда основных, принципиальных вопросов и составляет существенный недостаток этой работы. Например, автор не раскрывает сущности терминологической лексики. Понимание народности оказывается общим, приблизительным, неясным. Просторечие определяется на стр. 202 как «мощный резервный фонд, тот важнейший источник, из которого в середине XIX в. интенсивно пополнялись ведущие стили литературного языка, и в первую очередь формировавшиеся стили революционно-демократической сатиры и публицистики». Н. С. Поспелов указал, что приведенную характеристику просторечия нельзя считать определением. Он привел ряд примеров из книги А. И. Ефимова, свидетельствующих о нечеткости классификаций, например, в группировке просторечной фразеологии, и отметил полисемантизм терминов и их необоснованное во многих случаях употребление, например, неправомерное применение термина «синтагма» к словам, образованным путем словосложения (*рылокошение* и др.).

С. Г. Бархударов подробно остановился на характеристике языка и стиля самой книги А. И. Ефимова, подчеркнув, что на эту сторону исследования необходимо обратить серьезное внимание, так как основные недостатки манеры изложения А. И. Ефимова свойственны и многим другим работам, посвященным языку писателя. Обилие второстепенных определений беллетристического порядка, отсутствие точных терминов, закрепленных за определенными явлениями, невозможность отличить термин от патетического приема — все это затрудняет восприятие книги и вызывает со стороны читателя множество вопросов, на которые он не находит удовлетворительного ответа. С. Г. Бархударов проиллюстрировал свои мысли рядом цитат, взятых из разных глав книги А. И. Ефимова. Например, на стр. 62 автор пишет: «К публицистическим терминам, образованным при помощи суффикса *-ость*, у Щедрина примыкают многочисленные сатирические новообразования, созданные на материале разговорно-бытовой лексики: «умственная *оголтелость*», «торжествующая *паршивость*», «*кошале-лость*», «*халдоватость*», «*остервенелость* вражды», «*лесистость*» (от слова «лес». — А. Е.) понятий провинциальных дворян, «*мохнатость* понятий и другие». Это одно предложение, заметил С. Г. Бархударов, вызывает целый ряд вопросов. Почему новообразования *оголтелость* и *паршивость* примыкают к публицистической терминологии? Что следует понимать под «новообразованиями»: слова, образованные во времена Салтыкова, или во времена Пушкина, или еще раньше? Какое содержание скрывается под термином «сатирические новообразования»? Разве существуют новообразования комические, драматические, лирические и т. д.? Что сатирического находит автор в словах *лесистость* и *мохнатость* и т. д.

С. Г. Бархударов говорил также о декларативности выводов, для которых не дают основания соответствующие главы книги. Часть книги, посвященная анализу лексики Салтыкова-Щедрина, по мнению С. Г. Бархударова, нуждается в серьезной переработке. В заключение С. Г. Бархударов выразил надежду, что в дальнейшей своей научно-исследовательской работе автор учтет все те замечания, которые были высказаны участниками обсуждения.

В ответном слове проф. А. И. Ефимов поблагодарил выступавших за серьезное, принципиальное обсуждение его книги, учитывающее прежде всего интересы науки и стремящееся к устранению всех сбивчивых, ошибочных и неясных положений. А. И. Ефимов отметил, что обсуждение является полезным не только для автора, но и для всех тех, кто работает в этой области лингвистики.

Тем не менее автор согласился лишь с отдельными замечаниями, касающимися частных вопросов, отклонив в то же время возражения принципиального характера. Мировоззрение, сказал он, конечно, не определяет всего в языке писателя. Два писателя с одинаковым мировоззрением пишут по-разному, но все-таки употребление речевых средств определяется мировоззрением, содержанием произведений, традицией.

Однако участники совещания отметили, что указанное положение А. И. Ефимова применяется им и в тех случаях, когда речь идет не о стиле, а о языке писателя. Эта установка автора стала вообще методом его исследования и привела к ряду конкретных ошибок в лексическом анализе.

А. И. Ефимов присоединился к мнению И. С. Ильинской о том, что разграничение языкового фона эпохи и языкотворчества Щедрина представляет большие трудности. Автор не принял обращенный к нему упрек в смешении значения и образного употребления слова, утверждая, что употребление является применением одного из значений

слова, и настаивал на том, что слово *почва* в течение некоторого периода времени имело значение «народ». Понятие значения слова, сказал А. И. Ефимов, охватывает многие случаи его образного индивидуального применения. А. И. Ефимов подчеркнул, что он не ставил перед собой задачи уточнения целого ряда терминов («просторечие», «фразеологическая единица» и др.). Отсутствие твердых принципов классификации он признал одним из недостатков книги.

Закрывая заседание секции русского языка Ученого совета, В. И. Борковский отметил, что обсуждение книги А. И. Ефимова, особенно методов изучения языка писателя, имеет большое значение, в частности, для работающих над диссертациями, посвященными языку писателя.

И. И. Ковтунова

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. М. Ж и р м у н с к и й (Ленинград). О некоторых проблемах лингвистической географии	3
Н. Т. В о й т о в и ч (Минск). О диалектной основе современного белорусского литературного языка	26

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

В. Г е о р г и е в (София). Вопросы родства средиземноморских языков . .	42
--	----

Обсуждение вопросов стилистики

И. Р. Г а л ь п е р и н (Москва). Речевые стили и стилистические средства языка	76
Г. В. С т е п а н о в (Ленинград). О художественном и научном стилях речи.	87
В. Г. А д м о н и и Т. И. С и л ь м а н (Ленинград). Отбор языковых средств и вопросы стиля	93

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

От редакции (К обсуждению курса «История языкознания» на филологических факультетах университетов)	101
В. Н. Я р ц е в а (Москва). О курсе «История языкознания» на филологических факультетах университетов	104

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Ц о й Д е н Х у (Пхеньян). Из истории языкознания в Корее	116
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Вяч. Вс. И в а н о в (Москва). <i>J. Kuryłowicz. L'accentuation des langues indo-européennes.</i>	125
В. П. С т а р и н и н (Москва). Языкознание в Институте востоковедения АН СССР, по данным «Кратких сообщений Института востоковедения» . . .	136
Ф. П. Ф и л и н (Ленинград). «Против вульгаризации марксизма в археологии»	141
В. Ч и ч а г о в (Москва). <i>А. Вайан. Руководство по старославянскому языку</i>	147

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

И. И. К о в т у н о в а (Москва). Обсуждение книги проф. А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина»	154
--	-----

Р е д к о л л е г и я:

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
Р. А. Будагов, В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов,
Н. А. Кондрашов, Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора), В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42.

Т-05177	Подписано к печати 8.VIII. 1954 г.	Тираж 14075 экз.	Зак. 355
Формат	бумаги 70×108 ¹ / ₁₆	Бум. л. 5	Печ. л. 13,7 Уч.-пзд. л. 16,1

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

Цена 12 руб.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанными литературно и подписанными автором.

После подписи сообщаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес, телефон.

2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15—20 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завизирована автором.

4. Названия источников даются без всяких сокращений. При ссылках (в тексте и сносках) указываются автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), место издания, год издания, страницы.

5. При ссылке на труд иностранного автора следует указывать и фамилию автора, и название труда в тексте статьи по-русски (в сносках — на языке книги).

6. Все иноязычные примеры должны быть снабжены переводами.

7. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать волнистой чертой), а значения — в кавычках.

8. Автор должен обязательно указывать инициалы имени и отчества упоминаемых в статье лиц.

9. Авторская правка в сверстанных листах не допускается.

10. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.

Созданием файла в формате DjVu

занимался ewgeni23

(март 2010)

philbook@mail.ru